АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1977

СОДЕРЖАНИЕ

В. З. Панфилов (Москва). О гносеологических аспектах проблемы языкового знака 3
В. М. Солнцев (Москва). Языковой знак и его свойства 15

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. Белый (Винница). Философские основы американской дескриптивной лингвистики 29
О. И. Москальская (Москва). Вопросы синтаксической семантики . . 45
Я. Горецкий (Братислава). Исходные принципы теории литературного языка 57

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К. С. Горбачевич (Ленинград). О норме и вариантности на синтаксическом уровне 64
Ж. Дюрэн (Сен-Клу). Мягкость, твердость, йотированность 74
А. Л. Пумпянский (Москва). Функциональный стиль научной и технической литературы 87
Арн. Чикобава (Тбилиси). Об одном принципе классного спряжения в древнегрузинском глаголе 98
К. В. Ломтатидзе (Тбилиси). Из истории определенных форм имени в ашхарском диалекте абазинского языка 103
Г. В. Рогава (Тбилиси). Псевдопереходные глаголы в адыгских языках . 109
А. П. Юдакин (Москва). Родительный агента в *ta*-причастных конструкциях классического санскрита 117
Б. И. Скупский (Махачкала). К вопросу о греческих оригиналах древнейших славянских переводов 126
М. Ф. Мурьянов (Ленинград). К семантике старославянской лексики . . 131
К десятилетию журнала «Русская речь» 136

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Г. А. Климов (Москва). *И. И. Мещанинов.* Проблемы развития языка . . 140
В. С. Виноградов (Москва). *Н. З. Котелова.* Значение слова и его сочетаемость 144
Л. Г. Герценберг (Ленинград). «Flexion und Wortbildung» 149
Ф. П. Сороколетов (Ленинград). *А. С. Львов.* Лексика «Повести временных лет» 153
Е. А. Морозова (Ленинград). *Р. В. Булатова.* Старосербская глагольная акцентуация 159

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 162

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1977 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

В. З. ПАНФИЛОВ

О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

При определении знака обычно указываются два признака: 1) знаком является материальный чувственно воспринимаемый предмет; 2) этот предмет указывает, отсылает к другому предмету, выступая в качестве его представителя, т. е. обозначает другой предмет [1]. По определению Гегеля, «*знак* есть непосредственное созерцание, представляющее совершенно другое содержание, чем то, которое оно имеет само по себе» [2]. Собственные свойства знака как материального чувственно воспринимаемого предмета нерелевантны по отношению к тому предмету, который он представляет, но они необходимы для того, чтобы тот или иной знак мог функционировать как отличный от других знаков. В этой связи Гегель разграничивал знак от символа. «*Знак*,— писал он,— отличен от *символа*, последний есть некоторое созерцание, *собственная* определенность которого по своей сущности и понятию является более или менее тем самым содержанием, которое оно как символ выражает; напротив, когда речь идет о знаке как таковом, то собственное содержание созерцания и то, коего оно является знаком, не имеют между собой ничего общего» [3].

В рамках гносеологической постановки вопроса знак (знаковость) противопоставляется образу, который в отличие от знака сходен с тем, что он отражает, подобен ему. Материальная сторона билатеральных языковых единиц характеризуется всеми указанными выше признаками знака; она, являясь материальным чувственно вос-

---

[1] Так, например, в «Философской энциклопедии» знак определяется следующим образом: «Знак. (англ. *sign*, франц. *signe*, нем. *Zeichen*, итал. *signe*) — материальный чувственно воспринимаемый предмет (явление, событие, действие), выступающий в познании и общении людей в качестве представителя нек-рого предмета или предметов, свойства или отношения предметов и используемый для приобретения, хранения, преобразования и передачи сообщений (информации, знаний) или компонентов сообщений к.-л. рода» («Философская энциклопедия», 2, М., 1962, стр. 177). Правда, приходится встречаться и с такими определениями знака, в которые не включается указание на эти его свойства. «Понятый самым простым образом,— пишет, например, Ю. С. Степанов,— принцип знака гласит, что в языке имеется слой содержания, смысла, значения, одним словом, „означаемое“, и слой выражения, звуковой материи, текста, одним словом „означающее“; соединение „означаемого“ и „означающего“ происходит в определенных, четко отграниченных друг от друга точках или элементах — „знаках“» (в кн. «Принципы описания языка», М., 1976, стр. 209). Из этого определения следует, что языковой знак не есть ни материальная сторона билатеральной языковой единицы, ни языковая единица в целом как единство ее материальной и идеальной стороны, а точка, в которой они соединяются. Но как известно, точка есть лишь геометрическое понятие, не отражающее какой-либо материальный чувственно воспринимаемый предмет, а потому она не может выполнять и знаковой функции. Ю. С. Степанов, полагая, что данное им определение языкового знака соответствует соссюровскому его пониманию (что далеко не так), видит его недостаток лишь в том, что при этом не учитывается его (знака) асимметрия.

[2] Г. Гегель, Соч., III, М., 1956, стр. 265.

[3] Там же, стр. 265—266. Указанное здесь различие является настолько существенным, что едва ли целесообразно считать символы разновидностью знаков, как это делалось в последующей традиции.

принимаемым предметом, указывает, отсылает к другому предмету, не обладая каким-либо сходством с этим предметом.

Говоря о знаковой функции материальной стороны языковых единиц, обычно отмечают, что она репрезентирует предмет в процессе коммуникации, т. е. для говорящего и слушающего. Следует, однако, подчеркнуть, что знаковая функция материальной стороны языковых единиц естественных языков (или элементов других знаковых систем) является необходимым компонентом и условием и процессов абстрактного, обобщенного мышления и познания. Вследствие наличия материальной стороны языковые единицы выступают своего рода посредниками между познающим субъектом и познаваемыми объектами, благодаря чему процесс абстрактного, обобщенного мышления приобретает по отношению к непосредственным воздействиям внешней действительности в известной мере самостоятельный характер.

Сама возможность абстрагирования и обобщения создается только благодаря тому, что материальная сторона языковых единиц (или элементов других знаковых систем) репрезентирует предметы того или иного рода, с которыми она не имеет какого-либо существенного подобия, или сходства. Только в силу отсутствия этого сходства материальная сторона той или иной языковой единицы может репрезентировать предметы, хотя и обладающие общими для всех них признаками, но вместе с тем отличающиеся друг от друга по каким-либо иным признакам, репрезентировать их как один предмет в виде образа [4]. Материальный характер этой стороны языковых единиц является условием осуществления и существования этого идеального образа как продукта той формы высокоорганизованной материи, каковой является человеческий мозг. И в этом также находит свое проявление вторичность идеального и первичность материального [5].

По этому вопросу существует и в последнее время получает распространение противоположная точка зрения, согласно которой язык возникает лишь как средство общения и он якобы является необходимым средством осуществления мышления лишь в актах внешне выраженной речи [6]. Что же касается мышления «про себя», иначе говоря, мышления в процессе внутренней речи, то оно, по мнению сторонников этой точки зрения, в принципе может осуществляться и нередко осуществляется без использования языка, т. е. по существу без какой-либо внутренней речи [7].

---

[4] См. также: В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 147—154; Л. О. Резников, Гносеологические вопросы семиотики, Л., 1964, стр. 12. Л. О. Резников здесь отмечает: «Отсутствие сходства с обозначаемым предметом является большим достоинством знака, ибо именно благодаря этому он служит наилучшим средством для отвлечения тех или иных существенных признаков и обобщения предметов по этим признакам». См. также стр. 16—17 этой работы.

[5] См. также: В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 117—118.

[6] См., например: Г. П. Мельников, Проблемы логико-грамматического членения предложения, сб. «Первая Всесоюзная конференция по теории и практике перевода (Функциональный стиль научной и технической литературы). Тезисы докладов», Каунас, 1975, стр. 132—133. При этом Г. П. Мельников опирается на известные высказывания И. А. Бодуэна де Куртенэ о возможности наряду с языковым внеязыкового мышления.

[7] См., например: «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», М., 1970, стр. 40—43, 54—55, 387 и сл. Если авторами указанных выше работ допускается принципиальная возможность абстрактного, обобщенного мышления без языка, то в соответствии с так называемой гипотезой семантического языка, или «языка мысли» и лингвистической модели «смысл ↔ текст» (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук и др.) мысль формируется вообще без языка и лишь на последующих этапах с помощью последнего преобразуется в текст. Так, по определению И. А. Мельчука, «естественный язык — это особого

Из этого следует, что язык не является необходимым средством осуществления процессов человеческого мышления. Таким образом, в соответствии с этой точкой зрения: 1) материальная, знаковая сторона языковых единиц не является обязательным, органическим компонентом человеческого мышления; 2) это последнее может осуществляться в чисто понятийной форме без использования идеальной стороны языковых единиц и, в частности, значений слов, не совпадающих с соответствующими понятиями; 3) связь языковых единиц с соответствующими единицами мышления имеет чисто внешний, ассоциативный характер. Из этих положений следует также, что если язык и играет какую-то роль в возникновении и развитии человеческого мышления, то лишь в той мере, в какой он обеспечивает обмен информацией между его носителями. Очевидно, что при подобной постановке вопроса не может быть и речи о том, что язык оказывает какое-либо обратное влияние на мышление и, следовательно, взаимодействие между мышлением и языком должно рассматриваться как однонаправленное — лишь мышление воздействует на язык, но обратное не имеет места. С этих позиций нельзя объяснить, почему при общности понятийного мышления всех современных народов, достигших приблизительно одного и того же уровня социального и духовного развития, их языки нередко в той или иной степени отличаются друг от друга по своей семантике, по характеру зафиксированного в ней «членения действительности». Самое существенное, однако, заключается в том, что положение о возможности чисто понятийного мышления вне актов коммуникации, т. е. мышления, в процессе которого значения языковых единиц естественных языков (или единиц каких-либо других знаковых систем) не выступали бы как его органические компоненты, не опирается на какие-либо фактические данные, полученные в результате самонаблюдения или экспериментов.

Изложенная здесь концепция взаимоотношения языка и мышления иногда дополняется так называемой кибернетической моделью мышления. Согласно последней оно есть иерархически организованная система чувственно-наглядных образов, в основании которой находятся чувственно-наглядные образы как результат непосредственного воздействия действительности на органы чувств, а над ними надстраиваются образы все бóльшей степени обобщения, но также чувственно-наглядные по своей природе. Иначе говоря, здесь полностью отрицается какое-либо принципиальное различие между чувственной и рациональной ступенью мышления и познания, между образом восприятия и представления того или иного конкретного предмета и понятием об этом предмете и т. д.

рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы» (И. А. Мельчук, Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст», М., 1974, стр. 9; ср. также: Ю. Д. Апресян, Идеи и методы современной структурной лингвистики, М., 1966, стр. 253). При этом сам «текст» рассматривается лишь как обозначающее, т. е. не включает «смысла». В «семиологически» трансформированном виде эта точка зрения И. А. Мельчука и др. принимается Ю. С. Степановым. Он пишет: «Итак, семиологический принцип — это определенная система взглядов на язык... язык рассматривается в тесной связи с мышлением, раскрывающейся как отношение между системой „означаемых“ (содержания, языковых значений, смысла) и системой „означающих“ (выражения, звуковой материи языка, текста) (принцип знака)...» (в кн. «Принципы описания языка», стр. 207). При этом остается неясным, что же такое мышление, если связь языка и мышления сводится лишь к отношению означающего и означаемого, т. е. к отношению двух языковых явлений. Иначе говоря, проблема единства мышления и языка решается здесь путем элиминирования его первого члена. Едва ли поэтому можно согласиться с утверждением Ю. С. Степанова (там же, стр. 204—205), что тем самым достигается прогресс в осознании органической связи языка и мышления.

Между тем, как нам уже приходилось отмечать [8], слабость концепции о неразрывном единстве языка и мышления, развивавшейся в советском языкознании и философии в 30—50-е годы, состояла именно в том, что при этом не учитывалась неоднородность процессов мышления — наличие мышления в чувственно-наглядных образах, с одной стороны, и абстрактного, обобщенного мышления, осуществляемого в логических формах (понятиях, суждениях и т. п.), с другой. В частности, различие между этими двумя видами мышления состоит в том, что мышление в чувственно-наглядных образах, являющихся результатом непосредственного воздействия объектов действительности на органы чувств, не нуждается в знаках, которые бы репрезентировали соответствующие объекты, так что ассоциации между этими образами и материальной стороной языковых единиц лишь возможны, но не обязательны. При этом в каждом языке существует немало и таких слов, которые вообще не ассоциируются с какими-либо чувственно-наглядными образами (ср. например, такие слова, как *закон*, *норма*, *материя*, *действительность*, *думать*, *мысль* и т. п.). В то же время абстрактное, обобщенное мышление, не будучи результатом такого непосредственного воздействия объектов действительности на наши органы чувств, возможно лишь на основе знаков, их репрезентирующих. Различие между двумя указанными типами мышления не учитывается и сторонниками той концепции, которая отрицает органическую связь языка и мышления, в частности, когда они на основании действительно имеющих место фактов чувственно-наглядного мышления (или приобретшей рефлекторный характер деятельности человека) без использования языка делают вывод о том, что вообще всякий вид мышления может не опосредоваться языком, происходить без языка.

Положение о том, что язык, материальная сторона которого обладает знаковым характером, является необходимым средством осуществления и существования абстрактного, обобщенного мышления и что этот тип мышления в отличие от чувственно-наглядного мышления не может осуществляться без языка, нашло свое экспериментальное подтверждение в исследованиях последнего десятилетия, в частности, сотрудников лаборатории патофизиологии центральной нервной системы Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР и некоторых американских ученых. Эти исследования выявили, что правое и левое полушарие головного мозга человека «заведуют» разными типами мышления: у правшей первое из них «заведует» чувственно-наглядным мышлением, которое происходит без вербальных средств, а второе, т. е. левое — абстрактным, обобщенным мышлением, которое осуществляется лишь на базе естественного языка (или, добавим, знаковых систем иного рода). Специалисты отмечают, «что в восприятии конкретных, наглядных явлений действительности ведущая роль принадлежит правому полушарию мозга, а словесное обобщение этих явлений осуществляется левым. В условиях угнетения одного из них восприятие окружающего парадоксальным образом расслаивается. Если „отключено“ правое, пациенты легко оперируют формальными сведениями, но не способны оценить конкретную ситуацию. Они правильно называют больницу, в которой находятся, и не в состоянии найти свою палату, свою постель, не узнают привычных помещений и знакомый персонал. Они, не колеблясь, скажут, какой сейчас месяц и год, но, глядя в окно и видя яркое солнце, голые деревья и сугробы снега, не могут разобраться, лето на дворе или зима, какое время дня, какая погода. Противоположные особенности ориентировки об-

[8] В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления, стр. 119—154.

наруживаются при угнетении левого полушария: человек не помнит, в какой он больнице, не может назвать месяц и год, но хорошо ориентируется в наглядной ситуации» [9]. Было выявлено также, что при угнетении левого полушария избирательно нарушается словесная, а при угнетении правого — образная память. Характерно при этом, что у животных и в том числе у обезьян такой специализации полушарий головного мозга нет и, следовательно, она является специфической особенностью человека, развившейся у него в процессе эволюции [10]. Это, несомненно, объясняется тем, что абстрактное, обобщенное мышление есть специфически человеческое явление, возникшее у него вместе с возникновением языка [11], так как «только на базе такой системы символов, или, как теперь принято говорить, на базе знаковой системы, могло развиться абстрактное теоретическое мышление» [12].

Данные по онтогенезу также свидетельствуют в пользу концепции о языке как необходимом средстве осуществления абстрактного, обобщенного мышления. Так, отмечается, что, с одной стороны, пик языковой способности наступает в 4—5-летнем возрасте (обучение иностранным языкам наиболее успешно происходит в этот период), и, с другой, за первые 4 года жизни (по данным некоторых исследователей) формируется до 50% интеллекта человека. Иначе говоря, развитие языка и мышления в онтогенезе происходит параллельно.

Естественные эксперименты, когда дети оказывались вне человеческого общества с раннего возраста и до 10 и более лет («Маугли») также подтверждают эту точку зрения. Вновь попав в человеческое общество, такие «Маугли» в лучшем случае усваивали лишь отдельные слова человеческого языка и уровень развития их интеллекта, несмотря на постоянные контакты с людьми, оставался весьма низким. Такого рода естественные эксперименты позволяют сделать по крайней мере три вывода: 1) существуют определенные биологические предпосылки формирования языковой способности; 2) биологическая основа языковой способности развивается в детстве под влиянием социальных факторов, в процессе общения со взрослыми; иначе говоря, непрерывность действия социальных факторов является условием сохранения и развития биологической основы языковой способности и формирования языка и речевой деятельности как родового признака homo sapiens; 3) язык и абстрактное, обобщенное мышление развиваются в неразрывной связи и образуют органическое единство.

Итак, знаковая природа материальной стороны языковых единиц естественных языков (или материальные знаки иных знаковых систем) обеспечивает самое возможность абстрактного, обобщенного мышления [13].

---

[9] Л. Балонов, В. Деглин, Н. Трауготт, Проникая в тайны мозга, «Правда», 27 VI 1976. См. также: А. Р. Лурия, Основы нейропсихологии, М., 1973, стр. 171, 222—227; П. Милнер, Физиологическая психология, М., 1973, стр. 305—316.

[10] Л. Балонов, В. Деглин, Н. Трауготт, указ. соч.

[11] См. об этом подробнее: В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления, стр. 150—151.

[12] В. Деглин, Функциональная асимметрия — уникальная особенность мозга человека, «Наука и жизнь», 1975, 1, стр. 112.

[13] Мы не имеем возможности остановиться здесь на характере материальной стороны в процессе внутренней речи в ее отличии от таковой же в актах коммуникации. См. об этом: В. Н. Соколов, Внутренняя речь и мышление, М., 1968, стр. 99—101; В. З. Панфилов, Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака, ВЯ, 1975, 3, стр. 36—37. Последними исследованиями физиологов установлено, в частности, что специфически человеческая словесная информация фиксируется в мозгу человека наряду со смысловым (семантическим) также акустическим и управляющим кодами, причем «слово фиксируется в акустическом коде

Говоря о знаковой природе материальной стороны языковых единиц, вместе с тем следует иметь в виду, что между нею и значением языковой единицы существуют определенного рода корреляции. Во всех языках существуют звукоподражательные слова [14], которые возникают как имитация тех или иных звуков окружающей человека действительности. Однако этот слой лексики во всех языках занимает периферийное положение; к тому же оказывается весьма относительной и та имитация природных звуков, которой они обязаны своим возникновением, о чем свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что звукоподражательные слова, имитирующие одни и те же природные звуки, нередко весьма существенно отличаются друг от друга в различных языках. Важно и то, что звукоподражательные слова (как и другие виды изобразительных слов) не лишены способности к обобщению: каждое из них обозначает природные звуки какого-либо одного рода, диапазон различий между которыми, однако, может быть весьма широким. Иначе говоря, наблюдаемые в этих случаях элементы звукового символизма, не нарушают знаковой функции материальной стороны слов этого слоя лексики.

Корреляция между материальной стороной языковой единицы и выражаемым ею значением проявляется также в том, что определенного типа отношения между значениями языковых единиц находят соответствие в определенного рода отношениях материальных сторон этих языковых единиц. Такого рода соответствия наблюдаются для широкого круга языков. Так, они имеют место: 1) если различными значениями слов или форм одного и того же слова фиксируется различие в количестве предметов, многократности (обычности) — однократности действия, степени интенсивности того или иного качественного признака, близости — удаленности в пространственном и временном отношении. Так, в ряде языков форма множественного числа существительных образуется путем удвоения его основы; во многих языках форма не-единственного числа образуется специальным ненулевым показателем, в то время как форма единственного числа имеет нулевой показатель. Во многих языках значение обычности и многократности действия также выражается удвоением основы глагола. Есть языки, в которых подобным же образом образуется форма слова, выражающая высшую степень интенсивности какого-либо качественного признака; в других языках эта форма слова получает те или иные приращения за счет аффиксов по сравнению с формой слова, фиксирующей исходную степень этого признака. В ряде языков бóльшая степень удаленности какого-либо объекта выражается посредством удлинения гласного соответствующего указательного местоимения и т. п.; 2) если значения различных слов обнаруживают семантическую близость друг к другу. В этом случае между звуковыми обликами соответствующих слов нередко также обнаруживается известная близость.

Определенного рода корреляции между обеими сторонами языковой единицы наблюдаются также и в процессе исторического развития язы-

не как выражение какого-либо понятия, но как сложный звуковой сигнал — код возникает и в том случае, если слово хорошо знакомо, и в том, если оно незнакомо совсем». При этом отмечается, что «изучение физиологических принципов кодирования в мозгу произносимых слов позволило решать и „обратную“ задачу: расшифровывая кодовые характеристики, распознавать слова, „произносимые“ мысленно» (Н. Бехтерева, Новое в изучении мозга человека, «Коммунист», 1975, 13, стр. 91—92), из чего следует, что код материальной стороны — языковых единиц в той или иной форме существует и в процессе внутренней речи.

[14] В ряде языков они образуют весьма многочисленный слой лексики. См., например: Н. Б. Киле, Образные слова нанайского языка, Л., 1973; В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, 2, М.— Л., 1965, стр. 197—205, и многие другие работы.

ка. Так, развитие грамматических морфем из знаменательных слов сопровождается опрощением их звукового облика (выпадениями гласных и согласных и иного рода усечениями звуковой стороны); то же самое происходит, когда производные и, в особенности, сложные слова теряют свою внутреннюю форму [15]. Как отмечает Т. В. Гамкрелидзе в статье, специально посвященной этому вопросу, в подобных случаях «отношения на уровне означаемых индуцируют специфический характер отношений между означающими» и «в этом смысле можно говорить о мотивированности отношений между означающими через отношения между соответствующими означаемыми» [16]. В такого рода корреляциях проявляется общая зависимость любой знаковой системы от той области действительности, по отношению к которой она функционирует в этом качестве. Как справедливо отмечает Л. О. Резников, «понятие условности связи знака и значения, собственно говоря, и выражается в том, что структура какой-либо области предметов действительности может быть обозначена в *различных* изоморфных друг другу знаковых системах, которые все так или иначе *детерминированы* структурой данной области и теряют какое бы то ни было значение вне связи с ней» [17]. Таким образом, отсутствие подобия между материальной стороной и значением каждой языковой единицы в отдельности, а, следовательно, первой из них и тем предметом, который эта языковая единица обозначает, не только не исключает, но, наоборот, предполагает, что материальные стороны языковых единиц всего языка детерминированы той объективной действительностью, с которой они соотносятся как система знаков. Иначе говоря, произвольность материальной стороны каждой языковой единицы не означает, что структура всей совокупности материальных сторон языковых единиц того или иного естественного языка никак не обусловлена характером той объективной действительности, в отношении которой эта совокупность функционирует как знаковая система.

Вместе с тем можно высказать предположение, что существует известный параллелизм между степенью развития способности к абстракции и обобщению и степенью отхода материальной стороны языковых единиц от символичности (иконичности).

Наиболее сложным и дискуссионным продолжает оставаться вопрос о том, является ли знаковой по своей природе идеальная сторона языковых единиц. Как нам уже приходилось отмечать, положение о знаковом характере этой стороны языковой единицы в конечном счете опирается на релятивистское понимание природы языка и на принцип имманентности языка. Поскольку язык выступает как средство осуществления абстрактного, обобщенного мышления и рациональной ступени человеческого познания, тезис о знаковом характере идеальной стороны языковых единиц в философском плане неизбежно ведет к агностицизму [18].

Рассматривая вопрос о природе языкового значения — является ли оно знаковым или незнаковым,— следует также иметь в виду следующее наиболее существенное в философском отношении обстоятельство. Один из аспектов материалистического решения основного философского вопроса о первичности материального и вторичности идеального состоит в том, что идеальное, будучи продуктом мозга как формы высокоорганизованной материи, вместе с тем является результатом отражения вне и независимо

---

[15] В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления, стр. 164.

[16] Т. В. Гамкрелидзе, К проблеме «произвольности» языкового знака, ВЯ, 1972, 6, стр. 37.

[17] Л. О. Резников, Гносеологические вопросы семиотики, стр. 15.

[18] См. об этом подробнее: В. З. Панфилов, Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака.

от человека существующей действительности и в этом смысле также вторично по отношению к ней. Это положение имеет силу и в отношении той формы идеального, которую представляет собой идеальная сторона языковых единиц. Вторичность этой формы идеального как продукта мозга состоит также и в том, что она есть результат отражения действительности и, следовательно, не может не быть подобной этой действительности. Положение же о произвольности (знаковой природе) идеальной стороны языковых единиц предполагает, что она, не будучи подобна объективной действительности, независима от нее и, следовательно, не является вторичной по отношению к ней, т. е. в его основе лежит идеалистическое решение вопроса о соотношении материального и идеального. Итак, идеальная сторона языковой единицы, будучи образом тех предметов объективной действительности, с которыми она соотносится, в отличие от ее материальной стороны не является произвольной, и, следовательно, знаковой по своей природе. Этой природой обладает лишь материальная сторона языковой единицы, ввиду чего языковым знаком следует считать не языковую единицу в целом, а лишь ее материальную сторону, т. е. языковой знак представляет собой не двустороннюю, а одностороннюю сущность. «Знак (языковой.— *В. П.*) есть выражающее: он материален; значение есть выражаемое: оно идеально. Между знаком и значением, с одной стороны, и объективной действительностью — с другой, существует другое отношение. Это — отношение обозначения для знака и отношение отражения для значения знака. Знак есть обозначающее, объективная действительность — обозначаемое; значение знака есть отражение, объективная действительность — отражаемое [19].

Наиболее существенным в философском отношении является вопрос о том, есть ли язык объективное явление в том смысле, что он существует вне мозга индивидов, говорящих на том или ином языке, или, иначе говоря, представляет ли собой интерсубъектное явление. Тезис о языке как интерсубъектном явлении развивается многими языковедами и философами [20]. Положение об интерсубъектном существовании языка является основой теории К. Поппера о так называемом третьем мире [21]. По мнению К. Поппера, наряду с первым миром — миром физических объектов или физических состояний, и вторым миром — миром состояний субъективного сознания, или умственных состояний, или поведенческих предрасположений к действию, существует еще третий мир, мир объективных теорий, объективных проблем и доказательств, или, иначе, мир объективного знания [22]. В то время как второй мир есть мир субъекта, третий мир, по мнению К. Поппера, есть уже знание без субъекта знания (it is knowledge

[19] Т. П. Ломтев, О природе значения языкового знака, ВФ, 1960, 7, стр. 130. Точка зрения на языковой знак как на одностороннюю сущность развивается также в следующих работах: Л. О. Резников, Гносеологические вопросы семиотики; А. А. Ветров, Семиотика и ее основные проблемы, М., 1968; В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, и ряде других. Как односторонняя сущность рассматривается языковой знак А. Г. Волковым (см.: А. Г. Волков, Язык как система знаков, М., 1966) и некоторыми другими авторами, однако, на том основании, что сама языковая единица типа слова также является односторонней.

[20] См., например: В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка, Л., 1929, стр. 22, 113, 123; L. Antal, Questions of meaning, The Hague, 1963, стр. 10, 12; Ю. С. Степанов, Проблема общего метода современной лингвистики, сб. «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний», М., 1974, стр. 126; А. А. Леонтьев, Знак и деятельность, ВФ, 1975, 10 (автор этой статьи солидаризируется с точкой зрения В. Н. Волошинова, развитой им в названной выше книге), и некоторые другие работы.

[21] K. Popper, Objective knowledge. An evolutionary approach, Oxford, 1974.

[22] Там же, стр. 106, 108.

without a knowing subject) [23]. Различая традиционную эпистемологию, которая, по его мнению, занимается вторым миром, или знанием в субъективном смысле и потому иррелевантна для исследования научного знания, и объективную эпистемологию, которая исследует третий мир, К. Поппер утверждает, что эта последняя может многое дать для понимания второго мира, субъективного мыслительного процесса ученого, но обратное не имеет силы [24]. Рассматривая этот вопрос в более широком плане, К. Поппер полагает, что если друг с другом взаимодействуют как первые два мира, так и последние два из них, то первый и третий мир, т. е. мир физических состояний и мир объективного знания, не могут взаимодействовать друг с другом [25]. Центральным в теории третьего мира К. Поппера является положение об его автономии, хотя автор и не отрицает, что он есть продукт человека [26]. Наконец, К. Поппер утверждает, что этот третий мир есть прежде всего языковой мир: без языка, который подобно орудию развивается в н е т е л а, не может быть объекта для нашего критического обсуждения, т. е. мира объективного знания [27].

Таким образом, принцип интерсубъектного существования языка является важнейшей частью дуалистической философии К. Поппера, попытавшегося объединить в ее рамках «наивный реализм», т. е. материализм, и объективный идеализм, причем сам К. Поппер признает, что его «третий мир» имеет много общего с платоновским миром идей или абсолютной идеей Гегеля. Точно так же и развиваемое некоторыми лингвистами положение об интерсубъектном существовании языка находится в русле идеалистического решения основного философского вопроса, так как тем самым утверждается, что та форма идеального, которую представляют собой языковые значения, существует вне мозга человека. Материалистическое решение этого вопроса состоит в том, что, как говорит К. Маркс, «нельзя отделить мышление от материи, *которая* мыслит» [28]. Этот основной принцип марксистско-ленинской философии был обоснован и развит в дальнейшем В. И. Лениным в его работе «Материализм и эмпириокритицизм». Как известно, один из краеугольных постулатов эмпириокритиков, претендующих на преодоление противоположности материализма и идеализма гласил: «Наш мозг,— говорит Авенариус в „Человеческом понятии о мире“, — не есть обиталище, седалище, созидатель, не есть инструмент или орган, носитель или субстрат и т. д. мышления» [29]. По мнению представителей этого направления в философии, естествоиспытатели и философы, рассматривающие мышление, психическое как функцию мозга, совершают незаконную интроекцию, «делая из составной части (реальной) среды составную часть (идеального) мышления» [30].

Характеризуя философскую сущность этих высказываний Авенариуса, В. И. Ленин писал: «...Авенариус на деле чуточку иными словами защищает тот же идеализм: мысль не есть функция мозга, мозг не есть орган мысли, ощущения не функция нервной системы...» [31]. И далее: «Учение об интроекции есть путаница, протаскивающая идеалистический вздор и противоречащая естествознанию, которое непреклонно стоит на том, что

---

[23] Там же, стр. 109.
[24] Там же, стр. 111—112.
[25] Там же, стр. 155.
[26] Там же, стр. 118.
[27] Там же, стр. 120.
[28] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 2, стр. 143. См. также: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 22, стр. 301; 21, стр. 285—286.
[29] В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 18, стр. 84—85.
[30] Там же, стр. 86.
[31] Там же.

мысль есть функция мозга, что ощущения, *т. е.* образы *внешнего мира*, существуют *в нас*, порождаемые действием вещей на наши органы чувств» [32].

Показывая несостоятельность попытки махистов «преодолеть» противоположность материализма и идеализма путем введения понятия «элемент», якобы «нейтрального» в отношении материального и идеального, В. И. Ленин указывал также: «...если элементы суть ощущения, то вы не вправе принимать ни на секунду существование „элементов" *вне зависимости* от моих нервов, от моего сознания» [33].

Эти высказывания В. И. Ленина достаточно определенно говорят о том, что с позиций материалистической философии мысль, идеальное, психическое [34], будучи функцией, высшим продуктом мозга как особым образом организованной материи, не может существовать вне этого своего материального субстрата, т. е. в отрыве от мозга, независимо от мозга. Иначе говоря, вторичность идеального, психического проявляется не только в том, что оно есть результат функционирования одной из форм материи, т. е. мозга, но и в том, что как продукт этой формы материи оно не может существовать вне ее, иначе говоря, не может приобрести независимость от нее и после своего возникновения в результате ее функционирования. Говоря о сущности материалистического и идеалистического решения этого вопроса, В. И. Ленин далее пишет: «Материалистическое устранение „дуализма духа и тела" (т. е. материалистический монизм) состоит в том, что дух не существует независимо от тела, что дух есть вторичное, функция мозга, отражание внешнего мира. Идеалистическое устранение „дуализма духа и тела" (т. е. идеалистический монизм) состоит в том, что дух *не есть* функция тела, что дух есть, следовательно, первичное, что „среда" и „Я" существуют лишь в неразрывной связи одних и тех же „комплексов элементов"» [35].

В марксистской философии идеальное, психическое рассматривается также как одно из свойств материи. Как писал В. И. Ленин, «не в том состоят эти (материалистические.— *В. П.*) взгляды, чтобы выводить ощущение из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущение признается одним из свойств движущейся материи» [36].

Очевидно, что в этой своей сущности свойства движущейся материи идеальное, психическое не может существовать независимо, быть отделенным от той формы материи, т. е. мозга, свойством которой оно является.

Вместе с тем здесь следует иметь в виду и другую сторону проблемы соотношения материального и психического. Будучи свойством мозга как высокоорганизованной формы материи, психическое не сводится к физиологическим процессам, в нем протекающим. Противоположная точка зрения приводит к отрицанию реальности идеального как отражения действительности, и ее логическим завершением является положение о том,

---

[32] Там же, стр. 88.

[33] Там же, стр. 50.

[34] Терминами «психическое» и «идеальное» обозначается одно и то же явление, но взятое в различной связи: первый из них употребляется, когда оно рассматривается как функция мозга, а второй — когда акцентируется его отношение к внешней действительности как ее образа в гносеологическом смысле.

[35] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 88 (разрядка наша.— *В. П.*). Из специальных работ последних лет, посвященных вопросу о соотношении мозга и психического (идеального), в которых защищается материалистическое положение о существовании психического (идеального) только в мозгу человека, можно сослаться также на кн.: Д. И. Дубровский, Психические явления и мозг, М., 1971 (см., в частности, стр. 83, 90 и др.).

[36] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 41; ср. также следующее высказывание В. И. Ленина: «Значит, ощущения не есть нечто первичное, а есть одно из свойств материи?» (там же, стр. 38).

что характер идеального (психического) целиком определяется устройством органов чувств и мозга человека, т. е. в конечном счете это приводит к отрицанию объективного характера человеческого познания, отрицанию того, что в его процессе достигается объективная истина. Такого рода философская позиция определяется как физиологический идеализм [37].

Идеальная сторона языковых единиц, будучи продуктом мозга как формы высокоорганизованной материи, также не существует вне него. Противоположный тезис о языке как интерсубъектном явлении оказывается весьма близким к основному принципу общей семантики и лингвистической философии, согласно которому язык есть единственная данная человеку реальность, а также включается как основной компонент в дуалистическую философию К. Поппера. Наконец, он является краеугольным камнем концепций неогумбольдтианской лингвистики и глоссематики, рассматривающих язык как независимую от индивида и его мышления сущность. Фактическая несостоятельность этого тезиса совершенно очевидным образом проявляется в процессе общения. Ведь проблема взаимопонимания в процессе общения возникает именно потому, что слушающий воспринимает не мысль своего собеседника как таковую, а лишь материальную, знаковую сторону языковых единиц, которая вызывает у него мысль, приближающуюся по своему содержанию к мысли говорящего в той степени, в какой у обоих собеседников оказываются общими те языковые значения, которые закреплены у каждого из них за материальной стороной языковых единиц, посредством которых выражается соответствующая мысль. А. Г. Спиркин в этой связи справедливо писал: «Поскольку сама по себе мысль нематериальна, она не дана органам чувств: ее нельзя ни увидеть, ни услышать, ни осязать, ни попробовать на вкус. Выражение „люди обмениваются мыслями“ абсурдно понимать буквально. Никакого обмена, никакой взаимной передачи мысли не происходит. Процесс общения осуществляется в форме взаимного материального воздействия словами, за которыми скрывается обмен мыслями. С помощью слов мы не передаем, а *вызываем* аналогичные мысли в голове воспринимающего. Слушающий воспринимает материальный облик слов и их связь, а осознает то, что ими выражается» [38].

Вместе с тем тот факт, что мышление человека и идеальная сторона языковых единиц существует только в неразрывной связи со своим материальным субстратом — человеческим мозгом, не означает, что они представляют собой лишь субъективное явление. Как писал В. И. Ленин, «... противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области: в данном случае исключительно в пределах основного гносеологического вопроса о том, что́ признать первичным и что́ вторичным. За этими пределами относительность данного противоположения несомненна» [39].

Мышление, психическое, идеальное (и, в том числе, идеальная сторона языковых единиц) субъективны, поскольку они есть продукт мозга мыслящего субъекта и являются отражением вне и независимо от него существующей действительности. Однако мышление одного индивида и идеальная сторона используемых им в процессе мышления языковых единиц для другого индивида предстает как объективное явление, существующее вне и независимо от него.

В. И. Ленин, отвечая идеалисту Уорду, утверждавшему, что с точки зрения материализма дух якобы представляет собой менее реальное явле-

[37] См., например: Я. А. Пономарев, К вопросу о природе психического, ВФ, 1960, 3.

[38] А. Г. Спиркин, Сознание и самосознание, М., 1972, стр. 216—217.

[39] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 151.

ние, чем материя, писал: «Это, конечно, сплошной вздор, будто материализм утверждал „меньшую“ реальность сознания...» [40].

Очевидно, что как свойство особым образом организованной материи, т. е. мозга, идеальное, психическое в такой же мере объективно, в какой объективен сам мозг. Реальность, объективность психического проявляется, в частности, в том, что психическое (идеальное) оказывает свое влияние на физиологические процессы, происходящие в мозгу и в организме человека в целом.

В процессе коммуникации объективность, реальность идеальной стороны языковых единиц в мозгу говорящего манифестируется для слушающего их материальной стороной в виде звуковых волн, возникающих в результате артикуляции органов речи говорящего. Эта материальная сторона выступает, таким образом, своего рода эффекторным компонентом тех психических процессов, в ходе которых используются соответствующие языковые единицы.

---

[40] Там же, стр. 296; см. также стр. 257.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

В. М. СОЛНЦЕВ

ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК И ЕГО СВОЙСТВА

Признание языка знаковой системой,— а такой взгляд на язык в настоящее время если не общепризнан, то весьма широко распространен,— требует всестороннего анализа понятия знака вообще и раскрытия специфики собственно языкового знака, поскольку знаковая система потому и называется знаковой, что состоит из знаков или, может быть, точнее сказать, включает в себя знаки. Несмотря на обширную литературу о знаковых системах и знаках, а также несмотря на существование более или менее принятого в науке (правда, очень общего) определения, согласно которому знак — нечто используемое для обозначения чего-то, находящегося вне его самого, единства мнений о том, что такое знак и каковы его свойства, все же нет. К числу немногих общепризнанных свойств знака, пожалуй, можно отнести отсутствие естественной или причинной связи между знаком и тем, что он замещает, и отсутствие детерминированности знака предметом, который он обозначает. Указанное выше определение знака в силу своей общности вмещает весьма различные и даже противоречивые конкретные интерпретации знака и его свойств.

Между тем, от того или иного толкования понятия знака во многом зависит решение ряда важных теоретических проблем, как общесемиотических, так и частносемиотических, т. е. проблем, касающихся различных частных видов знаковых систем, например, языковых систем. Поэтому продолжение обсуждения вопроса о знаке и, в частности, о языковом знаке и его свойствах остается актуальной задачей.

Для того чтобы служить целям общения, знак должен быть чувственно воспринимаем. Поэтому материальность является обязательным свойством знака. При всей, казалось бы, бесспорности этого утверждения вопрос о материальности собственно языкового знака тем не менее требует специального рассмотрения. В языке знаки «сделаны» из звуковой материи. Они воспринимаются органами слуха. Как материальные предметы языковые знаки существуют вне головы человека. В голове говорящего имеются идеальные обобщенные образы этих знаков (или представления об этих знаках). Эти образы или представления по сути дела есть не что иное, как знание [1] соответствующих знаков.

Особенность бытия языковых знаков состоит в том, что они, представляя собой звуковые волны определенной длины, материально существуют ровно столько времени, сколько длятся колебания этих звуковых волн. Языковой знак не имеет поэтому непрерывного существования во времени. При необходимости «иметь» в своем распоряжении тот или иной знак этот знак создается говорящим с помощью органов речи всякий раз заново. Основой создания знака является знание говорящим данного знака и умение артикулировать его, т. е. «делать» его. В силу этого каждый знак суще-

[1] Знание знака предполагает также знание значения этого знака, т. е. наличие в голове понятия или идеи, связанной с этим знаком (т. е. обозначенной этим знаком). О значении знака см. подробнее ниже.

ствует во множестве «экземпляров». Это множество бесконечно, так как каждый знак «делается» в данной языковой среде бесконечное количество раз. Свойство «экземплярности» языкового знака, вытекающее из способа его существования в виде некоторого множества, или класса, позволяет рассматривать единичные конкретные знаки (отдельные экземпляры) как варианты одного и того же знака. По отношению к этим вариантам идеальный обобщенный образ данного знака (или представление о нем) выступает как инвариант, в котором отражены общие свойства, обязательно повторяющиеся во всех конкретных вариантах (экземплярах) этого знака, и сняты индивидуальные различия вариантов. Инвариант данного знака есть некоторый идеальный предмет, «умственная вещь». Он может быть рассмотрен как абстрактная форма данного знака. Поясним сказанное на примере. Так, звукоряд *д-е-р-е-в-о* в русском языке есть знак, выражающий идею (понятие) о дереве [2]. В разных случаях, в произношении разных лиц конкретный звуковой облик этого знака может в определенных пределах видоизменяться, например, в зависимости от темпа и громкости говорения, а также в зависимости от индивидуальных особенностей речевого аппарата разных лиц [3]. Однако говорящие осознают, что *д-е-р-е-в-о* в разных случаях произношения — это один и тот же знак. Основой осознания этого является, с одной стороны, наличие в головах говорящих одного и того же понятия (значения) [4], связанного с этим знаком, т. е. выражаемого этим знаком, и, с другой стороны, наличие в головах говорящих идеального обобщенного образа этого знака (или представления), в котором сняты индивидуальные особенности конкретных экземпляров данного знака. Обобщенный образ знака (или представление) и есть абстрактная форма знака, или абстрактный знак.

Во многих лингвистических работах, принимающих противопоставление языка и речи, абстрактные знаки считают принадлежностью языка, а конкретные знаки (отдельные экземпляры) — принадлежностью речи. Различие между абстрактными и конкретными знаками при этом отображается обычно в двух рядах терминов — «эмических» и «этических». Так, имея в виду абстрактный знак, используют термин «морфема» (эмический ряд), а говоря о конкретном знаке, используют термин «морфа» или «алломорфа» (этический ряд) [5]. Между абстрактными и конкретными знаками в этом случае устанавливают отношения репрезентации, или манифестации: считают, что конкретные знаки манифестируют, или репрезентируют абстрактные знаки.

Такой подход, несмотря на его распространенность, вызывает возражения. Абстрактный знак — бесплотен. С его помощью невозможно общаться. Поэтому если считать, что язык состоит из абстрактных знаков, то его невозможно рассматривать как средство общения. Средство общения по своему назначению не может не быть материальным. Но, может быть, средством общения следует признать речь как состоящую из конкретных материально осязаемых знаков? Но речь сама есть процесс общения. Образуя

---

[2] Благодаря обобщенному характеру понятия о дереве, закрепленному за знаком *д-е-р-е-в-о*, этот знак может быть использован для указания на любое конкретное дерево, отраженное в этом понятии.

[3] В русском языке в разных случаях употребления может меняться и грамматическая форма слова.

[4] Строго говоря, не одного и того же, а приблизительно одного и того же, поскольку объем и содержание понятий у разных лиц могут не совпадать полностью в связи с различием в образовании, индивидуальном опыте и т. п.

[5] Такие двусторонние единицы языка, как морфема и слово, считаются, как известно, знаками во всех работах, исходящих из концепции знака как двусторонней сущности. Согласно же концепции знака как односторонней сущности, принятой в данной статье, знаком считается только звуковая сторона двусторонних единиц.

предложения, мы используем известные нам слова, конструкции, правила, т. е. мы строим речь всегда с помощью определенных средств. Речь поэтому есть не что иное, как язык в действии, в использовании. Соотношение языка и речи, по сути дела, есть соотношение средства и применения этого средства. Хотя конкретные знаки «делаются» в момент речи и являются в этом смысле принадлежностью речи, они не перестают быть и принадлежностью языка. От того, что мы делаем то или иное средство в момент его применения, оно не перестает быть средством [6]. Поэтому конкретные материальные знаки, создаваемые (артикулируемые) в процессе общения, являются именно реальными средствами общения, принадлежат языку как материальной системе знакового характера, представляющей собой в целом средство речеобразования, т. е. средство общения.

Отсутствие у языкового знака свойства непрерывного пространственно-временного существования создает большие удобства для его «хранения». Мы храним не сам чувственно осязаемый материальный знак, а храним в своей памяти обобщенный идеальный образ этого знака, а также уменье и навык в нужный момент «сделать» этот знак. Иначе говоря, мы храним не сами реальные знаки, а их абстрактную форму, знание о них.

Таковы некоторые соображения относительно вопроса о материальности языкового знака.

Общепризнано, что тот или иной предмет является знаком лишь в том случае, если он обладает значением (хотя в понимании того, что такое значение, также нет единства). В связи с вопросом о значении знака существуют две основные концепции знака — как двусторонней сущности и как односторонней сущности. Приверженцы концепции двусторонности знака считают, что знак состоит из двух сторон: означающего (обычно нечто материальное, в языке — звуки) и обозначаемого, под которым подразумевается значение [7]. Концепция одностороннего знака исходит из того, что знак сам по себе есть только указатель, только означающее, а значение знака, его означаемое, и есть то, на что данный знак указывает, и оно не входит в состав знака. Концепцию односторонности знака образно выразил польский ученый Л. Завадовский (приводится в изложении А. И. Ветрова): «Позиция, из которой исходят защитники двусторонней природы знака... верна: знак действительно является знаком потому, что он обладает значением. Но из этого отнюдь не следует, что знак есть комбинация, есть целое, состоящее из двух элементов. Разве из того, что, например, владелец сада есть человек, обладающий садом, следует, что владелец сада представляет собой двустороннюю сущность, а именно: человек плюс сад?» [8].

Различие двух подходов к знаку носит принципиальный характер и ведет к совершенно разным теоретическим выводам. На мой взгляд, понимание знака как односторонней сущности более адекватно [9].

Ниже, в соответствии с этим пониманием знака, я рассмотрю ряд, с моей точки зрения, существенных свойств знака, в том числе получивших разную оценку в литературе, и попытаюсь, там, где это возможно, при-

---

[6] «Деланье» единиц и, соответственно, знаков, представляющих звуковую сторону единиц, может быть двух видов: (а) единица воспроизводится в готовом виде и (б) единица создается вновь. Собственно языку, как показал в свое время А. И. Смирницкий, принадлежат воспроизводимые единицы.

[7] Как известно, автор терминов «означающее» и «означаемое» Ф. де Соссюр называл означающим не сам звук, а его образ в мозгу. Поскольку же под означаемым Соссюр понимал понятие, соссюрианский знак выступает как двусторонняя психическая сущность.

[8] См.: А. И. Ветров, Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968, стр. 47.

[9] Аргументацию в пользу этого см., в частности, в кн.: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971.

вести дополнительные аргументы в пользу концепции *односторонности* знака.

Включение или, наоборот, невключение значения в состав знака (и, соответственно, признание знака одно-или двусторонней сущностью) во многом зависит от различного понимания природы значения. В настоящее время существуют два основных понимания значения: как вида отношения (знака к предмету обозначения, знака к понятию и т. д.) и как идеального отражения. Первое понимание вполне согласуется с двусторонней концепцией знака, т. е. с включением значения в знак. Второе — нет. Именно поэтому защитники двусторонности знака критикуют это второе понимание значения. Сторонник билатеральной теории Л. А. Абрамян пишет: «Представление о значении слова как об идеальном отражении служит ныне, пожалуй, наиболее серьезным препятствием к выявлению природы языкового знака» [10].

Признание значения отражательной категорией, однородной с понятием [11], и, тем самым, понимание значения как факта сознания [12], препятствует, как будет показано ниже, включению значения в состав знака и служит основанием для признания знака односторонней сущностью.

Как факт сознания значение есть «умственный предмет», «идеальная вещь» (действие, признак, качество и пр.). В качестве «умственной вещи» значение, как и понятие, может быть: а) копией, снимком (разной степени *точности и адекватности*) с внешнего мира, например, значение «дерево» есть отображение в сознании класса реальных предметов, значение «ходить» есть отображение в сознании класса реальных действий, значение «чистый» — отображение реальных свойств предметов и т. д.; б) результатом творческой переработки данных прошлого опыта или плодом фантазии и искаженного отображения внешнего мира (таковы, например, значения слов *русалка*, *кентавр*, *леший*, *черт* и т. п.).

В случае значений первого типа («дерево», «дом», «книга» и т. п.) звукоряд *д-е-р-е-в-о* может быть использован для обозначения какого-либо реального дерева. В этом случае знак (звукоряд) *д-е-р-е-в-о* используется в соответствии с определением знака: он обозначает нечто, находящееся вне его самого, причем неясна и затушевана роль значения «дерево». Защитники «двустороннего» знака обычно говорят, что знак, обладающий, например, значением «дерево», используется как целое для обозначения реального предмета. Это, конечно, так. Но какова при этом роль значения? В этом случае именно значение позволяет звукоряду *д-е-р-е-в-о* быть соотнесенным с любым деревом, т. е. с любым предметом, отраженным в значении «дерево». Звукоряд (в моей трактовке — знак) *д-е-р-е-в-о* прежде всего указывает на значение, на «умственную вещь» — «дерево вообще» и лишь благодаря этому может быть соотнесен с любым конкретным деревом (так же обстоит дело со значениями, которые отображают различные «действия», «признаки», «качества» и т. д.). В практике общения часто вовсе не нужно указывать на реальные предметы. Иногда бывает достаточно указать только на «умственный предмет», например, «дерево вообще», «действие вообще» и т. д. В этом случае звукоряд (= знак) указывает только на значение. Этот факт не вполне очевиден потому, что в разбираемом случае за «умственным предметом», «умственным действием» и т. д. стоят реаль-

[10] Л. А. Абрамян, К вопросу о языковом знаке, сб. «Вопросы общего языкознания», М., 1964, стр. 13.

[11] Что касается взаимоотношений понятия и значения, то значение можно определить как стабильное в понятии, как «упрощенное понятие». Ср. бытовое и научное содержание слова *дерево*.

[12] Подробнее трактовку значения как факта сознания см. в статье: В. М. Солнцев, К вопросу о семантике, или языковом значении, сб. «Проблемы семантики», М., 1974.

ные предметы, действия и т. д., которые в любой момент могут быть обозначены соответствующим знаком.

Обратимся теперь к рассмотрению значений второго типа (значения слов *русалка*, *кентавр* и т. п.), которые отражают внешний мир не прямо и адекватно, а косвенно и искаженно. О таких значениях А. И. Смирницкий в свое время писал: «Случаи фантастических или конструированных значений, которые обусловлены действительностью лишь косвенно и не находят себе прямых соответствий в ней, сравнительно очень редки» [13]. Тем не менее эти случаи весьма важны для характеристики роли значения при оперировании знаками и раскрытия соотношения знака и значения (в языке — звучания и значения). Русалки, кентавры и пр. представляют собой лишь «умственные вещи». Реальных предметов, соответствующих *в действительности значениям этих слов*, нет [14]. В качестве «умственных вещей» русалки, лешие и пр. представляют собой значения соответствующих слов. Звукоряд *р-у-с-а-л-к-а* в силу этого может указывать только на «умственный предмет», плод фантазии, существующий лишь в сознании. Тем самым, данный звукоряд (= знак) указывает на свое значение.

По определению знака, то, на что указывает знак (в данном случае — значение), должно находиться вне знака. Именно так и обстоит дело в действительности: значение как факт сознания, как функция мозга, может «находиться» только в головах людей. Знак же как материальный предмет всегда находится вне человека. (Образ знака, имеющийся в сознании, считать знаком, как об этом говорилось выше, никак нельзя.) Если же включить понимаемое таким образом значение в знак, то следует признать, что знак указывает на самого себя или что одна часть знака указывает на другую, а это абсурдно.

Таким образом, тот факт, что звучание (знак) прежде всего указывает на приписанное ему значение, не вполне очевидный в случае значений первого типа, здесь достаточно обнажен.

Включение значения в знак, осуществляемое в рамках концепции двустороннего знака, как уже говорилось, обычно осуществляется на основе понимания значения, прежде всего, как отношения знака к предмету обозначения. Второй тип значений также может быть использован для показа неадекватности понимания значения как вида отношения, связи и т. п. В цитированной выше статье А. И. Смирницкий писал: «Как можно говорить о значениях фантастических или конструированных как об отношениях или связях с определенными кусками действительности, которые якобы обозначаются соответствующими словами, когда специфическим для этих слов как раз и является то, что ими ничто реальное не обозначается» [15]. Предметом обозначения в этом случае выступают такие значения, за которыми не стоит никакой реальности. Поэтому данный тип значения отчетливо показывает неправомерность понимания значения как вида отношения.

Итак, значения второго типа помогают отвергнуть понимание значения как какого-то отношения и помогают обосновать тезис об односторонности знака, понимаемого как указатель прежде всего на некоторое мыслительное содержание, а в тех случаях, когда это мыслительное содержание имеет

[13] А. И. Смирницкий, Значение слова, ВЯ, 1955, 2, стр. 81.

[14] В случаях русалок, леших и пр. нужно говорить о косвенном и искаженном отражении действительности потому, что такие «умственные вещи» своими составными частями, разумеется, мысленными, отображают вполне реальные вещи. «Хвост» русалки, например, есть не что иное, как отображение вполне реального рыбьего хвоста и т. д. Подобные плоды фантазии, в целом не имея прототипа в реальности, сконструированы из образов, имеющих совершенно определенные соответствия в действительности.

[15] А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 81.

прямое соответствие во внешнем мире, как указатель на любой предмет, отображенный в этом мыслительном содержании.

Фантастические и конструируемые значения ни в какой мере не опровергают отражательного в своем истоке характера любых значений [16], как того хотели бы противники теории отражения, сводящие принцип отражения к буквальному зеркальному отражению или изображению. Нет ни одного самого фантастического порождения самой изощренной фантазии, которое не включало бы элементы, непосредственным образом детерминированные фактами внешнего мира. В создании таких значений проявляется творческая сила сознания. Эти значения никак не опровергают тот простой факт, что сознание черпает свое содержание из внешнего мира и что в значениях слов любого языка закреплены знания народа о внешнем мире, итоги познания внешнего мира, как правильные, адекватные, так и ложные, искаженные, а также созданные из данных прошлого опыта порождения творческой мысли, фантазии и воображения.

Отражательный характер значения предполагает, в соответствии с ленинской теорией отражения, детерминированность, обусловленность (прямую или опосредственную) значения тем, отражением чего оно является. Это особенно явственно видно на примере значений первого типа («дерево», «дом», «книга» и пр.), представляющих собой наиболее распространенный, массовидный, в известном смысле нормальный и обязательный для любого языка тип значений. Что же касается знака, то его природа, как принято считать, никак не детерминируется предметом обозначения: любой предмет может быть знаком любого другого предмета. Включение понимаемого таким образом значения в знак требует признания того, что знак через одну из своих сторон детерминирован, обусловлен предметом обозначения. Это противоречит определению знака.

Итак, наличие значения является обязательным свойством материальных предметов (в языке — звуков), используемых как знаки. Однако само это значение в знак не входит и является тем, на что знак указывает.

Единство звучания (знака) и значения образует единицу языка, например, слово или морфему. Когда мы говорим о единице языка, то мы обязательно включаем в ее состав значение. В значениях единиц языка отражен и закреплен опыт народа, говорящего на данном языке. Единица языка как целое через свое значение детерминирована внешним миром. (В случае значений второго типа детерминация, как говорилось, носит косвенный характер.) Единица языка как целое (в силу вхождения в ее состав значения) не есть знак. Она состоит из знака и значения.

Рассмотрим теперь несколько подробнее, каковы же отношения между знаком и значением, или, что то же самое, между звучанием и значением единицы языка.

В нашей литературе распространен тезис о том, что в составе единицы языка звуки выступают как форма, а значение как содержание. Понимание соотношения звучания и значения как единства формы и содержания распространено очень широко. Однако признать этот тезис правильным нельзя. Сходство соотношения звука и значения с отношением формы и содержания действительно в какой-то мере можно найти. Но это лишь внешнее сходство. В самом деле, категории формы и содержания чего-либо как известно, во-первых, образуют неразрывное единство («Форма суще-

---

[16] В своем истоке отражательный характер имеют и так называемые переносные, метафорические значения. Всякое переносное значение, например, «заяц» (о безбилетном пассажире) в своем истоке ни в коей мере не является переносным. Чтобы быть переносным, значение в своем истоке должно быть прямым. Прямые же значения всегда непосредственно или опосредствованно отражают внешний мир.

ственна. Сущность — формирована»[17]); во-вторых, форма есть внешнее проявление содержания; в-третьих, между формой и содержанием время от времени возникает конфликт: изменение содержания ведет к ломке старой и появлению новой формы. Первые две характеристики как будто бы приложимы и к отношению звучания и значения (хотя, строго говоря, здесь имеется именно сходство, похожесть, но не одинаковость отношений). Что же касается третьей характеристики, то значение и звучание никогда не вступают в конфликт. Раздельное существование звуков и значений (знаки — вне человека, значения — в головах людей) предопределяет и их независимое друг от друга развитие[18]. Звуки имеют свои законы развития, значения — свои. Из истории языков известно, что у слова может очень сильно или полностью измениться звучание, но сохраниться значение. И наоборот, одно и то же звучание может получить полностью новое значение. Ср. в русском языке *вор* «изменник» (*тушинский вор*) → *вор* «похититель». Может частично измениться звучание и частично значение. Ничего подобного в отношении формы и содержания одного и того же явления сказать нельзя.

Что касается неразрывности связи звука и значения, то здесь нужно отметить следующее. Звуки и значения в языке действительно связаны в высшей степени прочной связью. Эта связь складывается исторически и закрепляется общественной практикой. Свободно заменять звучания тех или иных значений — это создавать помехи в общении. Тем не менее характер связи звука и значения таков, что при необходимости люди могут заменять одно звучание (название) другим (ср., например, переименование улиц и городов и вообще замену собственных имен). Впрочем и в сфере нарицательных слов возможны замены одного звучания другими при сохранении прежнего значения. Ср. табу, эвфемизмы, заимствованное и собственное наименование (*геликоптер* → *вертолет*), а также полные и сокращенные наименования (*Совет Министров* → *Совмин*) и т. п. Такие взаимоотношения между формой и содержанием одного и того же явления невозможны вообще.

Наконец, вряд ли убедительно считать, что формой значений второго типа («русалки» и пр.), которые не имеют соответствий в действительности, являются звуки. Иначе говоря, вряд ли можно говорить, что звукоряд *р-у-с-а-л-к-а* есть форма для «русалки», мифического существа, существующего только как факт сознания, т. е. как значение.

По-видимому, следует признать, что звучания (языковые знаки) как относительно автономное явление имеют свою форму и свое содержание, а значения также имеют свою форму и свое содержание. Что касается языковых звучаний, представляющих особым образом организованную звуковую материю, то отношения содержания и формы здесь, как в любом материальном предмете, устанавливаются между самой звуковой материей («движущиеся слои воздуха») и ее организацией — структурой, или формой. Звучания в языке выступают обычно в виде упорядоченных комбинаций артикулированных звуков, в частном случае в виде отдельных звуков. Структурные характеристики звуков и их комбинаций и образуют форму языковых знаков — звучаний.

В сфере значений, понимаемых как факты сознания, отношения содержания и формы обнаруживаются между содержанием значений (отображение внешнего мира или порождение воображения и фантазии) и той логической формой понятия, в которую организуются определенные

[17] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 129.

[18] Ср. замечание А. И. Смирницкого: «Значение и звучание слова — сами по себе два совершенно различных явления, хотя и выступающие в общественно-исторически обусловленной связи друг с другом» (указ. соч., стр. 80).

виды фактов сознания. Отношения же между языковым звучанием и языковым значением в целом следует оценить как отношение знака и предмета обозначения (в данном случае «умственного предмета»), т. е. как отношение обозначения.

Теперь кратко коснемся еще одного важного аспекта связи между знаком и его значением. Важнейшей особенностью отношения знака и того, что знак обозначает, является условный характер самого этого отношения. Условный характер связи вытекает из отсутствия природной, причинной связи между знаком и тем, что он обозначает, а также из отсутствия отношений детерминации между обозначаемым и знаком. Любой предмет может стать знаком любого другого предмета, факта, действия, явления и т. п. Мы можем договориться, что данный предмет, например, спичечный коробок, символизирует, т. е. обозначает паровоз, пароход, самолет, небоскреб, крокодила, яблоко или любой другой предмет. Тем самым коробок наделяется нами свойством быть знаком. Это свойство не есть его природное, материальное свойство. Это свойство приписано ему людьми. Поскольку коробок начинает использоваться, т. е. функционировать как знак, свойство быть знаком можно назвать функциональным свойством предмета, используемого как знак. Однако это свойство отлично от других функциональных свойств предмета, в данном случае коробка. Способность при трении головки спички о поверхность вызывать огонь есть функциональное свойство, обусловленное физическим устройством коробка. Однако ни одно физическое, материальное свойство коробка не имеет ни малейшего отношения к его свойству быть знаком. Вместо коробка в той же функции может быть использован любой другой предмет, например, чернильница. Функциональное свойство быть знаком есть мысленно приписанное предмету свойство. Предмет условно используется как знак. Отсюда и сам термин «условный знак». Отсюда и сама характеристика связи между знаком и предметом замещения как «условной».

Конечно, невозможно предположить, что древние люди договорились, условились, что такой-то звук будет обозначать то-то, а другой звук что-то иное. И тем не менее связь между звучанием и значением (если исключить звукоподражания) по своей природе условна. Ничто не предопределяет того, что идея «стола» в русском обозначается звучанием *стол*, в немецком *Tisch*, в китайском *чжоцзы*, а во вьетнамском *bàn*, а идея «рыбы» обозначается звучаниями: в английском *fish*, в русском *рыба*, в китайском *юй*, во вьетнамском *cá*, во французском *poisson* и т. д. [19].

Условная связь между звуком и значением складывается стихийно-исторически при становлении языка в процессе совместной практической деятельности людей. Связь эта становится исторически обусловленной, объективной в том смысле, что каждое новое поколение воспринимает ее как нечто объективно данное. Но она не становится от этого безусловной, мотивированной, причинной. Менять звуковые оболочки значений, как уже говорилось, произвольно крайне трудно (хотя в исключительных случаях возможно). И тем не менее мы можем считать, что связь звучания и значения произвольна в смысле отсутствия обусловленности или мотивированности звучания тем, что это звучание обозначает, т. е. отсутствия природных или причинных отношений между знаком и тем, что он обозначает.

---

[19] В пределах каждого языка благодаря наличию корнеродственных слов, которые обязательно семантически связаны, иногда можно объяснить, почему тот или иной предмет назван именно так. Например, в русском языке идея «стола» связана, видимо, с идеей чего-то «расстеленного», «постеленного». Однако никакой связи между звукорядом *с-т-о-л* и идеей «стола» обнаружить невозможно.

За последние годы у нас появилась серия работ (статей и книг), в которых вновь поднимается вопрос о мотивированности связи между звучанием и значением (в моем понимании — между знаками языка и тем, что они обозначают). Идея мотивированности связи звуков и значений в том или ином виде с привлечением экспериментальных и статистических данных обосновывается в работах И. Н. Горелова, А. П. Журавлева, В. В. Левицкого и др. Опубликованные материалы показывают, что в отдельных языках (отчасти в группах родственных языков) можно в какой-то мере наблюдать более частую встречаемость звуков или звукосочетаний в словах с определенной семантикой. Так, в некоторых европейских языках, например, в английском, количественно преобладает звук *i* в словах со значением «маленький» (но ср. *big*), а звук *a* — в словах со значением «большой». Это явление, которое определяют как звукосимволизм и связывают с символичностью[20] звуков, вряд ли может быть объяснено «натуральным, природным значением звуков языка»[21]. Происхождение его скорее надо объяснять другими причинами. Во-первых, как известно, в различных языках (в группах родственных языков) одни и те же (или сходные) звуки и звукосочетания обычно встречаются в семантически сходных или связанных словах[22]. Такие слова либо являются корнеродственными, либо могли быть таковыми в отдаленные эпохи. В последнем случае корневое родство сильно «размыто» и явно не прослеживается. Сохраняются лишь его следы в виде звукового сходства и семантической связанности, которые обычно и служат основанием для поисков древнего родства слов как в пределах одного языка, так и в группах родственных языков. Во-вторых, стихийно-исторически сложившиеся за тысячелетия и ставшие для данного языка традиционными связи определенных звуков с определенными звучаниями образуют обширный ассоциативный фон, благодаря которому в этом языке с определенными звуками иногда ассоциируются сходные или однотипные значения. Наконец, не исключено, что в отдельных случаях действительно «наши голосовые органы производят mutatis mutandis те же символические движения, что и наши руки, кисти рук и т. д. Мы увеличиваем степень открытости рта, чтобы показать большие, и уменьшаем его, чтобы показать малые размеры чего-либо...»[23]. Тем или иным движениям органов речи обычно соответствуют определенные звуки (*i* произносится при максимальной закрытости, а *a* при максимальной открытости рта), которые иногда и ассоциируются с определенными значениями. Сторонники мотивированности связи звука и значения охотно и, надо сказать, не без основания ссылаются на эти и аналогичные рассуждения Ш. Балли, не отмечая (или не замечая), однако, того, что Балли говорит лишь о части языковых знаков, о наблюдаемой иногда символичности движений органов речи, которые лишь «подчеркивают значение, выражаемое знаком»[24]. Символичность движений органов речи, о которой

[20] Символичность, о которой здесь идет речь, предполагает не просто отношение обозначения между звуками и значениями, но отношения мотивированного обозначения. Соответственно термин «звукосимволизм» обозначает мотивированность использования определенных звуков для выражения определенных значений, т. е. мотивированность звучаний и значений.

[21] См.: А. П. Журавлев, О мотивированности признаковой семантики слова натуральным значением входящих в него звуков, «Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака», Л., 1969, стр. 67.

[22] Ср.: Л. В. Быстрова, В. В. Левицкий, Фонетическое сходство семантически связанных слов, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», XXVI, 6, 1973.

[23] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 147—148.

[24] Там же, стр. 145. В другом месте (стр. 144) Ш. Балли говорит о «самой сущности характера языкового знака, где властвует произвольность...».

пишет Балли, и обусловленная ею символичность некоторых (далеко не всех!) звуков отнюдь не служит средством выражения тех или иных понятий (= значений слов), но только средством подчеркивания, да и то не всегда и не везде, некоторых очень широких и весьма неопределенных идей типа «большой, крупный и т. п.» или «маленький и т. п.».

Наблюдающиеся в языках явления звукосимволизма используются главным образом как экспрессивные средства и служат основой различных видов аллитераций и прочих средств звукописи (ср. у А. Вознесенского: «О, как ты звенела во мраке вселенной, упруго и прямо как прутик антенны»). Явления звукового символизма и кажущаяся мотивированность связи некоторых звуков и некоторых значений возникают только как вторичные явления. Это отмечает, в частности, В. В. Левицкий [25]. И с этим нельзя не согласиться. Звуковую символику невозможно объяснить наличием у звуков некоего «натурального, отприродного» значения хотя бы потому, что значение не может быть «природным». В природе вообще нет категории значения. Значение, как уже говорилось, есть факт сознания, социально и исторически обусловленный. Значения возникают в сознании людей, постигающих в процессе практической деятельности свойства и связи предметов и явлений внешнего мира. Значения «большой» и «маленький» со всеми их разновидностями возникают в результате сопоставления и сличения реальных предметов, с которыми люди имеют дело, а отнюдь не вследствие восприятия или познания физических (акустических) свойств звуков *i* и *a*. Символическая связь между отдельными звуками и некоторыми значениями может возникнуть только как вторичное явление в силу действия разных причин, о которых речь шла выше. И если при этом можно говорить о какой-то мотивированности использования отдельных звуков, то только о вторичной, а не об изначальной, отприродной.

Наблюдаемые в языках звукосимволические эффекты, будучи вторичным явлением, не определяют природу связи между звуками и значениями. Сущность этой связи — в ее немотивированности и в этом смысле произвольности. «*Кит*,— пишет Ч. Хоккет,— маленькое слово для обозначения большого объекта, а слово *микроорганизм* используется противоположным образом» [26] (т. е. для обозначения маленького объекта). Именно немотивированность (произвольность) связи звучаний и значений обусловливает отмеченное выше разнообразие обозначений одних и тех же понятий (предметов, явлений, свойств и т. п.) в разных языках. Именно в силу немотивированности связи звучания и значения возможны такие случаи, когда в совершенно не связанных между собой языках аналогичный звуковой комплекс обозначает как бы противоположные явления. Так, в японском языке *яма* означает гору (*Фудзияма* — «гора Фудзи»), а в русском — углубление или выемку в почве.

Иногда прочность, тесность, привычность связи между звучанием и значением принимается за непроизвольность и необходимость. Э. Бенвенист пишет: «Связь между означаемым и означающим непроизвольна, напротив, она необходима. Понятие („означаемое“) „бык“ в моем сознании неизбежно отождествляется со звуковым комплексом („означающим“) *bœf*. И может ли быть иначе?

Вместе запечатлены они в моем сознании, вместе возникают они в представлении при любых обстоятельствах» [27].

---

[25] См.: В. В. Левицкий, Семантика и фонетика, Черновцы, 1973, стр. 90—91.

[26] Ch. F. Hockett, The origin of speech, «Scientific American», 203, 3, 1960, стр. 90.

[27] Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 32.

Как уже говорилось, связь между знаком и тем, что он обозначает, произвольна, условна (конвенциональна), не необходима в том смысле, что это не природная, не материальная, не причинная связь, а связь социальная, подразумеваемая, мысленная. Никакие свойства знака не обусловлены свойствами замещаемого предмета (физического или «умственного»). Те, кто утверждает, что связь знака и того, что он обозначает (значения), необходима и непроизвольна, фактически говорит о тесности, привычности связи, необходимости регулярно употреблять знак со строго определенным значением, чтобы быть понятым в среде, где данный знак используется как средство общения. Об этом фактически говорит и Э. Бенвенист в приведенной выше цитате.

Вообще говоря, именно произвольность (немотивированность) и условность (конвенциональность) связи знака и предмета обозначения являются необходимыми атрибутами развитой формы знака. К числу знаков, как известно, относят весьма широкий круг объектов: симптомы и признаки (например, дым от костра, кашель при простуде и т. п.), копии, изображения, отпечатки (так называемые иконические знаки), различного рода символы (гербы, эмблемы и т. п.) и собственно знаки, или, как их называют, условные знаки [28]. Первые две группы объектов отчетливо детерминированы (иначе можно сказать, четко мотивированы) теми предметами и явлениями, на которые они указывают (кашель — простудой, дым — костром, изображение — оригиналом и т. п.). Объекты, входящие в эти две группы, можно называть н е - з н а к а м и, имеющими знаковое использование [29], поскольку, с одной стороны, эти объекты являются именно признаками, атрибутами других объектов или сходны с ними, а с другой стороны, по ним, как по любым знакам, можно судить о других объектах. Что касается символов, то они тоже имеют некоторую мотивированность тем, что они обозначают. Однако эта мотивированность может быть весьма слабой и иногда сводится лишь к намеку в символе на обозначаемый предмет или идею. Символы занимают как бы промежуточную позицию между н е - з н а к а м и и собственно знаками (условными знаками). Их можно считать неразвитой формой знаков. Нетрудно видеть, что в кругу объектов, включаемых в знаки, наблюдается постепенный переход от полной мотивированности («дыма без огня не бывает») к полной немотивированности (произвольности) у так называемых собственно знаков (или условных знаков). В связи с этим некоторые авторы, пишущие по проблеме знака, отмечают, что «в историческом развитии знаков наблюдается интересная закономерность. Изучение происхождения тех или иных видов знаков показывает, что их, так сказать, „прародители“ были такие знаки, которые имели определенное сходство или связь с обозначаемыми предметами. Но в процессе эволюции это сходство или связь утрачивается» [30]. Объясняется это тем, что «во-первых, наличие сходства (или связи) формы знака с обозначенным предметом не является необходимым условием функционирования знаков, не вытекает... из самой природы отношения обозначения, является случайным по отношению к ней. Во-вторых, это сходство (связь) в ряде случаев существенно ограничивает возможности оперирования знаками» [31].

---

[28] Названные четыре группы объектов, относимых к знакам, сведены в таблицу и охарактеризованы в упоминавшейся работе В. В. Левицкого «Семантика и фонетика».

[29] Подробнее см.: В. М. С о л н ц е в, Язык как системно-структурное образование, стр. 95—96.

[30] А. П о л т о р а ц к и й, В. Ш в ы р е в, Знак и деятельность, М., 1970, стр. 12.

[31] Там же, стр. 12.

Знаки языка — звукосочетания (иногда отдельные звуки) представляют собой именно высшую, развитую форму знаков, поскольку их связь с обозначаемыми (значениями) ничем не предопределена.

Не является ли, однако, утверждение о произвольности и конвенциональности знаков, или, что то же самое, о произвольности и конвенциональности их связи с тем, что они обозначают, каким-то видом конвенционализма? Безусловно, нет.

Конвенционализм утверждает условность наших понятий, представлений и вообще знаний. Конвенционализм начинается там, где знак начинают ассоциировать или отождествлять с его значением, где условность знака переносится на значение (понятие) и вообще знание. Однако поскольку знаки представляют собой лишь средство обозначения и выражения наших знаний, носящих в целом объективный характер, и не имеют ничего общего с тем, что они выражают или обозначают [32], т. е. со значениями, постольку условность знака ни в коей мере не есть конвенционализм. Перенос присущего знаку свойства условности на его значение может произойти и иногда происходит главным образом при понимании знака как двусторонней сущности, когда в знак (в условный знак) включается его значение, т. е. некоторое мысленное содержание, которое всегда либо прямо (*дом*, *ствол*, *дерево* и пр.), либо косвенно (*русалки*, *ведьмы* и пр.) обусловлено внешним миром.

Понимание знака как односторонней сущности, будучи более адекватным само по себе, в большей мере «предохраняет» от конвенционалистской трактовки понятий, значений и вообще знаний. Конечно, было бы совершенно неверным считать, что приверженцы «двустороннего» понимания знака обязательно стоят на позициях конвенционализма. Однако, включая значение в знак, который по определению есть условный знак, они либо должны признать обусловленность условного знака внешним миром (через его значение), либо, наоборот, признать значение чем-то условным (поскольку знак условен) и тем самым сделать шаг в сторону конвенционализма.

Если теперь суммировать свойства знака, и в том числе языкового знака, то кратко их можно изложить так.

Знак обязательно есть материальный предмет (в широком смысле). Этот материальный предмет не является знаком «от природы». Он становится знаком только тогда, когда ему придается значение. Иметь значение — обязательное свойство знака. Это свойство есть функциональное, мысленно приписанное знаку свойство. Само значение в знак не входит [33]. Значение есть то, на что указывает знак. В этом смысле знак односторонен. Благодаря обобщенному характеру значения, знак может быть средством указания на любой предмет (качество, признак, действие), отображенный в этом значении.

Связь между знаком и значением условна, произвольна, но в высшей степени прочна. Наблюдаемые в языках явления звукового символизма и некоторой мотивированности употребления отдельных звуков вторичны. Отношение между знаком и значением не есть отношение формы и содержания, но есть отношение обозначения. Хотя материальность — обязательная черта знака, свойство быть знаком не есть материальное свойство данного предмета. Это есть социально, мысленно приписанное предмету функциональное свойство.

Как видно из изложения, проблема знака в известном смысле прежде

[32] А это и есть проявление условной связи между знаком и тем, что он обозначает.

[33] Во избежание недоразумения надо подчеркнуть, что не значение как таковое есть свойство знака (свойство явления неотделимо от самого явления), а наличие значения есть важнейшее свойство знака.

всего есть проблема присущего знаку значения. Знак без значения — это обычный материальный предмет или обычное физическое событие, т. е. не-знак. В этой связи следует кратко коснуться проблемы операций над знаком в формальных знаковых системах или в формализованных языках. При оперировании знаками в таких системах иногда создается впечатление, что операции осуществляются над самими знаками (например, алгебраическими символами), которые «рассматриваются как конечные объекты, за которыми ничто не стоит» [34]. Но это ошибочное впечатление. Нельзя оперировать знаками, отвлекаясь от их значений, поскольку без значения знак перестает быть знаком. В формализованных знаковых системах поэтому операции совершают не над знаками как таковыми, т. е. некоторыми объектами, лишенными значений («за которыми ничто не стоит»), а над знаками, обладающими очень абстрактным, очень обобщенным значением. Точнее, следует сказать, что операции в таких системах вообще совершаются не над знаками, а с помощью знаков над очень абстрактными значениями (понятиями), представляющими собой значения соответствующих знаков. Различие между так называемым «содержательным уровнем» рассуждений и «формализованным уровнем» состоит не в том, что в первом случае используются знаки с их значениями, во втором — знаки как таковые, в отвлечении от их значений, а в разной степени абстрактности значений, присущих знакам в «содержательных» и в «формальных» системах. Наличие же значений у знаков обязательно и в том и в другом случае.

На «содержательном уровне» обычно используются более конкретные значения (понятия), составляющие значения слов обычного языка. Рассуждения на «содержательном уровне» состоят поэтому из обычных слов, как, например, в условном суждении: *Если уронить стакан, то он разобьется.*

На «формализованном уровне» вместо слов обычного языка используются алгебраические символы, символы математической логики и специальные знаки, которые тоже обязательно обладают значением, хотя и абстрактным. На «формализованном уровне» приведенному выше условному суждению соответствует импликация $A \rightarrow B$ («если A, то B», т. е. «событие A влечет за собой событие B»). Символы A и B в этой импликации, также представляющей вид рассуждения, как и слова в «содержательном» условном суждении, имеют значения, но очень общие и абстрактные. За A и B могут стоять самые различные предметы, действия, события, факты и т. п., находящиеся в определенном отношении, которые и описываются данной импликацией. Предельно обобщенный характер значений символов в так называемых формальных языках позволит с их помощью проводить рассуждения очень абстрактного характера, пригодные для анализа огромного количества конкретных ситуаций. Переход от «содержательного уровня» рассуждений к «формализованному» означает не что иное, как смену объектов, над которыми производятся операции: вместо относительно конкретных значений (понятий) берутся очень абстрактные значения (понятия) [35].

---

[34] См.: М. Н. Андрющенко, Б. В. Ахлибинский. О гносеологическом аспекте формализации, сб. «Вопросы гносеологии, логики и методологии научного исследования», Л., 1970, стр. 40.

[35] Переход от «содержательного уровня» к «формализованному» может наблюдаться и в пределах обычного словесного языка. Так, в щербианском предложении *Глокая куздра штеко бокра бодланула...*, как и в известном примере Р. Карнапа *Piroten karulieren elatisch* используются «слова», у которых элиминированы конкретные лексические значения, но сохранены грамматические. Если же элиминировать и грамматические значения, то оперировать такими «словами» станет вообще невозможно. Такие «слова» вообще перестанут быть словами, а их звучания перестанут быть знаками.

Таковы краткие замечания о некоторых, с моей точки зрения, наиболее важных свойствах знака вообще и языкового знака в частности. Нетрудно видеть, что относительно всех (или почти всех) названных свойств знака существуют разные точки зрения, одна из которых изложена в настоящей статье. Многообразие взглядов на проблему знака объясняется сложностью и многоаспектностью самой этой проблемы, а также значительными трудностями изучения этой проблемы: знаки, знаковая деятельность непосредственно связаны с категорией значения, с духовной, мыслительной деятельностью людей, т. е. относятся к области явлений, не поддающихся прямому наблюдению или измерению.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. БЕЛЫЙ

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕСКРИПТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Критический анализ лингвистического направления, определение его места в системе познавательных средств современной лингвистики требует всестороннего учета его исходных посылок, эксплицирования его общеметодологических оснований, оказывающих решающее влияние на понимание как самого объекта исследования, так и систему эвристических процедур конкретного лингвистического направления. Дескриптивная лингвистика, подобно другим структуральным направлениям в лингвистической науке [соссюрианство, копенгаженский структурализм (глоссематика), пражский структурализм], характеризуется не только конкретно-научным, но и философско-идеологическим содержанием. Совершенно очевидно поэтому, что корректный научный анализ и критика структурализма невозможны, если предается забвению упомянутая двойственность структурализма как этапа в развитии научного познания. Вместе с тем не менее очевидно, что единственной целостной концепцией, которую можно противопоставить в философском, общеметодологическом плане структурализму как мировоззрению, является философия марксизма-ленинизма, марксистское учение о методе познания.

Для лингвистической науки в целом наиболее существенным и одновременно наиболее сложным является проблема определения своего объекта, определения того, что следует интерпретировать в качестве моментов, иррелевантных лингвистическому знанию. Последняя проблема есть, по сути дела, проблема определения того, что мыслится в качестве языковой реальности в структуре конкретного лингвистического направления. При этом нельзя упускать из виду того обстоятельства, что научная картина, долженствующая отразить то, что есть в языковой реальности, не просто воспроизводит объект своего исследования, но и реализует в этом воспроизведении вполне определенную «точку зрения». Причем «точка зрения» науки должна детерминироваться природой той реальности, к которой она обращается и соответственно которой должны эксплицитно фиксироваться объективные критерии, позволяющие (или не позволяющие) использовать в науке конкретные системы методов.

Из истории языкознания известно, что определенность языка как предмета лингвистической науки нередко сводилась к определенности явлений, бывших предметом исследования других наук: логики (грамматика Пор-Рояля), психологии (Пауль, Потебня), физики и физиологии (младограмматики), биологии (Шлейхер), социологии (Вандриес, Сепир), истории, эстетики и т. д.

Стремление дескриптивной лингвистики создать лингвистическую теорию на основе имманентно присущих языку качеств, свойств, отношений нельзя не оценить как естественное стремление науки к самостоятельности, как стремление к повышению достоверности и объективности лингвистического знания. Сомневаться в плодотворности данной тенденции

нет никаких оснований, так как это подтверждается самим ходом развития научного познания как специфического вида общественной деятельности человека. Тем не менее, борьба лингвистики за свою самостоятельность под эгидой американского дескриптивизма с самого начала была обречена на неудачу из-за ложных методологических установок. Напомним, что, несмотря на декларируемый философский нигилизм, дескриптивная лингвистика, заняв в контроверзе «механисты — менталисты» вполне определенную позицию, тем самым определила свое отношение к философской контроверзе «материальное — идеальное». Так, Блумфилд утверждал, что его концепция «научной» лингвистики, в отличие от традиционной, является «материалистической» концепцией. Чрезвычайно существенно в связи с этим отметить, что «материалистическая» ориентация Блумфилда проявляется в том, что, по его мнению, феномены ментального плана — это вообще псевдонаучные фикции, так как в действительности они суть «малозаметные и исключительно многообразные небольшие мускульные движения и секреторная деятельность желез, различные у разных людей» [1]. Таким образом, «материализм» Блумфилда, имеющий в качестве своего источника концепцию «систематического монизма» А. Вайса [2], сродни вульгарному материализму Бюхнера и Молешотта.

В качестве философской базы дескриптивная лингвистика (в значительной мере через посредство бихевиоризма) использовала гносеологические постулаты позитивизма и прагматизма. Наряду с этим в дескриптивной лингвистике в последний период ее развития достаточно определенно просматриваются и кантианские, и неопозитивистские моменты.

Гносеологические постулаты позитивизма и прагматизма в дескриптивной лингвистике прежде всего проявляются в требовании «говорить о языке... в терминах, не допускающих (существования.— *В. Б.*) чего-либо большего, нежели раскрывается в непосредственном наблюдении (разрядка наша.— *В. Б.*)» [3], так как «мы должны отличать науку от других фаз человеческой деятельности на основе того, что наука будет иметь дело лишь с теми явлениями, которые доступны во времени и дислокации любому наблюдателю» (разрядка наша.— *В. Б.*)» [4]. Эта установка на наблюдаемость является чрезвычайно характерной и, более того, фундаментальной общеметодологической чертой американского дескриптивизма. На это, в частности, указывает Дж. Гринберг, подчеркивая, что в целом американская дескриптивная лингвистика — это система дескриптивных процедур в их приложении к непосредственно наблюдаемому [5]. Можно утверждать без какого-либо риска преувеличения, что тезис, отождествляющий понятие научности (а следовательно, и объективности) с понятием непосредственной наблюдаемости, является краеугольным камнем всего здания этого направления лингвистического структурализма. Принятие этого тезиса в качестве исходного гносеологического постулата имело далеко идущие последствия. С одной стороны, он нашел свое проявление в том понимании языка как предмета языкознания, которое развивалось в дескриптивной лингвистике, а с другой стороны (через последнее и в связи с ним),— в системе предлагаемых эвристических процедур.

[1] См.: Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 146.
[2] A. P. Weiss, The scientific basis of human behaviour, Columbus (Ohio), 1929.
[3] B. Bloch, Leonard Bloomfield, «Language», XXV, 2, 1949, стр. 92, 93.
[4] L. Bloomfield, Linguistic aspects of science, «International encyclopedia of unified science», I, 4, стр. 13; Ср.: Ch. Hockett, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 16, 22; R. Hall, Jr., An essay on language, Philadelphia — New York, 1968, стр. 8.
[5] J. Greenberg, Linguistics as a pilot science, сб. «Linguistics in the 1970's», Washington, 1970, стр. 11.

Сила указанного тезиса состоит прежде всего в том, что он требовал отказа от псевдонаучных спекуляций, ориентировал лингвистов на исследование конкретных языковых фактов. Эвристическая значимость принципа наблюдаемости в физике хорошо известна. П. Дирак специально подчеркивает, что наука «имеет дело лишь с наблюдаемыми вещами» [6], а П. Ланжевен отмечает, что «теория (наука.— *В. Б.*) не должна содержать ничего такого, что не имело бы экспериментального смысла и не соответствовало опыту» [7]. Слабость его предопределена его общеметодологической несостоятельностью, заключающейся в том, что принципу наблюдаемости здесь придано гносеологическое значение, т. е. непосредственно наблюдаемое отождествлено с объективным. Но весь опыт логического освоения реальности человечеством свидетельствует об ошибочности такого отождествления. Непосредственное наблюдение утверждает истинность системы Птоломея — но объективной истиной является система Коперника. Непосредственное наблюдение говорит о том, что дневной свет является простым — однако объективно он является сложным. Лозунг ориентации лингвистического познания лишь на непосредственно наблюдаемое связан с установками субъективно-идеалистического толка со всеми вытекающими отсюда последствиями. В нем находит свое отражение гносеология одного из активнейших представителей прагматической философии Дж. Дьюи, призывавшего освободить ум от «метафизических предпосылок» и принять «простые непосредственные факты: вот перед вами цветные, звучащие, страшные, привлекательные предметы природы, которыми мы наслаждаемся и от которых мы зависим...» [8]. Надо сказать, что приведенное выше высказывание Блумфилда, в котором формулируются принципы познания дескриптивной лингвистики, почти слово в слово повторяет «Постулат» радикального эмпиризма Джемса, гласящий: «Нельзя допустить в качестве факта ничего... за исключением того, что может быть испытано в определенное время некоторым воспринимающим существом» [9]. Другими словами — esse est percipi.

Критикуя идеалистический эмпиризм за отказ от проникновения в сущность изучаемых явлений с помощью средств теоретического мышления, за стремление ограничиться описанием непосредственно данного, В. И. Ленин писал, что «...для материалиста реальное бытие лежит *за пределами* „чувственных восприятий", впечатлений и представлений человека, для агностика же *за пределы* этих восприятий выходить невозможно» [10]. Таким образом, «материализм» американского дескриптивизма в своих философских основаниях смыкается с субъективизмом и агностицизмом.

Фетишизация наблюдаемости приводит к тому, что перед лицом калейдоскопа эмпирических и лингвистических фактов роль лингвиста сводится к роли бесстрастного стороннего наблюдателя. Лингвист-дескриптивист — это прежде всего наблюдатель, фиксирующий то, что удается зафиксировать, независимо от того, случайны или необходимы фиксируемые им факты языковой реальности. По мнению Р. Холла, термины «правильность», «неправильность», «грамматичность», «неграмматичность» и т. д. не только бесполезны, но даже вредны для лингвистического изучения языка [11]. Справедливо критикуя такой «регистраторский» подход, У. Вайнрайх в своей рецензии на «Курс» Ч. Хоккета отмечает: «Автор пишет, что

---

[6] П. А. Дирак, Принципы квантовой механики, М., 1960, стр. 18.
[7] П. Ланжевен, Атомы и корпускулы, «Избранные произведения», М., 1949, стр. 365.
[8] J. Dewey, The quest for certainty, New York, 1931, стр. 98.
[9] W. James, Essays in radical empiricism, London, 1912, стр. 169.
[10] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 112.
[11] R. Hall Jr., An essay on language, стр. 8, 33.

outside представляет собою два слова ввиду того, что ему посчастливилось (разрядка наша.— *Б. В.*) подслушать разговор, в котором на вопрос „out where?" последовал ответ „side". Предположим, однако, что автору не посчастливилось. Лингвистическое описание — это не охота на птиц и бесконечное ожидание, пока что-то не случится. Вряд ли это можно рассматривать как метод, которому должен следовать лингвист» [12]. «Лингвисту,— замечает Мартине,— могут понадобиться годы тщательных наблюдений, чтобы обнаружить употребление слова *arbre* изолированно» [13]. Можно сказать, перефразируя слова М. Борна, что, постулируя подобный подход, дескриптивисты, «недалеко ушли от идиллических представлений старомодного натуралиста, который надеялся проникнуть в тайны природы, подстерегая бабочек на лугу» [14]. Как справедливо заметил А. Потебня, при таком подходе «система рушится от всякого невошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано» [15]. Следует только согласиться с М. Бунге, когда он замечает, что «чистое описание, „не стесненное теорией", „беспристрастное в отличие от истолкования", „полностью свободное от гипотез", является мифом, изобретенным традиционным позитивизмом, интуитивизмом и феноменологией» [16].

Из изложенного не следует делать вывод, что эмпирический, индуктивный подход, каким фактически и является описание языка, опирающееся на актуализированные языковые феномены, полностью лишен прогнозирующей силы. Однако его ограниченность очевидна, так как, во-первых, внутренняя сущность языка остается при этом не выявленной, а, во-вторых, зафиксировав все то, что уже имеется в речи, мы в тот же момент окажемся перед лицом нового, еще не зафиксированного явления, а описав это последнее,— опять перед новым и т. д. и т. п. Но именно этим и занималась дескриптивная лингвистика как в своем иейльском, так и в энн-арборском течениях. Главной проблемой здесь была проблема перевода непосредственно наблюдаемой звучащей речи в корпус научных данных о языке.

Если же взглянуть на утверждаемую в дескриптивной лингвистике позицию с философской точки зрения, то нельзя не видеть, что здесь игнорируется активность субъекта в познании, его ведущая роль. Она фактически сводится к «соприсутствию», к созерцательности. Утверждение этого гносеологического постулата в качестве исходного означает фактически отказ от построения лингвистической теории. Для дескриптивной лингвистики как раз и характерно стремление к простой регистрации фактов, отказ от теоретического осмысления, от познания «заднего плана» лингвистического бытия, от разграничения сущностного и явленческого. Хотя само по себе описание и собирание фактов является необходимым этапом в лингвистическом познании, однако лингвистика есть наука не потому, что она собирает и классифицирует факты. Она становится наукой лишь тогда, когда пытается эти факты объяснить. Можно сказать даже больше. В любом лингвистическом исследовании столько науки, сколько в нем объяснения [17]. Наука, не обладающая объяснительной функцией,— это не наука, а скорее методика. В этом смысле совершенно справедлива

[12] U. Weinreich, [рец. на кн.] Ch. F. Hockett, A course in modern linguistics, «Romance philology», XIII, 1958/59, стр. 334.

[13] A. Martinet, [рец. на кн.:] E. Nida, Morphology. The descriptive analysis of words, «Word», VI, 1, 1950, стр. 8.

[14] М. Борн, Физика в жизни моего поколения, М., 1963, стр. 280.

[15] А. Потебня, Мысль и язык, Одесса, 1922, стр. 165.

[16] М. Бунге, Причинность. Место принципа причинности в современной науке, М., 1960, стр. 339—340.

[17] Ср.: N. Chomsky, The current scene in linguistics, в кн.: «The English language in the school program», ed. by R. H. Hogan, Champaign (Ill.), 1966, стр. 77.

мысль Э. Косериу о том, что американский структурализм есть только методика исследования, тогда как европейский представляет собой абстрактное теоретическое построение (гипотезу), которым определяется методика исследования [18]. Методологическая несостоятельность абсолютизации таксономической ориентации в лингвистике, как и в науке вообще, очевидна. Современная методология научного познания, все более ориентирующаяся на марксистско-ленинскую гносеологию, включает в себя принцип активности познающего субъекта.

Положение «научное = наблюдаемое», которое было введено Блумфилдом в лингвистику под влиянием бихевиористской концепции «систематического монизма» А. Вайса и позитивистской философии, обусловило и специфическую схематизацию языковой реальности, вследствие чего из языка как предмета лингвистики было исключено все то, что не поддавалось непосредственному наблюдению или не могло быть физически измерено. Принятие указанного постулата освобождало лингвистику, по мнению Блумфилда, от неконтролируемого и произвольного психологизирования, спекулятивности и интроспекции. В этой связи как ненаучные и фиктивные рассматривались понятия «идея», «мысль», «понятие», «значение». И хотя Блумфилд и констатирует, что «в языке форма не может быть отделена от значения», что «было бы неинтересно и неплодотворно изучать язык без учета значения» [19], однако не эти констатации, а вышеупомянутый постулат оказался доминирующим фактором в развитии дескриптивной лингвистики.

Фактически почти в течение тридцати лет после выхода книги Блумфилда «Язык» проблема значения оставалась за пределами дескриптивной лингвистики. Своей кульминации попытка анализа языка без использования критерия значения достигает в работах З. Харриса, особенно в его работе «Методы в структуральной лингвистике» [20]. Правда, в дальнейшем развитии дескриптивной лингвистики этот вопрос подвергся пересмотру.

В чем методологическая несостоятельность дескриптивной установки на отказ от учета значения в лингвистическом анализе? Она заключается прежде всего в том, что здесь с порога отбрасывается то объективное диалектическое единство противоположностей, которое конституируется единством идеального и материального в двусторонних языковых единицах.

Отстаивая механицизм как необходимую форму научного рассуждения, Блумфилд подчеркивает, что все в человеке, включая сознание, является «...частью причинно-следственных отношений, ничем не отличающихся от тех, которые мы обнаруживаем, скажем, при изучении физики или химии» [21], что «любое (разрядка наша.— *В. Б.*) научно значащее положение сообщает о движении во времени и пространстве», что «мир науки — есть физический мир» [22]. «Положение об идеях,— подчеркивает Блумфилд,— должно быть переведено в положение о лингвистических формах» [23]. Нетрудно видеть, что здесь Блумфилд полностью смыкается с физикалистскими воззрениями Р. Карнапа. При этом не учиты-

---

[18] E. Coseriu, Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, Montevideo, 1945, стр. 146.

[19] L. Bloomfield, Meaning, «Monatshefte für deutschen Unterricht», University of Wisconsin, 35, 1943, стр. 102.

[20] Z. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1955; ср.: E. Nida, Morphology. The descriptive analysis of words, Michigan, 1946; G. L. Trager, A. L. Smith, An outline of English structure, Oklahoma, 1955; B. Bloch, A set of postulates for phonemic analysis, «Language», XXIV, 1, 1948.

[21] Л. Блумфилд, Язык, стр. 47. Ср.: M. Meyer, Psychology of the other-one, Columbus, 1921, стр. 35.

[22] L. Bloomfield, Language or ideas?, «Language», XII, 1936, стр. 89.

[23] Там же, стр. 93.

вается то обстоятельство, что сами лингвистические формы в своем существовании обусловлены тем, что выполняют вполне «идейные» функции (множественности, единичности, посессивности и т. д.), не говоря уже о том, что и в самой основе констатации наукой тех или иных форм лежат вполне определенные научные идеи. «Терминология,— замечает далее Блумфилд,— с помощью которой мы сейчас говорим о делах человека, терминология, включающая такие термины, как „сознание", „ум", „ощущение", „идея" и т. д.,— вообще терминология ментализма и анимизма будет отброшена в такой же степени, как была отброшена астрономия Птоломея, и будет заменена в меньшей своей части физиологическими терминами и терминами лингвистики» [24].

Приведенные установки были направлены, с одной стороны, на то, чтобы исключить из сферы лингвистического анализа внутренние процессы, а, с другой стороны, на то, чтобы фиксировать в качестве определения языка именно его эмпирическую данность (т. е. то, что «все мы знаем как язык»).

В основе такого подхода лежит стремление ориентировать гуманитарное знание,— а в данном случае знание лингвистическое,— на модель науки, сложившуюся в естественных науках, в науках об объектах. Но принять такие установки — это значит мыслить язык в качестве естественного объекта.

Безоговорочная ориентация лингвистики на методологию естествоведческих наук не может быть принята, так как в отличие от объектов, изучаемых естественными науками, язык является объектом такого рода, в который в определенных отношениях включается субъект в его связях и опосредствованиях. Безоговорочная ориентация на методологию естественных наук выводит за пределы лингвистики все те ингредиенты языка, без которых он не может быть языком вообще, выводит человека за пределы языка.

Нельзя поэтому не согласиться с А. Маслоу, *когда он, критикуя* подобную ориентацию, отмечает, что «в общем модель науки, заимствованная из неконкретных наук о вещах, объектах, животных и частичных процессах, оказывается ограниченной и неадекватной, когда мы пытаемся понять целостное и отдельное в индивиде и культуре» [25].

Такая откровенно редукционистская ориентация на непосредственно данное в лингвистике сближает ее в методологическом плане с неопозитивистским идеалом научного знания, в котором, как это мыслил в свое время Витгенштейн, нет места тому, что не подтверждено данными опыта, что не верифицируемо.

Нельзя не видеть узости и ограниченности такого подхода. Напомним, что Гегель в свое время подчеркивал: «„Так как знание хочет познать истину того, что такое бытие *в себе и для себя*, то оно не останавливается" (*не останавливается* NB) „на непосредственном и его определениях, но *проникает* (*N B*) через (*N B*) него в предположении, что *за* (курсив Гегеля) этим бытием есть еще нечто иное, чем самое бытие, что этот задний план составляет истину бытия"» [26].

Важно отметить, что коммуникативность как функция знаковой системы отнюдь не может квалифицироваться в качестве необходимого и достаточного требования для возведения системы в ранг языка. Понимание коммуникативности в качестве достаточного требования приводит, с одной стороны, к биологизации человеческого языка, а с другой, к гуманизации языка животных. Дескриптивная лингвистика исходит из примата речи,

[24] Там же.
[25] См.: A. Maslow, The psychology of science, New York, 1966, стр. XIII.
[26] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 115.

реализуя тем самым основной постулат бихевиоризма, утверждающий примат поведения над системой. Констатируя в этой связи функционирование в современной американской лингвистике концепции «языка как поведения» и «языка как знания» (первая — блумфилдианская, а вторая — хомскианская), Ф. Девис замечает, что концепция «языка как поведения» не обладает достаточной объяснительной силой, так как отнюдь не все релевантные языку феномены могут быть выявлены в речевом поведении [27].

Принимая бихевиористскую схему S → R, американская дескриптивная лингвистика молчаливо соглашается с периферической концепцией сознания, при которой такие аспекты языка, как информативный, сигнификативный, экспрессивный оказываются либо иррелевантными лингвистике, либо просто менталистскими фикциями. Язык признается в качестве объекта лингвистики в той мере, в какой он представлен как поведение, которое, в соответствии с прагматическими и бихевиористскими установками, единственно достойно изучения, так как система, не данная в восприятии,— прямой путь к «метафизике», неприемлемой для «истинной» науки.

В таких условиях само понятие языка как системы оказывается лишенным четкого и недвусмысленного содержания, так как система выступает как отражение обобщенных эмпирических закономерностей, выводимых из актов речи. Определенность языка редуцируется к определенности речи.

Известное каноническое определение языка, данное Блумфилдом в его «Постулатах», гласит: «Совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности, есть язык данной речевой общности» [28]. На первый взгляд, такое определение языка как будто бы вносит диссонанс в общем-то довольно последовательно проводимый Блумфилдом принцип ориентации на непосредственно данное при построении лингвистического знания. Речь идет о том, что Блумфилд говорит о совокупности высказываний, которые «м о г у т б ы т ь» произнесены. Однако то, что может быть,— это не то, что есть. Следовательно, в языке есть то, чего нет в речи, а отсюда и лингвистическое описание языка, учитывающее то, что есть, то, что уже актуализировано, т. е. акты речи, не покрывает язык in toto. Когда Блумфилд относит к языку не только то, что есть, но и то, что «может быть», это как будто бы сближает его с Хомским, считающим одним из существенных моментов своей теории понятие «competence». Но эта параллель оказывается лишь внешней, так как блумфилдовское «может быть» полностью исчерпывается тем, что фиксируется в эмпирическом материале.

Хотя Блок, Трейгер и Хоккет дают определение языка, отличающееся от приведенного выше блумфилдовского, отмечая, что язык — это совокупность «речевых символов» (Блок и Трейгер), «совокупность слуховых символов», «совокупность речевых привычек» (Хоккет), однако и у них единственной реальностью является реальность непосредственно звучащей речи. Это, естественно, приводило к утверждению примата чисто таксономического подхода в лингвистической методологии. Блумфилд, Трейгер и Хоккет подчеркивают, что задачи лингвистики чисто регистрационные и классификационные. По Р. Холлу, основной задачей лингви-

[27] P. W. D a v i s, Modern theories of language, 1970, стр. 90.

[28] Л. Б л у м ф и л д, Ряд постулатов для науки о языке, в кн.: В. А. З в е г и н ц е в, История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, II, М., 1965, стр. 145. Нельзя не видеть, что для Блумфилда язык — это совокупность фиксируемых и прогнозируемых на этой основе данных. Для Ельмслева же язык — это прежде всего теория.

ста является «идентификация, анализ и формирование отношений между рекуррентными подобиями в как можно большем количестве высказываний» [29]. «Наши утверждения о языке должны касаться лишь данных и их отношения друг к другу» [30]. Подобная позиция имплицитно содержит в себе отрицание объективности существования национального языка. Холл, в частности, полагает, что «существуют лишь индивидуальные лингвистические системы, дислоцированные в головах отдельных индивидов» [31]. Но тем самым дескриптивная теория оказывается асоциальной, ибо изучение языка подменяется изучением идиолекта.

Приведенные мысли Холла являются фактически повторением соответствующих мыслей Блумфилда, видевшего в естественных науках модель, на которую следовало ориентироваться лингвистике. Блумфилд подчеркивает, что «в естественных науках мы изучаем корреляцию событий. Мы находим, что одно событие сопровождается другим. Когда такая корреляция установлена, ученый может предсказывать, что произойдет при определенных обстоятельствах» [32]. Кроме того, в приведенных выше утверждениях нельзя не видеть и влияния индуктивистских воззрений Блумфилда на характер лингвистического знания.

Ни субъективно, ни объективно язык непосредственно лингвисту не дан. Он дается через свое поведение, каковым в данном случае является речь как физически-физиологический процесс. Речь является действительно единственным репрезентантом того общего, что именуется языком народа [33], формой его существования.

В объективной реальности не существует системы вне поведения, так как любая система экологична, т. е. связана с определенной средой, с которой она взаимодействует. Равным образом не существует и поведения вне и помимо конкретной системы. Из этого, однако, не следует, что систему можно полностью свести к поведению и обратно, язык — к речи или речь — к языку. Попытки такого рода являются типичным проявлением редукционизма, когда один предмет исследования подменяется другим предметом. Разумеется, как частный, заранее оговоренный в своих целях прием, подобная редукция не вызывает принципиальных возражений. Совершенно иное положение в том случае, если этот прием, вопреки своей эвристической недостаточности, претендует на исчерпывающее познание изучаемой реальности.

Язык и речь, будучи, по справедливому утверждению Соссюра, «двумя разными вещами», не могут, тем не менее, друг без друга ни существовать, ни функционировать. Принятие дескриптивной лингвистикой в качестве общеметодологического императива ориентации на непосредственно наблюдаемое (а в этом своем качестве выступает поведение) обуславливает то, что ее действительным объектом становится речь. Непопулярность у дескриптивистов соссюровского противопоставления языка и речи [34] обусловлена в конечном счете тем, что понятие языка как системы требует качественного скачка в научном мышлении, скачка на уровень теоретического обобщения, теоретического анализа и синтеза. Вывести систему из

---

[29] R. Hall, Jr., An essay on language, стр. 53.
[30] Там же, стр. 75.
[31] Там же, стр. 50.
[32] L. Bloomfield, [рец. на кн.] W. Havers, Handbuch der erklärenden Syntax, «Language», X, 1, 1934, стр. 33—34.
[33] См.: Г. В. Колшанский, Проблемы логического анализа структуры языка. ДД., М., 1964, стр. 173.
[34] См.: R. S. Wells, De Saussure's system of linguistics, сб. «Readings in linguistics» ed. by M. Joos, I, Chicago — London, 1966; Z. S. Harris, [рец. на кн.:] L. H. Gray, Foundations of language, «Language», XVI, 3, 1940.

поведения путем лишь эмпирических констатаций невозможно так же, как невозможно вывести поведение из системы.

Как же решается вопрос соотношения языка и речи в американском дескриптивизме? Он решается таким образом, что язык оказывается лишенным реального бытия. Так, З. Харрис отмечает, что «„parole" представляет собой ряд физических событий, которые мы п р и н и м а е м (разрядка наша.— *В. Б.*) за язык, в то время, как „langue" — это анализ и организация их исследователем» [35].

Общеметодологическая уязвимость приведенного решения, его конвенционалистская ориентация и редукционистская направленность очевидны. В самом деле, если мы «принимаем» речь за язык, она еще не становится языком. Кроме того, как только мы приходим к выводу, что речь — это и есть язык, язык оказывается уже не нужным. Более того, из сказанного явствует, что язык — это феномен полностью конвенционалистского плана [36], не имеющий аналога в объективной реальности, плод деятельности ученого. Но если язык, как это утверждает З. Харрис, есть определенная теоретическая конструкция, реализующая соответствующую «точку зрения», «замещающая модель», то требование описывать язык, исходя из него самого, с позиции «нуль-гипотезы» фактически означает требование развивать теорию из самой себя. В приведенной установке Э. Харриса четко просматривается тенденция к превращению логической системы как средства в о с п р о и з в е д е н и я действительности в с т р у к т у р у самой действительности. Как отмечал Ф. Энгельс, «Сперва из предмета делают себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх ногами и превращают отражение предмета, его понятие в мерку для самого предмета» [37]. С философской точки зрения здесь явно просматривается тяготение к кантовскому априоризму. Такая установка приводит к стремлению построения лингвистики как совершенно произвольной системы символов, ничего общего не имеющих с действительностью [38], к тому, чтобы трактовать язык в качестве субъективной схемы, налагаемой на неупорядоченный сам по себе эмпирический материал. Здесь обнаруживается обычный и достаточно старый софизм идеалистической философии науки — замена объективной истины идеей порядка, системы, которые сами по себе безразличны к содержанию. Одновременно в таком подходе З. Харриса к проблеме реальности языка и языковых единиц нельзя не видеть и влияния прагматистской гносеологии. Ведь прагматизм полагает, что «исследование — это контролируемое или непосредственное п р е в р а щ е н и е (разрядка наша.— *В. Б.*) неопределенной ситуации в ситуацию, которая является определенной в своих составных различиях и отношениях в такой мере, что превращает элементы исходной ситуации в единое целое» [39].

И не случайно Харрис говорит не о языковых, а о лингвистических единицах, мысля таковые в качестве логических символов, «с которыми можно производить различные операции математической логики» [40].

---

[35] Z. H a r r i s, [рец. на кн.:] L. H. Gray, Foundations of language, стр. 228.

[36] См.: И. П. С у с о в, Конвенционалистская концепция реальности языковых единиц. «Общее языкознание», М., 1973, стр. 301—303.

[37] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 20, стр. 97.

[38] См.: М. М. Г у х м а н, О роли моделирования и общих понятиях в лингвистическом анализе, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 156; А. С. М е л ь н и ч у к, Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма, там же, стр. 50—51.

[39] J. D e w e y, Logic. The theory of inquiry, New York, 1938, стр. 7.

[40] Цит. по кн.: В. А. З в е г и н ц е в. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях, II, стр. 221. См. также: Ch. H o c k e t t, Two models of grammatical description, «Word», 10, 2, 1954, стр. 2—3; е г о ж е, Peiping phono-

Однако то обстоятельство, что язык не дан в непосредственном наблюдении, тот факт, что его система временно и относительно принимается за «черный ящик», еще не дает основания к отрицанию объективности ее существования. Диалектический материализм исходит из органического единства внешнего и внутреннего. Язык и речь в своем существовании так же неразрывны и реальны, как система и ее поведение, тем не менее их разграничение (во всяком случае в пределах лингвистики) абсолютно, так как здесь это действительно разные «вещи». К этому выводу фактически приходят те американские языковеды, которые, при всех их симпатиях к дескриптивной лингвистике, не поддаются гипнозу поведенческого подхода. «В любом лингвистическом исследовании,— подчеркивает Дж. Кац и П. Постал,— необходимо проводить четкое различие между языком и речью» [41].

О языке, разумеется, ничего нельзя сказать вне его функционирования, вне его «поведения», представленного речью. Облик языка не может обрести своей реальности в лингвистической картине, игнорирующей его конкретное функционирование. Постулирование той или иной системы, которая никак не обнаруживает своего поведения, невозможно. Если же допустить, что существует только поведение (resp. речь), как это делают дескриптивисты, то система (resp. язык) окажется некоторой неуловимой сущностью, своего рода кантовской «вещью в себе». Но в таком случае и специфичность поведения (resp. речи) окажется непознаваемой, ибо оно (правда, до определенной меры) предопределяется специфичностью организации системы. Поэтому можно констатировать, что язык и речь, будучи в принципе различными «вещами», не существуют и не функционируют в отдельности, друг без друга. Тенденция же к отождествлению языка и речи, ярко обнаруживающая себя в дескриптивной лингвистике, восходит в своих истоках к позитивистскому редукционизму, в основе которого лежит стремление наделить модусом научного лишь видимое, отрицая за невидимым статус объективного, связывая его лишь с мыслительной деятельностью ученого. Это означает ориентацию на конвенционализм, на идеализм в науке. Свести речь к языку или язык к речи без существенной деформации того, что имеется в реальности, невозможно в той же мере, как из того факта, что человек движется при помощи ног, нельзя сделать вывод, что «ходьба» находится в его ногах, что ноги и ходьба могут быть сведены друг к другу. Совершенно ясно, что подобный подход не может рассматриваться как приемлемый с позиций марксистского языкознания. И это понятно, ибо функционирование единичных актов речи в качестве значащих обусловлено тем, что они в своей данности, в своей конфигуративности предопределяются объективно существующими интерсубъектными для данного социума языковыми правилами, нормами, категориями. В чувственном восприятии лингвисту даны лишь отдельные речевые произведения, которые в своей сумме, в своей множественности не сводятся к языку и не конституируют самое систему языка, не исчерпывают его как некоторую интерсубъектную и объективную целостность. Ориентация на отождествление непосредственно данного с фактом в своем логическом завершении приводит к отрицанию целостного понимания языка. Между тем точно так же, как биологический вид, конкретно представленный совокупностью особей, отнюдь не является лишь плодом научной классификации, а есть объективно существующая реальность, так и язык не

logy, «Journal of the American oriental society», 67, 1947, стр. 258; Z. S. Harris, The transformational model of language structure, «Anthropological linguistics», I, 1, 1959, стр. 27.

[41] J. Katz, P. Postal, An integrated theory of language description, New York, 1964, стр. IX.

является лишь мыслительным построением лингвиста. Тезис Харриса, таким образом, помимо неверной ориентации лингвистической науки на непосредственную эмпирию, широко открывает дверь для всякого рода прагматических и конвенционалистских построений в области лингвистического знания.

Регулярность функционирования явления сама по себе свидетельство того, что в своем статусе оно законообоснованно, что за ним стоит закономерность сущностного характера. Однако любая система в своем функционировании обладает определенным «люфтом», т. е. может порождать феномены, не укладывающиеся в уже зафиксированные «регулярности». Поэтому под термином «система» и, в частности, «система языка» следует мыслить специфическую совокупность объектов, взаимодействие которых способно генерировать новые, не свойственные отдельно образующим систему компонентам, качества, явления, свойства. Отсутствие подобной способности говорит об асистемности данной совокупности объектов, о ее суммативном характере. Интересно отметить, что Н. Хомский, стоящий у истоков рационалистического направления в дескриптивной лингвистике, в свое время также трактовал язык в качестве простой совокупности предложений [42].

При подобном подходе, когда язык подменяется речью, бесконечным количеством речевых произведений, лингвистика, неизбежно ориентируемая на индуктивизм, таксономию, предстает как перманентно дескриптивная наука. Отметим, что квалификация языка в дескриптивной лингвистике в качестве совокупности актов речи или речевых произведений не только идентична соответствующей формулировке Г. Пауля [43], но и перекликается с суммативной трактовкой языка О. Есперсена [44]. В качестве курьеза можно отметить, что Соссюр, которому принадлежит наиболее четко и эксплицитно выраженное разделение и противопоставление языка и речи, также допускает аналогичное толкование, подчеркивая, что «если бы мы были в состоянии охватить сумму всех словесных образов, накопленных у всех индивидов, мы бы коснулись той социальной связи, которая и есть язык» [45]. Все только что приведенные определения обнаруживают тенденцию к суммативной трактовке языка, растворению его в многочисленных актах речи, подменяют его речью, т. е. осуществляют неправомерную теоретически редукцию. Явное тяготение дескриптивной лингвистики к суммативности как следствие отказа признать объективное за пределами непосредственно данного проявляется также в том, что здесь устанавливается зависимость следующего рода:

Фонема
↓
сумма фонем → морфема
↓
сумма морфем → высказывание
↓
сумма высказываний → язык

[42] Н. Хомский, Синтаксические структуры, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 423. Позднее Н. Хомский отказался от этой точки зрения, рассматривая язык как competence, а речь как performance [N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965].

[43] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 46.

[44] O. Jespersen, Mankind, nation and individual from a linguistic point of view, Oslo, 1925, стр. 19—20.

[45] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 38.

Таким образом, мы сталкиваемся с типично позитивистской интерпретацией целого как суммы частей на каждом из уровней языковой реальности.

При этом не учитывается, что каждая единица языка, выступая как часть в системе единиц высшего уровня, одновременно в пределах своего уровня выступает как целое, а не как суммативное образование единиц низшего уровня. Диалектический материализм исходит из того, что роль частей в организации целого и роль целого на уровне его функционирования как такового принципиально различны. Целое выступает на уровне более высокой организации, где его внутреннее строение уже снято. Внутреннее строение целого при этом является лишь условием, тогда как действительное основание определенности целого заложено в самом строении уровня его функционирования. Морфема, слово, высказывание в своей определенности детерминированы не тем, что они состоят из некоторых частей, а тем, что они функционируют в составе более широкой организации соотносительно со своими составляющими. В силу сказанного морфема не может быть квалифицирована как совокупность фонем на морфемном уровне, высказывание — как совокупность морфем и т. д. [46]. Отметим, что еще Кант полагал, что познание целого есть условие достижения истинного знания. Представление целого в качестве суммы частей отрицает, следовательно, возможность постижения истинного знания. Суммативизм дескриптивной лингвистики был подвергнут резкой критике на IX съезде лингвистов М. Халле и Ф. Р. Пальмером [47]. К. Л. Пайк специально подчеркивает, что слово как единица языка и, в частности, единица словарного состава не является простым суммированием элементов (фонем или морфем) [48].

Игнорирование диалектики части и целого дескриптивной лингвистикой приводило к изгнанию из языковедческой науки синтаксиса как учения о сочетании слов в предложении, к морфолого-синтаксическому синкретизму. Качество как *выражение целостности и своеобразия* единиц различного уровня полностью оставалось по ту сторону дескриптивной лингвистики. Материально-идеальные отношения типа «значение — объект», свойственные слову, отождествлялись с отношениями типа «значение — функция» [49], свойственными морфеме. Но, как справедливо замечает В. З. Панфилов, морфема лишена номинативной функции, не соотносится с какой-либо формой мышления [50]. Существенно подчеркнуть, что слово, как образование качественно более высокого ранга, обладает, мы бы сказали, значительно большим количеством степеней свободы, более подвижно и свободно в синтагматическом ряду. Разумеется, что в принципе при описании языка возможен и морфемоориентированный подход, предложенный дескриптивной лингвистикой, но такой подход игнорирует нормы реального функционирования языка. При таком подходе за пределами лингвистики остается все то, что связано со словом как «вместилищем, средоточием значений, отражающих в своей смысловой связи присущие коллективу принципы сочетания, сопоставления и объединения идей, эмоций, предметов, процессов, признаков, качеств, отношений»,

[46] H. G a l t o n, Is the phonological system a reality?, «Archivum linguisticum», VI, 1, 1954, стр. 23.

[47] См.: F. R. P a l m e r. Grammatical categories and their phonetic exponents, «Proceedings of the IX International Congress of Linguists», The Hague, 1964, стр. 344—345.

[48] K. L. P i k e, Phonemics, Ann Arbor, 1947; P. M e n z e r a t h, Typology of language, JASA, 22, 6, 1950.

[49] Г. В. К о л ш а н с к и й, Проблемы логического анализа структуры языка. стр. 264.

[50] В. З. П а н ф и л о в, Взаимодействие языка и мышления М., 1971, стр. 8,

как «вместилищем предметных значений, из которых слагается система социально-языковой семантики» [51].

Уже Блумфилд полагал равноценным сочетание любых двух элементов. Так, между сочетаниями *John fell*, *poor John*, *a* + *way* (в *away*), *play* + + *ing* усматривается полное сходство и игнорируется различие. Но ведь как раз то, что отличает одно явление от другого, и составляет его сущность. Харрис полагает вполне правомерным отождествление последовательности морфем с последовательностью слов. На основании внешнего сходства он считает правомерным выделение таких сегментов, как *on-*, *re-*, *-ceive*, *-cur*, *-duct*, *-jure* в словах *conceive*, *receive*, *concur*, *recur*, *conduct*, *deduct*, *perjure*, *conjure*, хотя с точки зрения синхронного состояния они не могут членироваться вообще. Группировка фонем p—p^h обусловлена отнюдь не объективным положением вещей, а тем, что группировка p — t^h, k— — p^h не отвечает принципу простоты. Выделение сегмента *-g* в *bug*, *rag*, *bag* оказывается неудобным не потому, что *-g* не соотносится ни с одним элементом структуры содержания, а тем, что такое деление «неудобно с точки зрения экономности констатаций» [52]. Нельзя не видеть, что в своей философской основе такое понятие экономии восходит к Авенариусу. Здесь также достаточно четко просматриваются принципы установления тождества, провозглашенные прагматизмом, согласно которым тождество всегда является результатом в о л е в о й операции, совершаемой над данным подобием, понятие тождества является свободным творением постулирующего ума, который исходит из своего опыта, чтобы удовлетворить свои желания [53]. Субъективизм этих положений очевиден. Как подчеркивал В. И. Ленин, «мышление человека тогда „экономно“, когда оно *правильно* отражает объективную истину» [54].

Возникновение дискриптивной лингвистики в США было обусловлено, помимо специфичности стиля американского научного мышления, всегда испытывавшим давление со стороны позитивизма и прагматизма, еще и возрастанием роли точных методов в исконно гуманитарных науках и, в частности, в психологии, а также резким повышением интереса к проблемам человеческой коммуникации. Помимо указанного, существенным оказался здесь и общий идейный кризис традиционной лингвистики в вопросах, связанных с приложением лингвистического знания к проблемам практического характера, особенно бурно начавшим обнаруживать себя после второй мировой войны. Становление дескриптивной лингвистики прошло две стадии. Одну (1925—1945) можно квалифицировать как латентную, распространявшуюся вширь, завоевывавшую себе сторонников посредством не только различного рода симпозиумов, но и специально через свой печатный орган «Language», который издается Американским лингвистическим обществом и в котором большое место отводится статьям, основанным на принципах дескриптивизма. В этот период дескриптивная лингвистика еще не противопоставляет себя активно традиционной лингвистике как направление, претендующее на статус общелингвистичности. Следующая стадия, начавшаяся после 1945 г. и отнюдь еще не закончившаяся, представляется стадией, которая характеризуется «наступательностью» этого лингвистического направления, теоретическими столкновениями, дебатами. В этот период дескриптивная лингвистика провозгласила устами своих сторонников (Р. Уэллс, Ч. Хоккет, Д. Смит, Д. Трей-

[51] В. В и н о г р а д о в, Современный русский язык, М., 1938, стр. 113.
[52] Z. S. H a r r i s, Methods..., стр. 64, 160.
[53] F. S. S c h i l l e r, Humanismus, Leipzig, 1911, стр. 67—68; W. J a m e s, The meaning of the truth, London, 1909, стр. 80—81; J. D e w e y, Logic. The theory of inquiry, стр. 280.
[54] В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 18, стр. 176.

гер, Б. Блок, З. Харрис, К. Вёглин и др.) программу вытеснения традиционной лингвистики, квалифицируя последнюю как «спекулятивную», «ненаучную», «метафизическую», «менталистскую». В качестве подлинно научной лингвистики дескриптивная лингвистика предлагает именно себя, а научными мыслит исследования, выполненные под ее эгидой.

В самом общем виде возражения сторонников дескриптивной лингвистики в адрес традиционной, представлявшие оборотную сторону их позитивной программы, заключается в следующем. Положения подлинно научной лингвистики должны безусловно опираться на проверяемые в непосредственном восприятии факты, должны удовлетворять требованию верификации. Научная лингвистика должна быть такой же точной, как естественные науки, в частности, физика. Все процедуры лингвистической науки, ее формулировки и положения должны носить эксплицитный характер. Интуиция, интуитивные оценки опыта как несомненно несущие на себе личностную печать должны быть исключены. Метафизические, менталистские формулировки противны духу подлинной науки и неприемлемы для научной лингвистики. Всю традиционную лингвистику поэтому следует рассматривать в качестве предыстории подлинно научной лингвистики, мыслить ее в качестве своего рода лингвистической «астрологии» или «алхимии». Этот этап лингвистики со всеми ее заблуждениями следует как можно быстрее преодолеть и отбросить как донаучный. Научная лингвистика должна опираться на следующие методологические принципы: 1) подход к изучению предмета науки (в данном случае лингвистики) должен строго ориентироваться на поведение как на то, что единственно дано в эмпирии (речевое поведение индивидов, речь как конкретное «поведение» языка); 2) не существует какого-либо различия между социальными и естественными науками. Научное познание формируется на основе естественных наук. Лингвистика — это естественная наука; 3) максимальная ориентированность на эмпирические факты есть способ избежать тлетворного влияния метафизики; 4) провозглашается требование эксплицитности и воспроизводимости исследовательских процедур; 5) проводится идея квантифицированной оценки и квалификации явлений человеческой языковой действительности; 6) критерием научности выступает возможность верификации. Приведенные выше установки совершенно недвусмысленны в своей ориентации на неопозитивизм.

Следует подчеркнуть, что в общем позитивная программа дескриптивной лингвистики (эмпирическая проверка, строгость, воспроизводимость и т. д.) не может не вызвать симпатии. Однако это внешняя, декларативная и несущая на себе явно пропагандистский оттенок позитивная сторона дескриптивной лингвистики не может спасти ее от общеметодологической несостоятельности, сущность которой заключается в раздувании, гипертрофировании, абсолютизации упомянутых принципов, хотя в разумных пределах многие из указанных принципов вполне плодотворны.

Обратимся, в частности, к принципу верификации, который в дескриптивной лингвистике выливается в признание модуса реальности лишь за теми словами, которые в своем значении представлены реакцией — действием. Конечно, требование, чтобы за рассматриваемыми сущностями стояла объективная реальность, поддающаяся эмпирической проверке, нельзя не рассматривать в качестве весьма важного для проверки теории или гипотезы. Однако безусловность применения данного принципа, требование, чтобы за каждым феноменом языка стояла эмпирически доступная восприятию сущность, исключает из лингвистического познания значительную, мы бы сказали, даже преобладающую группу лексических образований языка. Признания Скиннера и Морриса в этом смысле весьма показательны. Существенно подчеркнуть, что безусловное применение

принципа верификации фактически устраняет какую-либо возможность исследования прошлого или будущего состояния языка, ибо непосредственная эмпирическая проверка суждения о языке здесь исключена, а отсюда и должна быть квалифицирована как ненаучная и неправомерная. Необходимо также отметить, что принцип верификации обращается против тех сторонников дескриптивной лингвистики, которые пытаются построить объяснительную версию функционирования тех или иных алломорфов при помощи искусственно создаваемых моделей (Блумфилд, Харрис, Хоккет и др.). Нетрудно видеть, что несмотря на эмпиричность процедуры имитации, ее результаты допускают возможность верифицируемости лишь применительно к созданным моделям, а не к подлинной языковой реальности.

Следует заметить, что дескриптивная лингвистика усилиями Блумфилда, Харриса, Хоккета, Трейгера, Смита и др. с самого начала была ориентирована против теоретической направленности, ибо таковая мыслилась как совращающая истинную науку «метафизика». Здесь полностью воцарился механистический стиль мышления, исходящий из сведения любого языкового явления к начальным элементам и выведения из них различных комбинаций всех свойств сложных образований (например, уравнивание свойств морфем со свойствами словосочетаний, универсализация метода НС, независимо от уровня материала, к которому он прилагается, и т. д.). Подобно ньютоновской физике дескриптивная лингвистика исходит из «материала», обладающего простой «локализацией» в пространстве, лишенного, по сути дела, фактора времени. Конечный ее факт — материальный объект.

В дескриптивной лингвистике восторжествовала, по словам Хоккета, идея совершенно особой философской ориентации: «действительная Истина (по меньшей мере относительно языка) недостижима, а поэтому мы должны довольствоваться лишь случайными взглядами в ее направлении и не очень заботиться о Конечном» (т. е. о теории.— *В. Б.*) [55]. Следует, однако, отметить, что в дескриптивной лингвистике, наряду с тщательно разработанной системой эмпирических методов, получил применение и ряд теоретических методов. Так, в частности, построение абстрактных моделей высказывания, попытка (Харрис) на модельном уровне развить идею трансформации и порождения, свидетельствует о том, что в недрах эмпирически ориентированной дескриптивной лингвистики зарождались рационалистические идеи, которые были подхвачены и развиты в дальнейшем Н. Хомским в его генеративной теории.

Не менее ограниченным в своей безусловности является выдвинутое Блумфилдом и одобрительно воспринятое и проводимое в жизнь его сторонниками (Хоккет, Харрис, Трейгер, Смит и др.) требование эксплицитности и строгости определений процедур. Естественным следствием абсолютизации этого требования было исключение из лингвистики, претендовавшей на модус научности, суждений, основанных на личном опыте ученого, полное отбрасывание каких-либо интуитивных моментов при построении лингвистического знания. Вряд ли можно сомневаться, что само по себе требование повышения строгости и точности лингвистических исследований, методов и принципов построения лингвистического знания является чрезвычайно плодотворным для лингвистики, повышающим ее научный авторитет в системе общественных наук. Однако в системе общеметодологических устремлений дескриптивной лингвистики понятие точности и строгости в своей содержательности было ориентировано на естественно-научные, физические стандарты. А это предполагало и своеобраз-

[55] Ch. F. Hockett, The state of the art, The Hague — Paris, 1968, стр. 35.

ную конструктивизацию, переосмысление изучаемой языковой реальности. По признанию Хоккета, строгость превратилась в лозунг тех лет, «хотя мы не располагали достаточно строгим ее о п р е д е л е н и е м (разрядка наша.— *В. Б.*)» [56]. Совершенно очевидно, что понятие точности и строгости не может игнорировать специфики объекта науки. Точность и строгость в лингвистике должны быть л и н г в и с т и ч е с к и (а не физически) релевантны. Специфика языковой реальности в своей гетерогенности и оригинальности не может идти ни в какое сравнение со спецификой объектов физической природы, в основе порождения которых лежат чисто физические закономерности. Гипертрофия верификации, эксплицитности, строгости, точности, воспроизводимости в приложении к лингвистической науке без учета специфики ее объекта неизбежно должны были привести и привели, как показал опыт дескриптивной лингвистики, к деформации объективной картины языковой реальности. Практика дескриптивной лингвистики достаточно хорошо изучена как в работах зарубежных, так и отечественных языковедов, и общий вывод, который здесь следует привести, состоит в том, что существенным звеном, обусловившим общеметодологические пороки этого направления, явилась его безусловная ориентация на гносеологию прагматизма и, в частности, на «поведенческий» подход в построении лингвистического знания, которые не только направили дескриптивную лингвистику в русло теоретического нигилизма, но и обусловили подмену глубокого сущностного анализа языковых фактов поверхностным эмпирическим описанием. Разумеется, то обстоятельство, что Блумфилд и его сторонники ориентировались на указанные выше предпосылки, было обусловлено в общем весьма благородной целью — желанием сделать лингвистику строгой и точной наукой. Опыт дескриптивной лингвистики еще раз показывает, что этого можно достичь лишь на основе материалистической философии, правильно отражающей диалектику объективного мира, в том числе и диалектику языка как специфического объекта человеческой деятельности.

---

[56] Там же, стр. 29.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

О. И. МОСКАЛЬСКАЯ

ВОПРОСЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

Синтаксическая семантика понимается в данной статье как специальная область теории синтаксиса, изучающая структуру смысла целого предложения или же текста, т. е. ту форму, в которой воплощаются способы нашего мышления о мире, те стереотипы представления действительности в речемыслительном акте, которые выработались на протяжении истории языка и мышления и по отношению к которым поверхностная структура предложения выступает как форма формы.

Категории синтаксической семантики принадлежат к области речемыслительных универсалий, а в рамках теории синтаксиса являются синтаксическими универсалиями плана означаемого предложения и текста. Синтаксическая семантика исследует, таким образом, определенную область грамматических значений в сфере целого предложения и текста; она не покрывает всей совокупности проблем, связанных с изучением грамматических значений данного уровня и в то же время имеет свой собственный предмет.

Подобно синтаксису поверхностных структур, синтаксическая семантика имеет несколько единиц или объектов описания, с каждым из которых связаны особый круг проблем, особый понятийный аппарат исследования и особое соотношение со смежными науками и с другими областями языкознания. Хотя синтаксическая семантика не обладает еще собственной систематикой предмета, в практике исследований уже явственно обозначилась стратификация, связанная с различием объектов описания. Объектом семантического описания может быть: 1) основной состав предложения, его структурный минимум (модель), 2) предложение, актуализированное в речи, т. е. высказывание, 3) сложное синтаксическое целое (текст).

Так, совершенно сознательно сосредоточивают свое внимание на семантическом анализе структурных схем (моделей) предложения Н. Ю. Шведова, Ф. Данеш, Т. Б. Алисова и др. [1]. Иногда объект семантического анализа эксплицитно не ограничен структурной схемой предложения, однако рассмотрению подвергаются простейшие предложения, содержащие лишь обязательный структурный минимум, т. е. равные по составу модели предложения [2].

---

[1] Ср.: Н. Ю. Шведова, О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения, «Otázky slovenské syntaxe», III, Brno, 1973; ее же, О соотношении грамматической и семантической структуры предложения, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973; F. Daneš, Some thoughts on the semantic structure of the sentence, «Lingua», 21, 1968; Т. Б. Алисова, Опыт семантико-грамматической классификации простых предложений, ВЯ, 1970, 2; О. И. Москальская, Проблемы системного описания синтаксиса, М., 1974.

[2] Ср. примеры В. Чейфа: *The wood is dry*; *The elephant is dead*; *It's hot*; *The wood dried*; *The men laughed*; *She died*; *It's raining*; *Harriet broke the dish* (W. Chafe, Meaning and the structure of language. Chicago — London, 1973).

Модель предложения, являясь своего рода абстракцией, связана с отвлечением от многих сторон реального предложения — высказывания. Внимание исследователя, описывающего структурную схему предложения, концентрируется на необходимом минимуме структурных черт, характеризующих соответствующий тип предложения. Точно так же и семантическое представление модели предложения отвлекается от ряда моментов, существенных для смысловой структуры реального предложения в речи — высказывания, и концентрируется на таких фундаментальных свойствах, которые создают основу смысловой структуры предложения, его семантическую модель.

Задача данного уровня семантического описания состоит в выявлении логико-семантических типов предложений [3] и в установлении их соотношения с определенными поверхностными структурами, а именно с структурными схемами (моделями) предложения.

При выявлении смысловой структуры моделей предложения и при установлении логико-семантических типов (семантических моделей) предложения современные семантические школы широко опираются на данные предикатной логики, в частности на учение предикатной логики о структуре суждения, на классификацию видов суждения, понятие предикатно-аргументных отношений и их формализованную запись [4], а также на понятия лингвистической семантики, выработанные частично еще в рамках генеративной грамматики при попытках включения в нее семантического компонента [5], а позднее в генеративной семантике [6].

Опора на понятия предикатной логики позволяет выделить основные логико-семантические типы предложений — предложения качественной характеристики (детерминирующие предложения) и реляционные предложения, соответствующие суждению определения и суждению отношения (*Земля круглая*; *Земля вращается вокруг солнца*), бытийные предложения

---

[3] Термин «логико-семантический тип предложения» связывается здесь исключительно с уровнем семантического представления и отличается этим от часто употребляемого термина «логико-грамматический тип предложения», подразумевающего совпадение семантической и структурной модели предложения.

[4] Ср. из работ по логическому синтаксису и по вопросам соотношения суждения и предложения: F. Schmidt, Logik der Syntax, Berlin, 1962; его же, Symbolische Syntax, Halle (Saale), 1970; O. Næs, Versuch einer allgemeinen Syntax der Aussage, сб. «Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik», hrsg. von H. Moser, Darmstadt, 1965; В. З. Панфилов, К вопросу о логико-грамматическом уровне языка, «Zeitschrift für Phonetik. Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 15, Hf. 3/4, 1962; его же, Грамматика и логика, М.— Л., 1963; его же, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; его же, Языковые универсалии и типология предложения, ВЯ, 1974, 5; П. В. Чесноков, Логическая фраза и предложение, Ростов-на-Дону, 1961; его же, Основные единицы языка и мышления, Ростов-на-Дону, 1966; J. D. McCawley, The role of semantics in a grammar, сб. «Universals in linguistic theory», ed. by E. Bach, R. T. Harms, London — New York — Sydney — Toronto, 1972; его же, A program for logic, сб. «Semantics of natural language», ed. by D. Davidson, G. Harman, Dordrecht, 1972; G. Lakoff, On generative semantics, сб. «Semantics», ed. by D. D. Steinberg, L. A. Jacobovits, Cambridge, 1971.

[5] Имеются в виду лексические разряды слов и семантические маркеры, отражающие дифференциальные признаки лексического значения слова, релевантные для смысловой интерпретации многозначной фразы, например, «конкретный предмет — абстрактное понятие»; «одушевленный предмет — неодушевленный предмет»; «антропоним — неантропоним», «фактивный глагол — нефактивный глагол» и др.

[6] Так называемые «скрытые грамматические значения», семантико-синтаксические (или понятийные) категории, например, «агентивность», «аффицированность», «орудийность», «процессуальность» и др., выявляемые не на уровне флективной морфологии или аранжировки членов предложения, а посредством взаимодействия лексических и грамматических средств на уровне целых синтаксических структур (словосочетаний и предложений).

(*Зима*; *Будет буря*; *Жили были старик со старухой*) [7], а также такие предложения, как классифицирующие предложения (*Собака — домашнее животное*) и предложения тождества (*Понять значит простить*).

Учет лексической семантики глагола и его валентных свойств лежит в основе классификации предложений на предложения состояния (статальные предложения), событийные (процессуальные) и акциональные предложения (state, process и action в терминологии В. Чейфа) [8], перекрещивающейся с делением предложений на предложения качественной характеристики и реляционные предложения, а также с разграничением одноместных и многоместных предикатов в логике.

При определении ролевой структуры аргументов, являющейся важнейшим компонентом смысловой структуры предложения с многоместными предикатами, решающее значение имеют, с одной стороны, такие категории современной генеративной семантики, как «глубинные» или «семантические» падежи, развернутые на базе классической теории падежей и отчасти теории залогов [9], и, с другой стороны, учет взаимодействия лексической и синтаксической семантики. На этой основе оказывается возможным различать среди реляционных предложений агентивно-объектные предложения (*Лесорубы рубят деревья*), агентивно-адресатные (*Писа-*

[7] На данном уровне семантического описания соотношение бытийных предложений, единодушно выделяемых языковедами как особая семантическая модель предложений (ср.: O. N æ s, указ. соч.; Н. Ю. Ш в е д о в а, О соотношении грамматической и семантической структуры предложения...; Н. Д. А р у т ю н о в а, Предложение и его смысл, М., 1976, и др.), с определенными видами суждения,— первая трудность, с которой сталкивается лингвист, желающий найти опору в положениях предикатной логики. Известно, что вопрос о правомерности выделения, наряду с суждениями определения и суждениями отношения, также суждений существования вызывает в логике большие разногласия. Как нормативная логика, так и современная математическая логика отказывают последним в силу их специфических задач в статусе суждения. Ср. у Г. А. Вейля: «Экзистенциальные суждения вроде *Существует четное число* не есть вообще суждения в собственном смысле» (H. A. W e y l, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaften, Oldenburg, 1948, стр. 106; аналогично: B. R u s s e l l, Einführung in die mathematische Philosophie, München, 1923, стр. 140; ср. также: G. K l a u s, Moderne Logik, Berlin, 1964, стр. 158). Ср., однако, о суждениях существования как особом виде суждения: П. В. К о п н и н, Природа суждения и формы выражения его в языке, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 289; П. С. П о п о в, Суждение, М., 1957, стр. 45; П. В. Т а в а н е ц, Суждение и его виды, М., 1953, стр. 33. Эта точка зрения присуща логическим концепциям, более широко трактующим суждение и направленным на проблемы изучения объективных закономерностей не специально «научного» мышления, а правильного мышления вообще с широким использованием данных естественного языка, понимаемого как «разговорный язык» (Umgangssprache, по Г. Клаусу; G. K l a u s, указ. соч., стр. 15). Как логиками, так и лингвистами высказывается и более крайнее мнение о необходимости создания так называемой «логики естественного языка» в противовес логике языка науки. Ср., например: A. T a r s k i, The semantic conception of truth, «Semantics and the philosophy of language», ed. by L. Linski, Urbana, 1952; J. D. M c C a w l e y, Where do noun phrases come from?, сб. «Semantics», ed. by D. D. Steinberg, L. A. Jacobovits, Cambridge, 1971; G. L a k o f f, On generative semantics; e r o ж e, Linguistics and natural logic, «Synthese», 22, 1971; T. A. v a n D i j k, Text grammar and text logic, «Studies in text grammar», ed. by J. S. Petöfi, R. Rieser, Dordrecht, 1972. Рассмотрение проблемы универсальности логики и вопроса о правомерности создания логики отдельных областей науки выходит за рамки данной статьи.

[8] W. C h a f e, указ. соч., стр. 98 и сл.; ср. также деление на Ist-Prädikation и Tut-Prädikation у Н. Эрбена, а также деление глагольных предложений на процессуальные и акциональные (Vorgangssatz и Handlungssatz) у Г. Бринкмана (J. E r b e n, Deutsche Grammatik. Ein Leitfaden, Frankfurt-am-Main, 1968; H. B r i n k m a n n, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1962).

[9] Ch. F i l l m o r e, The case for case. Universals in linguistic theory, London — New York — Sydney — Toronto, 1972; e r o ж e, Types of lexical information, сб. «Semantics», ed. by D. D. Steinberg, L. A. Jacobovits, Cambridge, 1971; W. C h a f e, указ. соч. В терминах функций предметов аргументно-предикатные отношения описаны в работе: Т. П. Л о м т е в. Описание структуры предложения на основе его функционального представления, «Slavia», 1965, 3.

тель посвятил книгу своей жене), агентивно-объектно-орудийные (*Художник написал картину маслом*) [10] и др., а также разграничивать в зависимости от лексического значения слов, взаимодействующих с синтаксической структурой, как различные семантические модели такие предложения, внешне построенные по одной структурной схеме, как *Стол был накрыт скатертью* и *Стол был накрыт официантом* [11].

Для выявления конечного инвентаря логико-семантических моделей предложения наиболее надежной, несмотря на широко известные факты синонимии и омонимии поверхностных структур, несомненно, является модель описания, принимающая в качестве исходной структурную схему предложения как реальную данность при одновременном учете сложного характера соотношения между семантической и структурной моделью предложения. Одно-однозначное соответствие между ними, если оно вообще существует, возможно лишь у отдельных, и при этом маргинальных типов предложения (например, односоставные предложения типа *Вперед!*, фразеологизированные предложения типа *Чем не жених?*, нем. *Ich ein Lugner? Und so was nennt sich Freund!*), в то время как регулярным структурным схемам предложения оно не свойственно [ср. *Он приобретает картины* — предложение отношения с агентивно-объектной ролевой структурой и *Положение приобретает угрожающий характер* → *становится угрожающим* → *является угрожающим* — предложение качественной характеристики, соответствующее суждению типа P (x) при внешне двухместном предикате].

Противоречие между выбором структурной схемы предложения как отправной точки для выявления семантических моделей предложения и отсутствием одно-однозначного соответствия между структурной и семантической моделью предложения разрешается путем нахождения для каждой логико-семантической модели предложения наиболее эксплицитной формы выражения [12], к которой и могут быть сведены путем перефразирования остальные способы выражения того же смысла в поверхностной структуре (ср. приводившийся выше пример *Положение приобретает угрожающий характер* → . . . *становится/является угрожающим*; аналогично: *Он учится* — *Он учащийся*; *Он косúт* → *Он косой* и т. п.)

Таким образом, для первого уровня семантического анализа — семантического представления структурной схемы (модели) предложения — характерны следующая проблематика и понятийный аппарат: 1) главная задача этого уровня исследования заключается в установлении типологии и конечного списка логико-семантических моделей предложения и их соотношения со структурными схемами (моделями) предложения; 2) основные понятия, которыми оперирует семантическое моделирование,— это субъектно-предикатное и предикатно-аргументное отношение, а также ролевая структура аргументов; 3) основные методы исследования: модель описания от структурной схемы предложения к его семантике; логический анализ, основанный на соотнесении предложения и суждения; метод перефразирования с нахождением для каждого логико-семантического типа наиболее эксплицитного способа выражения в поверхностной структуре; анализ взаимосвязи и взаимной обусловленности лексической и синтаксической семантики; верификация семантической интерпретации с помощью установленного набора правил; 4) опора на предикатную ло-

[10] Подробнее о принципах и приемах семантического моделирования см.: О. И. Москальская, Проблемы семантического моделирования в синтаксисе, ВЯ, 1973, 6.

[11] С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 84.

[12] Е. В. Падучева, О семантике синтаксиса, М., 1974, стр. 12 и сл.

гику как важнейшую в данном случае из смежных наук, а из других областей языкознания прежде всего на учение о понятийных категориях в языке (во всех его разновидностях, включая теорию «семантических падежей»), на лексическую семантику и развиваемое генеративной грамматикой учение о семантических маркерах.

Иной круг проблем возникает при семантическом анализе второго объекта семантического описания — предложения, актуализированного в речи,— высказывания. Это обнаруживается уже в тех случаях, когда предложение, актуализируемое в речи,— высказывание равно по составу структурной схеме предложения. Основой семантической репрезентации такого предложения является, естественно, та семантическая модель, которая была выведена для структурной схемы соответствующего предложения, т. е. и в этом случае предложение-высказывание остается высказыванием о качественной характеристике, признаке субстанции, если в основе его лежит суждение типа P (x), или же высказыванием об агентивно-объектном, агентивно-адресатном и других подобных отношениях, если в основе его лежит суждение об отношении. Однако для характеристики смысловой структуры предложения-высказывания такой семантической репрезентации оказывается недостаточно.

Одним из важнейших компонентов семантической репрезентации предложения — высказывания, не учитывавшимся при семантическом моделировании структурной схемы предложения, является его актуальное членение. Отнесение актуального членения к категориям смысловой, а не поверхностной структуры предложения имеет ряд взаимосвязанных оснований лингвистического, логического и гносеологического характера. Положение о разноуровневом характере структурной и коммуникативной организации предложения было выдвинуто впервые В. З. Панфиловым в связи с положением автора о существовании особого логико-грамматического уровня предложения [13]. Оно является также одним из основных положений известной статьи Ф. Данеша о трех уровнях рассмотрения предложения [14]. Лингвистическим основанием для отнесения структурной и коммуникативной организации предложения к разноуровневым явлениям в рамках синтаксиса служит самый факт принципиального несовпадения структурного и коммуникативного членения предложения и коренные различия в способах их выражения. Однако Ф. Данеш не устанавливал какую-либо иерархию отношений между данными уровнями (что необходимо предполагается при противопоставлении поверхностной и смысловой, т. е. глубинной структуры предложения), а третий, семантический, уровень рассматривался им как совершенно самостоятельный уровень по отношению как к первому, так и ко второму. Вопрос решается по-иному, если признать, что актуальное членение предложения отражает самые существенные черты самого суждения, т. е. подойти к субъекту и предикату суждения как к живым, подвижным центрам мысли и речи [15]. Утверждая, что предикат суждения — «носитель новой мысли в суждении» [16], П. С. Попов рассматривает актуальное членение предло-

[13] См.: В. З. Панфилов, К вопросу о логико-грамматическом уровне языка...; его же, Грамматика и логика...; его же, О структуре предложения, сб. «Zeichen und System der Sprache», III, Berlin, 1966; его же, Взаимоотношение языка и мышления...

[14] F. Daneš, A three-level approach to syntax, TLP, I, 1964.

[15] П. С. Попов, Суждение и предложение, «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950.

[16] Ср. пример П. С. Попова: «В комнате темно, и вдруг внезапно возникает свет. Если, желая объяснить это явление, кто-нибудь воскликнет: „Молния сверкнула“ с ударением на слове *молния*, то здесь логическим сказуемым будет *молния*, смысл же предложения будет таков: „То, что сейчас сверкнуло — молния“» (П. С. Попов, Суждение..., стр. 19).

жения как отражение в предложении структуры суждения. Именно это является решающим основанием для того, чтобы считать актуальное членение предложения неотъемлемой частью его смысловой структуры также с позиций логики и гносеологии. Актуальное членение предложения отражает не только коммуникативную природу высказывания, но также познавательную установку мыслящего и говорящего субъекта. Познавательная и коммуникативная установки выступают в речемыслительном акте в сложном единстве, где по-разному переплетаются «новое для себя» и «новое для других»; однако любой коммуникативный акт связан тем или иным образом с познавательным актом.

В сложном единстве структуры суждения и структуры предложения категории коммуникативного членения предложения остаются категориями языковыми и не являются категориями логики, где признаки данности и новизны не выступают по отношению к субъекту и предикату суждения как самостоятельный особый уровень структуры суждения, а являются существенными признаками внутренней сущности основных категорий суждения — субъекта суждения и предиката суждения. Разноуровневая, и притом иерархическая структура присуща самому предложению. Ср. по этому вопросу у В. З. Панфилова: «Таким образом, предложение наряду с синтаксическим уровнем имеет еще особый уровень, обусловленный его актуальным членением. Поскольку на этом уровне предложения особыми грамматическими средствами выражается субъектно-предикатная структура соответствующей мысли, его в отличие от синтаксического уровня следует определить как логико-грамматический уровень, а логический субъект и предикат выражаемой мысли как логико-грамматический субъект и предикат» [17].

Специфическим для данного уровня семантического анализа является также вопрос о построении семантической репрезентации предложения с учетом в с е х его членов. Характерным для исследований в этом направлении является выведение обстоятельств, определений, квантификаторов из глагольной или именной составляющей и рассмотрение их как предикатов высшего порядка, соотносящихся с целой пропозицией как их субъектом [18]. Логической основой для этой процедуры служит развиваемое в современных логических концепциях расширенное исчисление предикатов и соответственно понятие предиката от предикатов [19].

---

[17] В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, стр. 162; о иерархии синтаксического уровня и логико-грамматического уровня предложения, который «надстраивается над его синтаксической структурой», см. там же, примеч. 84. На значение актуального членения для смысловой структуры предложения указывает также Н. Д. Арутюнова, обращающая внимание на то, что изменение актуального членения многих предложений ведет к преобразованию логико-синтаксического типа предложения (Н. Д. А р у т ю н о в а, указ. соч., стр. 292); ср. также: G. L a k o f f, указ. соч., стр. 234 и сл.

[18] Ср.: G. L a k o f f, J. R. R o s s, A criterion for VP constituency, «Report of the Harvard computational laboratory to the National science foundation» (NSF, 17, 1966); G. L a k o f f, Irregularity in syntax, NSF, 16, 1965; е г о ж е, Instrumental adverbs and the Concept of deep structure, «Foundations of language», 1967; A. L. B e c k e r, D. C. A r m s, Prepositions as predicates, «Papers from the V. regional meeting. Chicago linguistic society», 1969; G. C a r d e n, English quantifiers, NSF, 20, 1968; J. D. M c C a w l e y, Tense and time reference in English, сб. «Studies in linguistic semantics», ed. by Ch. Fillmore, D. T. Langendoen, 1971; R. B a r t s c h, Adverbialsemantik, Frankfurt-am-Main, 1972.

[19] Ср. у Г. Клауса: «Расширенное исчисление предикатов не является произвольным, чисто синтаксическим построением. Как и все другие разделы логики, оно основывается на объективной реальности. В объективной реальности существуют прежде всего предметы и их признаки, т. е. свойства предметов и отношения между предметами. Признаки предметов выражаются предикатами первой ступени. Однако и сами признаки могут обладать признаками. Тем самым существуют свойства свойств, свойства отношений, отношения между свойствами, отношения между свойствами и

Для иллюстрации разницы в подходе к предложению на уровне семантической репрезентации его структурной схемы и на уровне семантической репрезентации всего состава предложения-высказывания воспользуемся примером Е. В. Падучевой: *Упрямый человек несносен*[20]. При семантической репрезентации структурной схемы этого предложения (N_1 cop Adj) его семантическая модель исчерпывается логической формулой P (x). Однако в е с ь состав предложения нуждается в совершенно иной семантической интерпретации. Перефразирование данного предложения в более эксплицитную структуру *Если человек упрям, он несносен* выявляет, что перед нами не простое суждение состава P (x), а сложное суждение, в котором имеется отношение импликации, т. е. p → q (если p, то q).

Сложность вопроса заключается, однако, в том, что семантическая интерпретация отношения между членами предложения, выходящими за рамки структурного минимума, и его основным составом о-нюдь не однозначна.

Так, если в основе приведенного выше примера лежит сложное импликативное суждение, то в предложении *Наш проводник был молодой горец → Наш проводник был горец. Он был молодой* имеет место отношение конъюнкции. Аналогично в примере *Небольшого роста человек с утра торчал под окном → Человек с утра торчал под окном. Он был небольшого роста.*

В то же время нет состава сложного суждения в предложении *Роняет лес багряный свой убор* — это простое суждение отношения, т. е. xRy, где определительное словосочетание *багряный свой убор* — метафора, обозначающая один аргумент. То же относится и к предложению *Жилой фонд — это народное достояние* (простое классифицирующее суждение, т. е. xεK, где оба аргумента обозначены терминологическими словосочетаниями).

Дальнейшему исследованию при семантическом анализе определений подлежат, как видно из приведенных примеров, и стилистический фактор (наличие или отсутствие образности), и лексический фактор (типология словосочетаний, в частности сложные наименования), и, несомненно, вопрос о влиянии на логико-семантический тип предложения, имеющего в своем составе определительное словосочетание, актуального членения.

Смысловая структура предложений, имеющих в своем составе обстоятельства, также неоднородна. В одних случаях логической основой таких предложений служит сложное суждение линейной структуры, выражающее отношение между двумя простыми суждениями; в других случаях логической основой предложения является сложное суждение иерархической структуры, имеющее предикаты первой и второй ступени. Наиболее ясным примером сложного суждения отношения являются предложения с обстоятельством условия, легко разворачиваемые по формуле p → q (*При хорошей погоде зонт не нужен → Если погода хорошая, зонт не нужен*). К этому типу могут быть отнесены также предложения с обстоятельствами причины и следствия, уступки, цели (*Я задержался из-за прихода друзей*; *Он пришел, несмотря на свою занятость*; *В подтверждение своей мысли лектор привел ряд примеров*). В каждом случае характер отношения эксплицируется значением предлога в обстоятельственном обороте, выполняющем в семантическом представлении предло-

---

отношениями и, наконец, отношения между отношениями. Эти признаки признаков выражаются предикатами от предикатов или предикатами второй ступени» (G. K l a u s, указ. соч., стр. 284). См также: A. T a r s k i, указ. соч.; Д. Г и л ь б е р т, В. А к к е р м а н, Основы теоретической логики, М., 1947.

[20] Е. В. П а д у ч е в а, указ. соч., стр. 21.

жения роль логического союза [21], т. е. p *потому что* q; p *вопреки* q; p *чтобы* q.

Напротив, формулой $P_2\{P_1(x)\}$ может быть представлено предложение, имеющее в своем составе обстоятельство образа действия (*Скрипач играл вдохновенно* → *Скрипач играл. Он делал это вдохновенно*), обстоятельство способа и средства (*Дети рисуют красками* → *Дети рисуют. Они делают это красками*), обстоятельство степени (*Я немного устал* → → *Я устал. Это ощущение имеет место в небольшой степени*).

Многие предложения с обстоятельством времени также могут трактоваться как сложные суждения с линейной структурой, где отношение конъюнкции осложнено указанием на последовательность событий [*После третьего звонка в зрительном зале погасли люстры* → *Прозвонил третий звонок и* (*после этого*) *в зрительном зале погасли люстры*; *Во время спектакля в зале царила тишина* → *Шел спектакль и* (*в это время*) *в зале царила тишина*], т. е. p *и одновременно* q; p *и затем* q; p *и прежде этого* q ↔ q *и затем* p.

Однако конъюнктивная связь присуща лишь обстоятельствам, выражающим временную связь между двумя событиями. Напротив, обстоятельства — наречия времени тяготеют к функции предикативов второй ступени (*Весна наступила рано* → *Весна наступила. Это произошло рано*) [22]. Такую же логическую структуру имеют предложения, в состав которых входит обстоятельство места (*Мы встретились у озера* /*здесь*/ *внизу* → *Мы встретились. Это произошло у озера* /*здесь*/ *внизу*).

Значительные поправки в семантическую репрезентацию предложений, имеющих в своем составе определения или обстоятельства, может внести учет актуального членения предложения, т. е. переход от внеконтекстного анализа к рассмотрению предложения в его естественном окружении. Так, во втором предложении пушкинской строфы *У лукоморья дуб зеленый*; *Златая цепь на дубе том* анафорический повтор *на дубе том*, естественно, не может считаться предикатом второй ступени, а в основе всего этого предложения лежит простое суждение.

На основе расширенного исчисления предикатов решается рядом исследователей и вопрос о роли квантификаторов в составе предложения [23]. Нужно заметить, однако, что вопрос о квантификаторах как неотъемлемом признаке суждений, столь важный для предикатной логики в ее классическом виде, является гораздо менее существенным для логики естественного («обыденного» или «разговорного») языка [24].

Третьей чертой, характерной для данного уровня семантического анализа, является необходимость включения в семантическую репрезентацию высказывания модального компонента, также являющегося неотъемлемой частью познавательного и коммуникативного акта. С позиций синтаксической семантики эта категория пока очень мало изучена. Логические модальные операторы «необходимо», «возможно» и др. разработаны только применительно к суждению в узком смысле, т. е. к языку науки, и полностью покрывают только эту область. Поэтому здесь могут быть высказаны лишь некоторые предварительные соображения о характере представления модального компонента в семантической структуре высказывания. По-видимому, возможно связать представление модального компонента высказывания с так называемым перформативным уровнем высказывания, как он понимается в некоторых концепциях теории

[21] Ср.: R. Bartsch, указ. соч., стр. 107.
[22] Ср.: R Bartsch, указ. соч., стр. 118 и сл.
[23] G. Carden, указ. соч.; J. D. McCawley, The role of semantics in a grammar...
[24] Г. Клаус, Введение в формальную логику, М., 1960, стр. 75.

коммуникации и прагмалингвистики [25]. Речь идет о наличии в глубинной структуре любого повествовательного предложения, надстроенного над ним перформативного предложения, состоящего из субъекта в 1-м лице, объекта во 2-м лице (говорящий и получатель информации) и перформативного глагола (глагола речи) в форме настоящего времени изъявительного наклонения. Так, по Р. Россу констатирующее предложение *Prices slump* «Цены падают» имеет в глубинной структуре надстроенное над ним перформативное предложение высшего порядка *I tell you* «Я говорю тебе» (*Я говорю тебе*: *цены падают*), которое погашается на выходе в поверхностную структуру. Развивая эту мысль, можно представить себе модальный компонент предложения *Николай слывет простаком* следующим образом: *Я говорю тебе*, | *что некоторое количество людей говорит* / *думает о Николае*, | *что он простак*. В этом случае в поверхностной структуре называется только одно лицо, в глубинной же структуре, в так называемой прагматической пресуппозиции, имеется четыре лица: x_1 — 1-е лицо, говорящий; x_2 — 2-е лицо, получатель информации; x_3 — неопределенное множество 3-х лиц; x_4 — единичное определенное лицо — Николай, субъект суждения P(x). Прагматика моделирует, однако, лишь ситуации общения. Для того, чтобы эти модели могли адекватно отражать модальный компонент высказывания, необходим также лексикон семантической записи, включающий, наряду с перформативными глаголами, также глаголы волеизъявления, чувства, оценки степени достоверности и др. [26].

Для семантического представления предложения, актуализированного в речи,— высказывания, как и на первом уровне семантического описания, отправным пунктом служит языковая данность, т. е. реальное предложение. Первоначальную основу для него составляет семантическая модель, выведенная на базе семантической репрезентации структурной схемы предложения. Однако специфическими для данного объекта семантического описания являются последующие операции: 1) выделение всех компонентов предложения, выходящих за рамки структурной схемы предложения, выведение их из именной или глагольной составляющей и определение их логико-семантического статуса; 2) включение в семантическую репрезентацию предложения-высказывания модального компонента и актуального членения предложения. Соответственно значительно изменяются по сравнению с предыдущим уровнем семантического описания также понятийный аппарат описания и перечень смежных наук и смежных областей языкознания. На первом месте среди смежных наук и здесь стоит логика, однако особое значение приобретает типология суждения (простое и сложное суждения, виды логической связи между суждениями, расширенное исчисление предикатов). Значительно острее стоит вопрос о возможности включения в аппарат логического анализа ряда понятий, специфических для структурирования мысли, выражаемой средствами естественного («разговорного») языка. Наряду с логикой из смеж-

---

[25] J. L. Austin, How to do things with words, Cambridge (Mass.), 1962; R. Ross, On declarative sentences, «Readings in English transformaional grammar», ed. by Jacobs, P. S. Rosenbaum, Waltham, 1970; D. Wunderlich, Pragmatik, Sprechsituation, Deixis, «Generative Semantik», hrsg. von W. Abraham, R. J. Binnik, Frankfurt-am-Main, 1972.

[26] Особого внимания заслуживает на данном уровне семантического описания вопрос об особенностях семантической репрезентации сложного предложения. Многое из сказанного выше одинаково относится к простому распространенному и к сложному предложению, так как структура сложного предложения эксплицирует многие виды логической связи, заложенные также в простом предложении. Однако в ряде случаев смысловая структура сложного предложения не имеет прямых аналогов в простом предложении. Рамки журнальной статьи не позволяют остановиться на этом подробнее.

ных наук особое значение имеют также теория коммуникации и прагмалингвистика. Из смежных областей языкознания — теория актуального членения предложения, теория модальности, теория словосочетаний и стилистика.

В настоящее время начаты также исследования в области семантической структуры сложного синтаксического целого (текста), рассматриваемого нами как третий объект изучения синтаксической семантики. Понятие сложного синтаксического целого, выдвинутое в свое время А. М. Пешковским, Н. С. Поспеловым, Л. А. Булаховским и др. [27], получило в течение последнего десятилетия достаточно строгое и полное структурное описание, позволяющее говорить о сложном синтаксическом целом (тексте) как о синтаксической единице, четко делимитированной, имеющей собственную структуру и значение и представляющую собой тем самым моделируемую единицу языка [28].

Однако если структура сложного синтаксического целого описана в настоящее время достаточно полно, то исследования в области семантики текста находятся еще на стадии первоначального поиска. Они колеблются в диапазоне от чисто лингвистических исследований, имеющих целью выработать методику семантической репрезентации сложного синтаксического целого, до теоретико-литературных, характеризующихся прежде всего композиционным подходом к тексту; главным объектом рассмотрения является в последнем случае не сложное синтаксическое целое, т. е. текст в узком смысле слова, а целое произведение (макротекст),—искомым является внутренняя структура целого текста от «морфологии сказки» до разбора композиции целого романа [29] или же формализация структуры отдельных жанров деловой письменности и алгоритмизация делового текста [30]. Тесное переплетение лингвистического и теоретико-литературного аспектов исследования объясняется не только «молодостью» синтактико-семантического подхода к сложному синтаксическому целому и связанным с этим стремлением опереться на устоявшиеся традиции поэтики, риторики, функциональной стилистики, но прежде всего, и это гораздо существеннее, спецификой сложного синтаксического целого, являющегося единицей высшего уровня с точки зрения синтаксиса и в то же время элементарной составляющей целого произведения.

Подобно другим синтаксическим единицам, сложное синтаксическое целое имеет в своей основе определенную логическую форму мышления.

---

[27] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938; Н. С. Поспелов, Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры, «Докл. и сообщ. Ин-та русского языка АН СССР», 1948, 2; Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, I, Киев, 1952.

[28] И. П. Севбо, Структура связного текста и автоматизация реферирования, М., 1969; Е. В. Падучева, Структура абзаца, «Труды по знаковым системам», 2, Тарту, 1965; Л. М. Лосева, Межфразовая связь в текстах монологической речи. АДД, Одесса, 1969; ее же, Синтаксическая структура целых текстов, Одесса, 1971; Г. Я. Солганик, Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое), М., 1973, F. Daneš, Zur linguistischen Analyse der Textstruktur, «Folia linguistica», 4, 1970; E. Agricola, Textstruktur aus linguistischer Sicht, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule», 2, Erfurt/Mühlhausen, VII, 2, 1970; H. Isenberg, Überlegungen zur Texttheorie, «Literaturwissenschaft und Linguistik», hrsg. von J. Ihwe, I, Frankfurt-am-Main, 1971; J. M. Sadock, Superhypersentences, «Papers in linguistics», I, 2, 1969; K. Heidolph, Kontextbeziehungen zwischen Sätzen in einer generativen Grammatik, «Kybernetika», 3, 1966; W. Dressler, Modelle und Methoden der Textanalyse, «Folia linguistica», 4, 1970; и др.

[29] Ср., например: T. A. van Dijk, J. Ihwe, J. S. Petöfi, H. Rieser, Textgrammatische Grundlagen für eine Theorie narrativer Strukturen, «Foundations of language», VIII, 1972.

[30] Ср. исследования о структуре юридических текстов: «Angewandte Textlinguistik», hrsg. von P. Hartmann, H. Rieser, I, Hamburg, 1974.

Иногда его непосредственно соотносят с силлогизмом [31]. Ближе к реальному положению вещей, однако, более широкое толкование логической основы сложного синтаксического целого как группы взаимосвязанных суждений, в которых отражается поступательное развитие мысли (так называемые логические единства) [32]. В имеющихся опытах семантической репрезентации текста логическая основа его выступает часто недостаточно отчетливо из-за крайней атомизации описания, проистекающей из стремления включить в семантическую модель текста полную семантическую репрезентацию составляющих его предложений [33]. Отказ от такой полной репрезентации составляющих низшего уровня (так, кстати, поступает и логика исчисления высказываний) позволяет оперировать при семантической репрезентации текста единицами более высокого уровня, т. е. элементарными высказываниями, входящими в сложное синтаксическое целое. Основная задача данного уровня семантического анализа — раскрытие смысловой структуры сложного единства, т. е. общей программы высказывания, лежащей в основе сложного синтаксического целого, а также характера связи между элементарными высказываниями как отражения движения мысли и выведение типологии этих сложных смысловых структур. Из состава элементарных единиц — предложений, входящих в сложное синтаксическое целое (текст), должны быть включены в семантическую репрезентацию последнего те элементы, которые релевантны для смысловой структуры целого. Это — установление основного референта, вокруг которого организуется высказывание, определение коммуникативной функции составляющих предложений [34], которые реализуют основную программу высказывания, определение типа движения мысли «через предикат» или «через субъект» [35], позиции ключевой фразы и др.

Специфика семантического анализа сложного синтаксического целого связана с его двойственной природой высшей единицы синтаксического уровня и в то же время элементарной составляющей целого произведения (макротекста). На данном уровне семантического анализа впервые возникает вопрос, можно ли рассматривать исследуемую структуру как непосредственное отражение формы движения мысли. Если такой взгляд возможен по отношению к спонтанной устной речи, то он в значительно меньшей степени приложим к текстам, относящимся к нехудожественным жанрам речи, и совершенно неприменим к художественной речи, где и структура сложного синтаксического целого, и структура целого произведения подчинены художественному замыслу автора, сознательному выбору способа представления действительности как средства воздействия писателя на читателя. Исследователь имеет в этом случае перед собой

---

[31] Ср., например: T. A. van Dijk, указ. соч.; однако автор оговаривает различие между формальной логикой и «логикой естественного языка».

[32] Г. Я. Солганик, указ. соч. Автор основывается на логических концепциях В. Ф. Асмуса, А. С. Ахманова, П. С. Попова. Логические единства рассматриваются как структурные единицы мышления, бо́льшие, чем суждение. Л. П. Доблаев употребляет в том же смысле термин «текстовое суждение» (Л. П. Доблаев, Логико-психологический анализ текста, Саратов, 1969).

[33] T. A. van Dijk, указ. соч.; J. S. Petöfi, Probleme der ko-textuellen Analyse von Texten, «Literaturwissenschaft und Linguistik», hrsg. von J. Ihwe, I, Frankfurtam-Main, 1971; его же, A non-fixed-linearity text grammar. The present stage of its development, «Studies in text grammars», ed. by J. S. Petöfi, H. Rieser, Dordrecht, 1972. Эта же тенденция проявляется в модели описания, предложенной Х. Изенбергом, являющейся по существу семантической репрезентацией предложения, ориентированной на текст: H. Isenberg, Texttheorie und Gegenstand der Grammatik, «Linguistische Studien» (Reihe A, Arbeitsbericht N 11), Berlin, 1974.

[34] К понятию коммуникативных функций предложений см.: H. Isenberg, указ. соч., стр. 53 и сл.

[35] Ср.: Г. Я. Солганик, указ. соч.

очень сложное соединение мышления о действительности и сознательного выбора средств художественного воздействия автора произведения на читателя. Различным жанрам художественной речи присущи также определенные стереотипы организации сложных синтаксических целых, весьма разнообразно сочетающие логико-синтаксическое и художественно-повествовательное начала [36]. Свойственны известные стереотипы организации сложных синтаксических целых, обусловленные в каждом случае соответствующим функциональным стилем, также различным видам нехудожественной прозы. В каждом случае стоит достаточно сложная задача — выявить взаимодействие формы мышления и формы художественной ее переработки или же переработки ее в соответствии с особенностями функционального стиля и жанра целого текста.

Таким образом проблематика синтаксической семантики при изучении сложного синтаксического целого (текста) имеет резко выраженную специфику. Специфично и взаимоотношение синтаксической семантики уровня сложного синтаксического целого (текста) с другими науками. И здесь на первом месте стоит связь синтаксической семантики с логикой — в данном случае прежде всего с исчислением высказываний и, что особенно важно, с использованием положений логики исчисления высказываний также для изучения логических единств, не имеющих характера умозаключения и силлогизма. Иной, и гораздо более сложный характер, чем на предшествующих уровнях семантического анализа, имеет и связь с другимим науками — поэтикой, риторикой, стилистикой, прагмалингвистикой.

---

[36] Ср., например, фольклорные зачины (Н. Д. Арутюнова, указ. соч.). Ср. также: Г. А. Золотова, Структура сложного синтаксического целого в карамзинской повести, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», 3, 1954; Н. С. Поспелов, Из наблюдений над синтаксисом языка Пушкина, «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», 3, М., 1953; М. П. Брандес, Стилистический анализ, М., 1973; Т. И. Сильман, Наблюдения над синтаксическим стилем сказок Андерсена, «Скандинавский сборник», 4, Таллин, 1969; е е ж е, Проблемы синтаксической стилистики (на материале немецкой прозы), Л., 1967; и др.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

Я. ГОРЕЦКИЙ

ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1. В последнее время заметно оживился интерес к теории и истории литературных языков, особенно славянских. В этом большая заслуга прежде всего Международной комиссии по литературным языкам при Международном комитете славистов, возглавляемой А. Едличкой, которая регулярно организует научные совещания по данной проблематике.

А. Едличка указывает на следующие четыре основных признака литературного языка: а) общенациональная значимость и общеобязательность, б) кодифицированность литературной нормы, в) относительное единство нормы, г) определенные рамки нормы, например, ее вариативность [1]. Легко заметить, что здесь, собственно, две группы признаков: первый признак относится к литературному языку как целому, а три остальные характеризуют норму как специфическое явление литературного языка.

Что касается общенациональной значимости литературного языка, то как А. Едличка, так и большинство других ученых исходят из того, что литературный язык — это уже готовое, выкристаллизовавшееся в процессе длительного развития образование. На это указывает и традиционная терминология, в которой преобладает соотнесение с понятием «письменный» (словац. *spisovný jazyk*, нем. *Schriftsprache*) или «литературный» (русск. *литературный язык*, серб.-хорв. *književni jezik*). Отсюда видно, что литературный язык, в сущности, понимается как язык литературы. Историческое развитие отдельных литературных языков показывает также, что литературный язык действительно был важным средством объединения нации. С развитием общества развивается и соответствующий литературный язык, параллельно с дифференциацией общественной жизни данного народа дифференцируется и его литературный язык.

В связи с этим следует подчеркнуть значение позиции Пражской школы, представители которой сознательно исследовали дифференциацию чешского литературного языка и показали, что основным результатом этой дифференциации является становление различных стилей языка. Известно, что к трем стилям, выделенным первоначально Б. Гавранком, позже был присоединен стиль публицистический, а в настоящее время еще и административный стиль. Постепенное увеличение числа языковых стилей, а также неопределенность позиции разговорного стиля во всех классификациях свидетельствует о несовершенстве имеющихся классификаций и о необходимости найти более надежные критерии.

Например, не до конца разрешен вопрос о том, относится ли разговорный стиль к литературному языку или его следует считать разновидностью нелитературного языка. Если он признается литературным, то возникает необходимость считать нелитературным по крайней мере определенный пласт периферийных разговорных средств.

---

[1] A. J e d l i č k a, Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha, 1974.

При рассмотрении различных теорий дифференциации литературного языка легко заметить, что их авторы основываются на свойствах своего родного литературного языка. Между тем ясно, что, если исходить из специфических ситуаций в отдельных литературных языках, трудно построить общую теорию литературного языка. Правильно отмечает А. Едличка, что пришло время строить типологию литературных языков и их теорий.

Существуют значительные расхождения также по вопросу об отношении литературного языка к остальным формациям национального языка (и соответственно в отношении стратификации национального языка). Например, Й. Ружичка в связи с этим говорит лишь о противопоставлении понятий «литературный язык«» — «диалект» [2] (соответственно, в иной ситуации «литературный язык» — «сленг»). Следовательно, он не признает существования никаких других формаций между этими двумя полюсами. А. Едличка рисует более сложную схему дифференциации национального языка: над диалектами он помещает обиходно-разговорный язык, а с другой стороны, в одном ряду с литературным языком ставит разговорную форму литературного языка. Подобным же образом и Д. Брозович помещает над диалектами интердиалект, а ниже стандартного языка размещает субстандартный язык. В обоих случаях остается необъясненным отношение между двумя крайними полюсами. Особенно это относится к более конкретному определению отношения между интердиалектом и субстандартным языком.

Представители Пражского лингвистического кружка уже давно пытались дать определение литературного языка с помощью ряда противопоставлений (антиномий). Б. Гавранек ввел в определение литературного языка три антиномии: 1) элемент национальный — наднациональный, 2) тенденция к точности—стабильность нормы, 3) рациональность — эмоциональность. О третьем противопоставлении К. Горалек справедливо замечает, что оно характерно не только для литературного языка и проявляется, в частности, в диалектах [3]. Впрочем вызывает сомнение и второе противопоставление, поскольку точность достигается благодаря развитию нормы, а не ее нарушением. Наконец, первое противопоставление тоже проявляется не только в литературном языке, так как ненациональные элементы проникают и в разговорный язык, пожалуй, даже свободнее, чем в литературный. Скорее следовало бы, как предлагает А. Едличка [4], говорить о противопоставлении понятий «литературность — нелитературность» (resp. о структурной дистанции между литературным и нелитературным образованием).

В более ранней чешской теории литературного языка, как указывает А. Едличка, соотношение «литературный язык — народный язык» характеризовалось четырьмя противопоставлениями: «письменный — разговорный язык», «монологическая — диалогическая форма», «общественный — частный характер акта коммуникации», «консервативные — живые языковые средства». Указанные противопоставления пытались обнаружить и в рамках литературного языка, но очень скоро выяснилось, что эти противопоставления неоднотипны, что они недостаточны для полной характеристики дифференциации литературного языка.

Примечательна попытка Я. Новотного поставить теорию литературного языка на прочную основу диалектико-материалистической теории

[2] J. R u ž i č k a, Rozvoj slovenčiny v socialistickom Československu, Bratislava, 1975, стр. 65.

[3] K. H o r á l e k, Funkce spisovného jazyka, «Jazykovědné aktuality», 11, 1975, стр. 76.

[4] A. J e d l i č k a, указ. соч., стр. 29.

противоположностей [5]. В качестве основного противопоставления Я. Новотный называет противоречие между тенденцией к устойчивости и потребностью развития. Следует заметить, что это противопоставление проявляется, хотя и не так ярко, во всех разновидностях национального языка, а не только в литературном языке. Более выразительным является главное противопоставление, формулируемое как противоречие между тенденциями демократизации и интеллектуализации. Это противопоставление сближает литературный язык с обиходно-разговорным языком (или, наоборот, отдаляет от него). Здесь также следует отметить, что определенные элементы интеллектуализации проявляются и в обиходно-разговорном языке. Более того, они проникают и в диалектную речь.

Что касается трех второстепенных противопоставлений («терминологизация — детерминологизация», «универбализация — мультивербализация», «интернационализация — национализация»), то они затрагивают, собственно, лишь словарный состав. И снова возникает вопрос: не относится ли терминологизация ко всем разновидностям языка? Это касается и двух других явлений. Итак, можно сказать, что названные три типа противопоставлений относятся к языку как целому, ко всему национальному языку, а не только к его литературной формации.

Как видно из краткого обзора проблематики литературного языка, многие вопросы невозможно решить на имеющейся теоретической базе, особенно если учитывать специфичность исходных позиций при рассмотрении отдельных литературных языков. Чтобы по-новому представить систему дифференциации национального языка и в рамках этой системы определить место литературного языка, необходимо опереться на теоретическую базу, общую для всех языков. Этой базой могла бы стать теория языковой коммуникации, основывающаяся на общей теории коммуникации.

2. Согласно ставшей уже классической схеме В. Майера-Эпплера, существуют три коммуникативные цепочки: наблюдательная, диагностическая и языковая [6] (к ним, пожалуй, следует добавить отчетливо обрисовывающийся смешанный тип, при котором языковая коммуникация становится объектом наблюдения, например, когда мы смотрим по телевидению беседу специалистов). Языковая коммуникация возможна только тогда, когда говорящий и слушающий одинаковым способом соединяют знаки (Zeichenkörper) со значениями. Невзирая на то, что здесь используется унилатеральная теория языкового знака, следует согласиться с требованием, что партнеры языковой коммуникации должны обладать некоторым одинаковым множеством знаков, т. е. должно существовать более или менее обширное пересечение их знаковых инвентарей. Конечно, в подобной формулировке указанное требование сильно упрощено: нельзя обойтись только инвентарем знаков, необходимы и общие грамматические средства, и целая шкала оценочных элементов, совокупность которых и образует так называемую коммуникативную общность. В рамках этой общности языковая коммуникация возможна и в таких ситуациях, когда нет совпадения в конкретных знаках: новые знаки (наименования новых результатов познания) все же удается довести до сознания слушателя (получателя) при помощи уже существующих общих им знаков (resp. языковых средств). Естественно, коммуникативные общности по своей структуре могут быть различными, и это отражается на употреблении языковых средств.

[5] J. Novotný, Dialektika vývoje současné spisovné češtiny, «Jazykovědné aktuality», 11, 1975, стр. 65—67.

[6] W. Meyer-Eppler, Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie, Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1959.

Основной единицей в языковой коммуникативной цепочке является коммуникативное событие, коммуникативный акт (а если учитывается ряд коммуникативных актов, то коммуникативный процесс). Уже разработана известная типология коммуникативных актов [7]. Если исходить из доминирующей функции коммуникативного акта, то, используя классификацию языковых функций Якобсона, можно различать, например, коммуникативные акты экспрессивные, директивные, поэтические, контактные, референционные и метакоммуникативные. По числу участников коммуникации различаются два или три коммуникативных типа. Так, можно рассматривать коммуникацию только двух собеседников (face-to-face communication) и коммуникацию, в которой более двух участников. При тройственной классификации различаются случайные группировки говорящих, малые социальные группы (например, семья) и большие социальные группы.

Другие авторы выделяют более десяти типов коммуникации, среди которых называются и такие, как аутокоммуникация, псевдокоммуникация, анонимная, ритуальная, техническая коммуникации [8]. Здесь используются явно неоднородные критерии, и некоторые типы кажутся недостаточно обоснованными. Значительный интерес, однако, представляет указание на то, что наряду с массовой коммуникацией, при которой предполагается массовый получатель, существует и массовая коммуникация, при которой в роли отправителя выступает группа людей.

Типология коммуникативных актов имеет определенное значение и при рассмотрении литературного языка. Это связано прежде всего с тем, что в соответствии с различными типами коммуникации по-разному преломляется и упомянутое требование совпадения знакового инвентаря, а также требование использовать литературные или же менее литературные средства выражения.

При случайной коммуникации, например, при торге на рынке, при получении информации на улицах чужого города, можно обойтись и без общих языковых знаков. Их заменяет ситуация и дейксис. При языковой коммуникации в малых группах (например, в семье, в кругу друзей) необходимо так называемое «вербальное единообразие»: между всеми членами такой группы существует определенное соглашение об используемых языковых средствах, об их значении и стилистической оценке (например, специальные слова в сфере интимного общения, особые значения общеупотребительных слов). При массовой коммуникации (не только при использовании средств массовой коммуникации, но прежде всего в процессе устных публичных выступлений, в процессе обучения) предполагается двустороннее знание определенных правил языкового поведения, общий языковой узус. Это типичная область использования литературных языковых средств. Правда, еще нет исследований по основному вопросу: до какой степени возможны отклонения от этого языкового узуса, при которых коммуникация еще может достичь своей цели. Представляется, что основной предпосылкой понимания в рамках национального языка (т. е. предпосылкой самой низкой степени эффективности коммуникации) является совпадение синтаксического строя и лексики в речи говорящих. Различия в морфологических средствах, а до известной степени и в звуковом строе (общение между носителями разных диалектов) не столь важны (конечно, в нелитературной речи).

---

[7] См.: W. Hartung, Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft, Berlin, 1974, стр. 636.

[8] См., например: Г. Г. Почепцов, О некоторых вопросах лингвистики общения, в кн.: «Структурная и математическая лингвистика», 3, Киев, 1975, стр. 74—79.

Говоря о типологии коммуникативных актов и возможности ее использования применительно к языку, необходим иметь в виду, что языковая сторона является лишь частью (с нашей точки зрения, естественно, важнейшей частью) коммуникативных актов. В каждом коммуникативном акте можно видеть четыре уровня, четыре основные структуры, а именно: две формальные и две содержательные [9]. К формальной стороне относятся коммуникативная и языковая структуры, первая подразумевает число участников коммуникации и способ передачи сообщения, например, технические средства; вторая — полноту, однонаправленность, точность, нормативность. К содержательной стороне относится функциональная и социально-психологическая структуры: в первой имеется в виду цель и результат коммуникации, во второй речь идет о ситуации и стратегии.

Естественно, что с позиций лингвистики на первый план выступает языковая структура коммуникативных актов, но нельзя игнорировать и остальные структуры, так как все они вместе образуют неделимое целое.

В связи с литературным языком прежде всего встает вопрос о норме (resp. нормированности) или, в более широком плане, вопрос о языковой способности участников коммуникации. Думается, что здесь больше всего подошло бы широкое понятие языковой компетенции. Конечно, не в смысле «порожденческой» пары «компетенция — реализация», а просто в смысле владения языком, его «кодом». Степень владения у разных носителей языка различна. Использование литературного языка, естественно, предполагает реализацию тенденции к владению в наибольшем объеме.

Норма трактуется по-разному. В чехословацкой традиции преобладает понимание нормы как реализованной части системы. Можно считать заслугой Пражской школы то, что она остро осознавала высокий уровень абстрактности понятия языковой системы, его автономность по отношению к конкретной ситуации, к данному состоянию общества, и выработала такое понимание нормы, которое означает перенос понятия системы из абстрактной плоскости в конкретно-социальный план. Подобное понимание ясно просматривается в развернутом определении А. Стиха. По его мнению, норма — это совокупность общепризнанных, принятых и соблюдаемых коллективом языковых средств, абстрактных схем и принципов соединения элементов языковой системы в конкретные языковые высказывания [10]. Учет системы и ее окружения (т. е. совокупности говорящих, использующих эту систему в конкретных коммуникативных актах) проявляется и в концепции Г. В. Степанова, который различает объективный аспект нормы и ее аксиологический аспект (кодифицированность, массовая повторяемость) [11]. Вряд ли полезно, однако, оперировать понятиями «норма языка» и «норма речи», потому что норма языка сливалась бы тогда с системой. Скорее здесь применим постулат нормированности, вернее, различных степеней нормированности, соответствующих разным типам коммуникативных общностей. Для коммуникации двух собеседников (face-to-face communication) достаточна низкая степень нормированности, при массовой коммуникации необходима самая высокая степень нормированности. Кажется, все же, что естественными рамками коммуникативной общности является национальный язык. На это указывает и тот

---

[9] См.: В. Ch. Bgažnokov, Individuálně a sociálně orientovaná jazyková komunikace, в кн.: «Masová komunikace a propaganda», Praha, 1975, стр. 223—230.

[10] A. Stich, Sprachnormung und Kodifizierung der Sprache in der sozialistischen Gesellschaft, в кн. «Linguistische Studien», Berlin, 1974, стр. 1—17.

[11] Г. В. Степанов, О двух аспектах понятия языковой нормы (на испанском материале), в кн.: «Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков», М., 1966.

факт, что даже периферийные, в структурном отношении весьма отличающиеся диалекты признаются диалектами того национального языка, который свойствен определенной государственной общности.

С этим фактом связан вопрос о том, является ли языковым признаком нации ее национальный язык или ее литературный язык. Еще сравнительно недавно признаком нации бесспорно считался литературный язык, язык национальной литературы в самом широком смысле. Однако в связи с развитием технических возможностей, а также расширением сферы устной речи, данная функция литературного языка явно отступает на второй план, а ее место занимают такие формы национального языка, в которых литературная норма соблюдается не столь скрупулезно. Это связано, в частности, с тем, что в языковой контакт при выполнении своей работы вступают люди с разной степенью языковой культуры и они формируют свой идиолект, в неодинаковой мере приспособленный к нормам литературного языка.

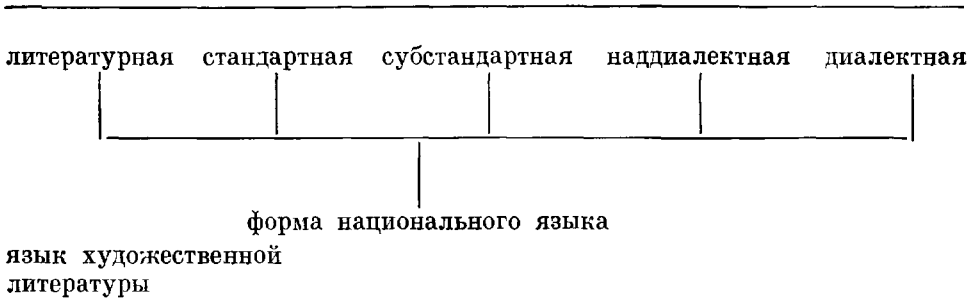
Основным следствием указанного социального факта увеличения возможностей языковых контактов является то, что, наряду с литературным языком, широкое применение получает и нестрого регламентируемая форма, которая в разных языках называется по-разному — русск. *разговорная речь*, чеш. *obecná čeština* и т. д.

Ввиду того, что речь идет, в сущности, об основной форме национального языка, используемой в общественной коммуникации, ее, пожалуй, можно было бы назвать стандартным языком или же стандартной формой национального языка. Тем самым указывается, что имеется в виду не какая-нибудь «низшая», «деградированная» форма, а очень распространенная, характеризующаяся значительной степенью нормированности. Естественно, что при такой ее оценке собственно литературный язык как культивированная форма литературного языка займет более высокое положение. Наконец, наряду со стандартным языком, распространена и такая разновидность средств выражения, в которой в большой мере проявляется проникновение элементов специфических диалектных речевых навыков,— эту форму можно назвать субстандартной. Таким образом, общенациональный язык содержит три основные формы: литературную, стандартную и субстандартную, которые в сфере фонетической можно проиллюстрировать следующими словацкими формами: *l'esňík — lesňík — lesník* «лесничий», *mäso — meso — maso* «мясо», а в сфере лексической тройками: *nákladné auto — nákladniak — nákladák* «грузовик»; *diplomová práca — diplomovka — diplomka* «дипломная работа».

К формам, не имеющим общенационального применения, принадлежат прежде всего диалекты. Поскольку диалекты в чистом виде уже относительно редко используются для языковой коммуникации в широких коммуникативных общностях (известна, например, тенденция к определенному устранению слишком заметных, отличающихся от литературных норм фонетических и лексических элементов — *blato* «грязь» вм. *bůato*, *t'elo* «тело» вм. *ceļo*), следует предполагать наличие определенной переходной наддиалектной формы. Иногда ее называют интердиалектом, но такое название не отражает проникновения в диалектную форму элементов недиалектных.

Дифференциация (resp. стратификация) национального языка в таком случае выглядела бы так, как указано на схеме.

Вне рамок указанной стратификации стоит язык художественной литературы. Это связано главным образом с тем, что, хотя в нем используется литературная форма, нередки элементы и остальных форм, правда, в более или менее «олитературенном» виде. Следует напомнить, что ху-



дожественный стиль в прежних классификациях языковых стилей занимал особое место и не имел однозначного определения.

Сленговые элементы, которые, как известно, представляют собой, собственно лишь лексические явления, не образуют особой формы национального языка. Они используются главным образом в субстандартной форме и в языке художественной литературы.

При таком решении проблемы стратификации национального языка необходимо по-новому решать и вопрос о дифференциации литературного языка на ряд языковых стилей. Поскольку в предложенной систематизации опущен художественный стиль, а также в значительной мере и разговорный стиль (замененный стандартной и субстандартной формой), остаются, в сущности, только научный и публицистический стили, в которых имеется достаточное число общих элементов.

Таким образом, необходимо пересмотреть разделение литературного языка на языковые стили и разработать новую дифференциацию на основе типологии коммуникативных актов. Из положения литературной формы национального языка в указанной стратификации ни в коей мере не вытекает ее второстепенность в языковой коммуникации нации. Наоборот, место, которое она занимает, подчеркивает высшую степень ее нормированности, а также ее кодифицированность (в отличие от диалектных форм, которые тоже являются нормированными, но не кодифицированными). Кроме того, следует подчеркнуть, что литературный язык в таком понимании не изолирован от остальных форм (границы между отдельными формами являются подвижными, нередко точные границы вообще нельзя провести). Необходимо также подчеркнуть почти исключительное место литературной формы национального языка в художественной и научной литературе и ее диалектическую связь со стандартной формой, на которую она не только постоянно влияет, но и обогащается ею. Литературный язык остается основной формой, применяемой в средствах массовой коммуникации, и единственным средством обучения в школе.

Стандартная форма национального языка в меньшей мере доступна кодифицированию (во многих случаях полезно было бы кодифицировать две нормы: одну для литературной формы, другую для стандартной формы, ср., например, двоякое произношение форм *le*, *li*). В стандартную форму легче проникают некодифицированные и неподдающиеся кодификации элементы из субстандартной формы национального языка и из разных форм иностранных языков.

При таком понимании дифференциации национального языка, собственно говоря, нет необходимости в понятии нормы в прежней трактовке. Можно сказать, что литературная форма, в сущности, и представляет собой норму литературного языка в старом понимании, так как система — это свойство национального языка как целого.

Перевел со словацкого *Л. Н. Смирнов*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

О НОРМЕ И ВАРИАНТНОСТИ НА СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ

(колебания в формах управления)

В современной русистике, особенно в нормативной лексикографии, получили теоретическое и практическое разрешение некоторые сложные и актуальные вопросы языковой нормы и речевой культуры. Сочувствие и поддержку встретила динамическая теория нормы, получило научное признание явление вариантности в литературном языке, аксиомой стало требование объективно-исторического анализа спорных языковых фактов, способствующего преодолению эмпиризма и субъективизма при оценочных суждениях. В последние годы издано немало толковых и специализированных словарей русского языка, пособий и руководств справочного и учебно-методического характера.

Однако в центре внимания нормализаторов до сих пор оставались главным образом парадигматические свойства отдельного слова. К этому предрасполагал ряд обстоятельств: и сложившаяся традиция, и лучшая изученность этого языкового объекта, и испытанный жанр нормативной работы — лексикографическое описание отдельных слов со стороны их лексического значения, ударения, произношения, образования форм, функциональной закрепленности и стилистической окраски.

Между тем, с точки зрения общественно-речевой практики, исследование грамматической нормы и вариантности на синтаксическом уровне имеет, пожалуй, не меньшее значение, чем рассмотрение и оценка вариантов в пределах тождества слова. Выбор формы управления (например: *отзыв о диссертации* или *на диссертацию*, *подвести итоги соревнованию* или *соревнования*, *искать дороги* или *дорогу*), как и формы согласования [например: *круглая сирота* (о мальчике) или *круглый сирота*, *врач* (о женщине) *вышел* или *вышла*, *большинство участников совещания разъехалось* или *разъехались*] представляет собой актуальный вопрос современной устной и письменной речи. Нарушения традиционных синтаксических конструкций встречаются даже у писателей и в широкой прессе. Например, в соответствии с нормой следует употреблять: *исследование чего* (а не *над чем*), *уверенность в чем* (а не *во что*), *озабоченность чем* (а не *о чем*). Ср., однако: «Исследования над грозой велись уже несколько лет» (Гранин, Иду на грозу); «Они проникались уверенностью в свои силы» («Лит. газета», 1 XII 1966); «Руководители некоторых колхозов не проявляют должной озабоченности о будущем урожае» («Правда», 26 VIII 1957). Известно, что даже опытный, хорошо владеющий литературным языком лектор, выступая без подготовленного текста, допускает некоторые отклонения от норм лексической и синтаксической сочетаемости. Причем нарушения такого рода часто остаются не замеченными слушателями (обнаруживаясь впоследствии, при чтении стенограммы).

Однако ни широкая вариативность в синтаксической сочетаемости, ни отсутствие четкого кодекса правил сочетаний слов, ни, тем более, распространенные речевые ошибки вовсе не отвергают самого существования

синтаксических норм. Примечательно, что Л. В. Щерба, подчеркивая необходимость создания активной грамматики, обращал особое внимание на нарушение норм в управлении и согласовании. Эти ошибки вызываются, по его словам, действием «бессознательных тенденций живой речи, с некоторыми из которых придется сознательно бороться» [1].

Естественно, для того чтобы «сознательно бороться» за укрепление норм и на синтаксическом уровне, необходимо в первую очередь определить сам предмет изучения. Хотя важность нормативного рассмотрения колебаний в синтаксических конструкциях сейчас не вызывает сомнений, а некоторые параллельные способы сочетания слов постепенно становятся объектом словарей и специальных пособий [2], проблема нормы и вариантности на синтаксическом уровне еще далека от своего разрешения. Одной из причин этому служит теоретическая неопределенность самого объекта и нечеткость границ между понятиями «синтаксическая вариантность», «синтаксическая (или грамматическая) синонимия», «синтаксические параллелизмы» и т. п., а также отсутствие общепринятой методики изучения этих явлений [3].

Большинство современных исследователей справедливо призывает к преодолению смешения грамматического и неграмматического, к введению объекта «в строгие грамматические рамки» (И. И. Ковтунова), указывая при этом на недостаточность критерия взаимозаменяемости при анализе грамматических параллелизмов.

В научной литературе широко бытуют термины «синтаксическая (или грамматическая) синонимия» и «синтаксическая (или грамматическая) вариантность». Однако вопрос о том, в чем же заключается различие этих понятий, продолжает оставаться неясным и спорным. Основным конституирующим признаком и синтаксической синонимии, и синтаксической вариантности обычно признается функционально-грамматическое тождество (или сходство) сопоставляемых конструкций. Что же касается дифференциального признака этих понятий, то здесь нет единства взглядов. Более того, синтаксической вариантностью одни авторы называют то явление, которое другими признается синтаксической синонимией. И пожалуй, основным пунктом разногласий служит признание (или отрицание)

[1] Л. В. Щ е р б а, Трудности синтаксиса русского языка для русских учащихся, сб. «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 379.

[2] Вариантность форм управления отмечается в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» (М.—Л., 1950—1965). Более 400 вариантных конструкций оценивается с нормативной точки зрения в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973). Краткий словарь управлений, составленный Д. Э. Розенталем, помещен в «Справочной книге корректора и редактора» (М., 1974). Некоторые варианты управления указываются в пособии для студентов-иностранцев В. М. Дерибаса «Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка. Словарь-справочник» (М., 1975); см. также: Н. Н. П р о к о п о в и ч, Л. А. Д е р и б а с, Е. Н. П р о к о п о в и ч, Именное и глагольное управление в современном русском языке, М., 1975.

[3] См.: А. М. П е ш к о в с к и й, Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы, сб. «Ars poetica», М., 1927; И. И. К о в т у н о в а, О синтаксической синонимике, «Вопросы культуры речи», I, 1955; Е. И. Ш е н д е л ь с, Понятие грамматической синонимии, ФН, 1959, 1; В. П. С у х о т и н, Синтаксическая синонимика в современном русском литературном языке. Глагольные словосочетания, М., 1960; В. И. К о д у х о в, Считаете ли Вы необходимым различение вариантов синтаксических единиц? Какие различия представляет вариантность члена предложения, словосочетания, модели предложения и т. д.?, ФН, 1961, 4; Н. Ю. Ш в е д о в а, Активные процессы в современном русском синтаксисе. (Словосочетание), М., 1966; Г. З о л о т о в а, О структурных основаниях синтаксической синонимии, «Р. яз. в нац. шк.», 1968, 6; В. И. К о н о п е н к о, Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке, Киев, 1970; Л. К. Г р а у д и н а, В. А. И ц к о в и ч, Л. П. К а т л и н с к а я, Грамматические варианты. Опыт частотного словаря, М., 1971.

необходимости хотя бы частичного материального (т. е. лексического) и семантического совпадения у компонентов рассматриваемых языковых единиц.

Существует мнение, что основу синтаксической вариантности составляет сама грамматическая модель независимо от лексического наполнения. Ср.: «В качестве члена грамматической вариантной пары выступают многочисленные и лексически разные единицы, соединенные по единой грамматической модели. С этой точки зрения *обучалось сто человек* это тот же грамматический вариант, что *бастовало тысяча докеров*» [4]. Или: «**Вариантами** мы называем функционально-тождественные синтаксические модели, имеющие одинаковое структурное содержание, характеризующиеся одинаковой дистрибуцией и отличающиеся лишь отдельными формальными элементами структуры или „внутримодельными" преобразованиями» [5].

С другой стороны, при констатации синтаксической вариантности подчеркивается необходимость не только одинаковой синтаксической позиции, но и эквивалентной семантики: *ехать трамваем* и *ехать на трамвае* [6]. «Ряд синтаксических вариантов»,— по мнению Г. А. Золотовой,— возникает лишь при совпадении «смысловых центров» [7]. Впрочем наличие одних и тех же слов в сопоставляемых словосочетаниях (*идти полем — идти по полю, выпил молоко — выпил молока* и др.) рассматривается в качестве составляющего признака и синтаксической синонимии [8].

Обобщая различные и достаточно противоречивые взгляды на природу синтаксической вариантности (или синонимии), можно все же отыскать среди них то, в чем единодушны все исследователи. Таким необходимым и всеми принимаемым условием (conditio sine qua non) для констатации как вариантности, так и синонимии служит соотносительность синтаксических отношений (шире — грамматического значения) у языковых единиц одного и того же уровня (словосочетание, предложение). Положив в основу дальнейшего рассмотрения этот самоочевидный признак и дополнив его наличием информационной (смысловой) общности, что признается необходимым условием существования вариантности одними исследователями, но не отрицается в качестве возможности, частного случая другими, попытаемся обнаружить те формальные показатели, которые могут способствовать разграничению сходных языковых фактов. В следующих фразах при наличии информационной общности и вопросительной интонации представлены четыре основных типа интересующих нас отношений: 1) лексическая синонимия: *Кто владелец этой баржи? Кто хозяин этой баржи?* Формальное различие: наличие разных слов-синонимов (*владелец — хозяин*); 2) вариантность на уровне слова: *Кто владелец этой ба́ржи? Кто владелец этой барж́и?* Формальное различие: место ударения у акцентных вариантов слова *баржа* (*ба́ржи — барж́и*); 3) вариантность на уровне словосочетания: *Кто хозяин этой баржи* (род. падеж)? *Кто хозяин этой барже* (дат. падеж)? Формальное различие: падежные формы управляемого слова (*баржи — барже*); 4) синтаксическая синонимия (или вариантность на уровне предложения): *Кто владелец этой баржи? Кому при-*

[4] Л. К. Граудина, В. И. Ицкович, Л. П. Катлинская, указ. соч., стр. 24—25.
[5] Л. П. Зайцева, Синтаксическая вариантность и синтаксическая синонимия, «Уч. зап. Башкирск. гос. ун-та», XXI, Серия филол. наук, 9 (13), 1964, стр. 77.
[6] В. И. Кодухов, указ. соч., стр. 178.
[7] Г. Золотова, указ. соч., стр. 7.
[8] В. П. Сухотин, указ. соч., стр. 14, 16, 24 и др.

надлежит эта баржа? *Чья эта баржа*? Формальные различия распространяются и на лексический состав фраз, и на способ выражения синтаксических отношений (вопрос об одноструктурной и разноструктурной синтаксической синонимии здесь не рассматривается) [9].

Очевидно, что с точки зрения нормативной практики и возможности лексикографической инвентаризации трудных случаев грамматических колебаний реально обозримой является вариантность на уровне словосочетания, поскольку колебание формы обусловлено здесь синтаксическими потенциями компонентов словосочетания и, таким образом, приурочено к конкретным лексемам. Признаками синтаксических вариантов на уровне словосочетания служат: а) тождество грамматического значения и грамматической модели; б) материальное (лексическое) совпадение главного компонента (грамматического центра) словосочетаний. Основное формальное различие таких вариантов заключается или в несовпадении только грамматической формы зависимого компонента (например: *ждать поезда*, *автобуса*, *самолета* и т. п. — *ждать поезд*, *автобус*, *самолет* и т. п.; *несколько человек пришло*, *заболело* и т. п. — *несколько человек пришли*, *заболели* и т. п.), или в несовпадении грамматической формы зависимого компонента и служебного слова, а также при наличии/отсутствии служебного слова (например: *контроль над работой*, *над использованием* и т. п. — *контроль за работой*, *за использованием* и т. п.; *наблюдать за больным*, *за направлением ветра* и т. п. — *наблюдать больного*, *направление ветра* и т. п.). Такой подход, обеспечивая рассмотрение синтаксической вариантности в плане выражения потенциальных конструктивных особенностей отдельных слов и отношений взаимного возмещения [10], способствует ограничению и обозримости объекта, создает условия не только для грамматической интерпретации этих фактов, но и для их лексикографической кодификации.

Указанные признаки (тождество грамматического значения при материальном и смысловом совпадении главных компонентов словосочетаний) определяют и процедуру идентификации языковых единиц в качестве синтаксических вариантов на уровне словосочетания. Существенно при этом отметить, что как различие в лексическом значении, обусловливаемое синтаксической позицией (например: *управление чем* — процессуальное значение: *управление заводом*, *трестом* и т. п. и *управление чего* — субстантивное значение: *управление завода*, *треста* и т. п.), так и различие в грамматическом содержании (например: *памятник кому* — указание адресата: *памятник Пушкину*, *Суворову* и т. п. и *памятник кого* — указание исполнителя: *памятник Аникушина*, *Козловского* и т. п.) свидетельствуют об отсутствии синтаксической вариантности. Позиционно выраженный параллелизм форм управления, имеющий смыслоразличительный характер (ср., например: *обращать внимание на кого*, *на что* и *обращать на себя внимание кого*, *чье*), также не является синтаксическим варьированием в изложенном понимании этого термина. Это, конечно, не означает того, что факты функционально дифференцированного управления [*памятник* (кому?) *Пушкину* и *памятник* (кого?) *Аникушина*] не должны отмечаться в нормативных словарях. Наоборот, смешение подобных (хотя и не вариантных) форм нередко встречается в речевой практике.

---

[9] Фразы типа *Он не пришел из-за болезни*, *Он не пришел вследствие болезни*, *Он не пришел*, *потому что был болен*. *Он не пришел*, *так как был болен*, видимо, следует оценивать как примеры лексико-синтаксической синонимии, так как замена предлога или союза не обусловлена здесь грамматическими свойствами полнозначных слов.

[10] Е. С. Скобликова, Согласование и управление в русском языке, М., 1971, стр. 5, 232 и др.

Очевидно, что синтаксическая вариантность на уровне словосочетания наиболее широко и отчетливо проявляется в области управления. Сложная и двойственная природа этого вида грамматической связи слов, а также жесткая конкуренция многих форм вызывают необходимость пристального изучения вариантности управления в нормативно-историческом плане.

Произошедшая смена форм управления (ср. в XIX в.: *дирижировать что, робеть кого, чего, благодарить кому, обижаться кем, чем, пародия кого, чего* и в современном языке: *дирижировать чем, робеть перед кем, перед чем, благодарить кого, обижаться на кого, на что, пародия на кого, на что*) и совершающиеся изменения в наше время (например: *вершить что > вершить чем, свидетель чему > свидетель чего, полный чем > полный чего*) требуют выяснения причин возникновения синтаксической вариантности, сдвига нормы и условий функционирования сосуществующих вариантов.

В результате анализа значительного числа вариантных форм управления выяснилось, что здесь, как и при варьировании в пределах тождества слова (например, *пе́тля — петля́, инду́стрия — индустри́я, жёлчь — желчь, ноль — нуль*), действуют внутрисистемные и внешние по отношению к русскому литературному языку факторы (к последним, например, относятся влияние украинского языка, синтаксические галлицизмы и т. д.). Однако основные причины колебания в формах управления лежат внутри системы самого русского литературного языка. Внешние факторы, как правило, временны, преходящи и часто лишь активизируют возможности, запрограммированные системой языка [11].

К внутрисистемным причинам перестройки управления и возникновения синтаксической вариантности принадлежат: а) приведение в соответствие формы и содержания языковой единицы; б) смысловая и формально-структурная аналогия; в) смысловое преобразование главного компонента словосочетания; г) контаминация (семантическая и структурная); д) воздействие форм управления у производящей основы; е) появление стандартизованных словоблоков, что нередко ведет к переразложению структуры словосочетаний и к разрушению традиционных синтаксических связей.

Можно думать, что в процессе эволюции синтаксических форм находит отражение и общее развитие человеческого мышления в сторону абстрагированности и замены конкретно-пространственных представлений более отвлеченными видами соотношения понятий. В этом смысле показательна утрата предлогов *от* и *к* в конструкциях, генетически связанных с пространственными взаимоотношениями (например: *сторониться от кого, от чего > сторониться кого, чего, писать к кому > писать кому*). Ср. в литературном языке XIX в.: *сторониться от кого, от чего* — «Люди сторонились от черных фур с трупами» (Герцен, Былое и думы); «Хорошо ли будет, если я буду избегать общества, сторониться от каждой женщины?» (А. Островский, Блажь); «Он никогда не отличался общительностью, а за последний год стал еще больше сторониться от людей» (Куприн, Лесная глушь); *писать к кому*: «Я к вам пишу — чего же боле?» (Пушкин, Евгений Онегин); «Я к вам пишу случайно; право, Не знаю как и для чего» (Лермонтов, ⟨Валерик⟩); «Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин» (Тургенев, Ася); «Опять давно не писала к тебе» (Писемский, С. П. Хазаров и М. Ступицына).

---

[11] Об ограниченном воздействии русско-украинских языковых контактов на изменение формы управления см.: Р. В. Болдырев, Структурно-семантические процессы в русской речи. (Синтаксис предложных конструкций), Киев, 1967.

На расшатывание синтаксической нормы и образование варьирования влияют выраженные коннотативные свойства слова (например, у слов разговорного характера: *умиляться кем, кому* и *на кого, чутье чего, на что* и *к чему* и т. п.), а также активизация употребления слова и расширение смысловых ассоциаций (например: *стимул чего, для чего* и *к чему, прогноз чего, о чем* и *относительного чего*). Ослабление нормативных синтаксических связей наблюдается при отрыве (дисконтактности) управляющего слова и управляемого. Правильно: *получать доход от чего-либо* (*от промышленности, от торговли* и т. п.), но *извлекать доход из чего-либо* (*из промышленности, из торговли* и т. п.). Однако при инверсии и отрыве управляемых слов воздействие контаминации усиливается, вследствие чего даже в авторитетных изданиях можно встретить, например, такие фразы: *От реализации продукции предприятие извлекает* (вместо *получает*) *значительные доходы.*

Изменение норм управления часто происходит в результате влияния устойчивых сцеплений слов (словоблоков), приводящего к переразложению трехчленных словосочетаний. Характерным примером изменения синтаксических свойств слова при создании устойчивых словоблоков может служить варьирование дательного (исконная форма) и родительного (новая форма) падежей, которое наблюдается главным образом в составе глагольно-именных сочетаний со словами *итог, предел, цена* и др. Например: *подвести итоги чему* и *чего.* Обе конструкции широко представлены в современной речи. Ср. с дательным падежом: «И во сне душа его думает и подводит итоги пережитому» (Вересаев, Да здравствует весь мир); «Голос диктора подводит итог еще одному дню гигантской схватки» (Саянов, В боях за Ленинград); «[Майка] усмехнулась, словно подводя итог нашему старому с ней спору» (Офин, За счастье молодых); «Этой фразой Гофман лаконично подвел итог войне» (Дангулов, Дипломаты); «Подвести общие итоги развитию науки» («Лит. газета», 3 X 1965); «Подведен итог первому этапу соревнования» («Комс. правда», 17 VII 1968); «Подводя итоги сделанному» («Лен. правда», 25 XII 1975). С родительным падежом: «Подводя итоги этого путешествия, спрашиваешь себя о самом главном» (Б. Полевой, За тридевять земель); «Подведение итогов соревнования» («Лит. газета», 15 V 1970); «Печать подводит сегодня итог этого визита» («Известия», 16 VI 1964); «Подводились итоги работы за прошлый год» («Комс. правда», 27 VI 1973); «Подводя итог турнира» («Комс. правда», 7 I 1976); «Подведены итоги заводского конкурса» («Лен. правда», 24 VIII 1975).

При образовании этих синтаксических вариантов важную роль сыграли два фактора: типичность (устойчивость) лексической связи между компонентами и их внутреннее взаимоотношение в структуре словосочетания. В двучленном субстантивном сочетании слово *итог* управляет только родительным падежом (*итог соревнования*). В трехчленном же сочетании вариантность возникает вследствие возможности двоякого членения: *подвести итог* (чему?) *соревнованию* (дат. падеж) или *подвести* (что?) *итог соревнования* (род. падеж). Регулярная повторяемость характерных для современной действительности стандартных субстантивных сочетаний (словоблоков типа: *итог работы, итог выполнения, итог тренировки, итог эксперимента* и т. п.) ведет к переразложению трехчленного словосочетания и расшатыванию старой нормы.

Нормативно-историческое исследование синтаксической вариантности находится пока еще в той стадии, когда делать общие и окончательные выводы о характере эволюции и хронологии данного явления преждевременно. Правда, в некоторых статьях указывается на рост синтаксической вариантности в современном языке. Но такие суждения представляются рискованными. В научной литературе можно встретить противополож-

ное (и, думается, более правильное) мнение о том, что вариантность управления в древнерусском языке «была гораздо большей» [12].

Действительно, в текстах XVIII в. слово *надежда* имеет четыре формы управления: 1) *надежда о чем*: «Уже не имел надежды о его исцелении» (Болотов, Записки); «Через сие надежда о изобилии подается» (Флорианова экономия, 1738); 2) *надежда к чему*: «Надежда к возвращению здравия ее была не зрима» (Елагин, Приключения маркиза Г.); «Худую надежду к плодородию подает» (Флорианова экономия, 1738); 3) *надежда чего*: «Тут видел я мужество и надежду победы» (Елагин, Приключения маркиза Г.); «Надежды безвозмездия» (Радищев, Житие Ушакова); 4) *надежда на что*: «Надежда на правосудие судей» (Московский журнал, 1791). По данным Ю. К. Стехина, при глаголе *радоваться*. кроме местного падежа с предлогом *о*, в письменных памятниках древнерусского языка представлены: дательный без предлога или с предлогом *к*, беспредложный творительный, а также местный падеж (или дательный) с предлогом *по* [13].

Показательно убывание варьирования в управлении у слов *свидетель*, *изменник*, *друг*, *враг*, *хозяин* и т. п. В современном языке колебания (дательный или родительный) в именных сочетаниях относительно регулярно наблюдаются у двух первых слов: *свидетель происшествию* (*происшествия*), *изменник родине* (*родины*). При остальных словах употребление дательного падежа сейчас регламентировано особыми лексико-синтаксическими условиями (предикативность, фразеологизация, инверсия управляемого, вопросительная интонация, употребление в качестве зависимых компонентов местоимений или субстантивированных прилагательных и др.). Например: *он не враг тебе*, *он друг моему отцу*, *хозяин своему слову*, *хозяин своим поступкам*, *сам себе хозяин* и т. п. Примечательно, что сила вторжения родительного приименного настолько велика, что в современной (особенно в разговорной) речи применение этой формы наблюдается даже во фразеологически связанных сочетаниях, где по традиции следовало бы ожидать употребление дательного. Например: «— Вы, и только вы одна,— хозяйка своих поступков» (Погодин, Сонет Петрарки).

Помимо отдельных наблюдений, свидетельствующих о сокращении колебаний в форме управления (что, естественно, не исключает образования новых вариантных пар), есть и более общие предпосылки для постепенного убывания синтаксического варьирования. Они заключаются в отмирании или в ослаблении действия некоторых внешних причин, порождавших варьирование (влияние диалектов, синтаксическое калькирование модных языков и т. п.), а также в стихийном стремлении носителей языка и сознательных (правда, пока еще весьма робких) усилиях нормализаторской работы, направленной к устранению функционально не загруженной вариантности.

Однако сравнительное уменьшение количества колеблющихся форм и преобразование полных вариантов в функционально ограниченные вовсе не означает того, что вариантность сама собой окончательно отомрет и поэтому не нуждается в кодификации. Постепенное преобразование языковой системы и воздействие некоторых абсолютных причин изменения способа выражения (например, стремление к соответствию формы и содержания) дают основания предполагать, что варьирование как неизбежный этап сосуществования старого и нового качества сохранится и в будущем. А поскольку определение нормы и характеристика функциональных особенностей вариантов требуют не только рассмотрения фактического материала в синхронном плане, но и установления продуктивных тенденций,

[12] Е. С. Скобликова, указ. соч., стр. 83.

[13] Ю. К. Стехин, Из истории глагольного управления в русском языке. АКД, М., 1962.

то становится очевидной важность этой стороны дела и при нормализации синтаксической вариантности.

Между тем, даже основные направления в развитии синтаксической вариантности, и, тем более, причины изменения форм сочетаемости описаны в самых общих чертах. Так, например, прирост предложных конструкций за счет беспредложных сопровождается и обратным явлением — потерей предлога, что не всегда находит убедительное объяснение. С точки зрения нормализаторской практики требует особого внимания массовое вторжение форм винительного падежа (например, *ждать автобус*, вм. *ждать автобуса*, *искать выход* вм. *искать выхода*, *попросить слово* вм. *попросить слова*, *требовать деньги* вм. *требовать денег*, *бояться папу* вм. *бояться папы*, *прибавить шаг* вм. *прибавить шагу* и мн. др.).

Притягательная сила винительного прямого объекта и увеличение числа конструкций с этим падежом за счет других (главным образом, родительного и дательного) стали очевидным фактом современной речи, но еще не нашли научного истолкования и общепринятой нормативной оценки. Этот вопрос требует специального исследования. Здесь же заметим только, что агрессия винительного прямого объекта объясняется, видимо, как действием структурной аналогии, так и причинами содержательного и социального характера.

Во-первых, здесь, вероятно, сказалось влияние однотипных сочетаний с традиционным винительным падежом. Например, новое употребление *ждать автобус*, *ждать праздник*, *искать дорогу* складывается не без воздействия типичных сочетаний других, понятийно или тематически сходных слов: *ждать сестру*, *встречать автобус*, *провожать праздник*, *найти дорогу*, *потерять дорогу*, *разыскать дорогу* и т. п. Общность формы управления у понятийно-тематической группы глаголов (*люблю*, *обожаю*, *жалею*, *почитаю*, *обижаю*, *огорчаю* и т. п. *папу*, *маму*, *сестру* и т. п.) могла содействовать появлению конструкций типа *боюсь* (*слушаюсь*) *папу*, *маму*, *сестру* и т. п. вместо традиционных *боюсь* (*слушаюсь*) *папы*, *мамы*, *сестры* и т. п.

Во-вторых, бóльшая сила психологического воздействия в конструкциях с винительным прямого объекта (ср. *советовать*, *рекомендовать кому*, но *уверять*, *убеждать кого*) сочетается у них с выражением определенности (ср. *искать дороги* — вообще дороги, *искать дорогу* — именно эту дорогу). Возможно, данная особенность предрасполагает к широкому применению винительного падежа в научной и профессиональной речи (*наблюдать цель*, *прибавить скорость*), стремящейся к максимальной точности выражения мысли. В свою очередь этот вид речевой деятельности оказывает сейчас существенное влияние на нормы общелитературного языка. При этом, конечно, не следует абсолютизировать факторы социального порядка, как это делают некоторые зарубежные лингвисты, объясняя, например, «аккузативизацию» в современном немецком языке развитием техники, социальным планированием и т. п. [14].

Кодификация синтаксических вариантов предполагает не только установление их временно́го соотношения (устаревающий вариант — актуальный вариант — входящий вариант), но и характеристику особенностей функционирования в современном литературном языке. Не следует думать, что синтаксическое варьирование (в частности колебание в формах управления) всегда является избыточным и поэтому лишь препятствует речевой практике и нормализации языка. Наряду с действительно

[14] См.: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Язык и культура, М., 1973, стр. 179—180.

излишними синтаксическими дублетами, имеется немало таких параллельных форм, которые обладают функциональным своеобразием.

Так, употребление вариантных форм управления часто регламентируется определенными лексико-синтаксическими условиями. Например, различие в управлении при слове *договор* (*договор о чем* и *договор на что*) связано со смысловыми оттенками и лексической сочетаемостью. В обобщенном значении — «соглашение» — употребляется только конструкция с предлогом *о* (*договор о дружбе, о мире, о взаимопомощи, о соревновании* и т. п.). В более конкретном значении — «деловое, торговое соглашение; контракт» — обычно применяется конструкция с предлогом *на* (*договор на перевозку грузов, на поставку оборудования, на продажу тары* и т. п.). В издательской практике используется только конструкция с предлогом *на* (*заключить договор на книгу, на брошюру* и т. п.).

Показательны в этом отношении и особенности форм управления при слове *контроль*. Судя по материалам современной литературы и прессы, конструкции *контроль за чем* и *контроль над чем* практически равновероятны в сочетаниях с именами глагольного происхождения, обозначающими действие, процесс. Допустимо, таким образом, *контроль за* (или *над*) *выполнением, соблюдением, использованием, расходованием, распределением, внедрением* и т. п. Применительно к отвлеченным словам типа *запасы, средства, ресурсы, расходы, финансы, промышленность, оружие, рождаемость* и т. п. чаще употребляется конструкция *контроль над*; например: «Контроль над расходами» («Известия», 23 X 1975); «Контроль над рождаемостью» («Лит. газета», 9 I 1974; «Комс. правда», 14 I 1976). Что касается беспредложной конструкции *контроль чего*, то она, по-видимому, устаревает и ограничена в современном языке рамками официальной или профессиональной речи: *контроль деятельности администрации, диспетчерский контроль движения поездов* и т. п. Например: «Право контроля хозяйственной деятельности» («Лен. правда», 14 VIII 1973); «Контроль проводимости слюды» («Социалистическая индустрия», 24 I 1974).

Социально-профессиональная закрепленность характерна и для многих других вариантных форм управления. Например, у геологов в ходу такие обороты, как *разведка на нефть, на золото* и т. п. В профессиональной речи сохраняются прямое дополнение при глаголе *наблюдать* и приименной родительный при существительном *наблюдение*. Например, у военных: *наблюдать движение пехоты, наблюдение цели*; у врачей, биологов: *наблюдать больного, наблюдение природы*; у астрономов, метеорологов: *наблюдать движение светил, направление ветра, наблюдение погоды* и т. п.

Характерной особенностью синтаксической вариантности на уровне словосочетания является ее двусторонняя лексическая зависимость. Это выражается в том, что применение многих синтаксических конструкций обусловлено не только грамматическим содержанием, но и зависит от лексико-семантического наполнения как главного компонента словосочетания, так и подчиненного. Например, проникновение винительного прямого объекта и образование варьирования форм управления свойственно не всем глаголам с достигательным значением, а только некоторым (*ждать, ожидать, искать, требовать*). С другой стороны, новая форма управления (винительный падеж) реализуется и не у всех управляемых именах. Так, зафиксированы колебания: *искать опоры* и *опору, искать поддержки* и *поддержку, искать ночлега* и *ночлег, искать выхода* и *выход, искать спасения* и *спасение*. Например: «Белесые глаза Герасима сощурились, забегали, заметались, как бы ища спасения» (Никандров, Седой Каспий); «Он искал спасение все в тех же донских степях» (Федин, Необыкновенное лето). Однако при сочетании глагола *искать* со словами *слава, сочувствие, лю-*

бовь, *покой* и др. в современной литературе зарегистрирована только конструкция с традиционным родительным падежом: *искать славы*, *сочувствия*, *любви*, *покоя* и т. п. [15].

При нормативной оценке вариантных форм управления закономерно возникает трудноразрешимая и, в сущности, старая проблема: как отграничить реальные и неизбежные изменения синтаксических норм, обусловленные воздействием структурной аналогии, контаминации, факторов внешнего порядка и т. д., от речевых ошибок, которые часто вызываются практически теми же причинами?

К сожалению, единого строго объективного критерия для такого разграничения нет, что и естественно, так как многие продуктивные новообразования зарождаются в разговорно-просторечной стихии и на первых порах нередко вызывают неодобрение и даже резкое осуждение. Думается, впрочем, что некоторые общие принципы различения правильного и неправильного все же могут быть найдены. Так, если новая форма управления позволяет четче разграничивать разные значения слова (т. е. содействует осуществлению принципа единства формы и содержания) либо несет функционально-стилистическую или иную полезную нагрузку и при этом регулярно воспроизводится в письменной речи (особенно — у авторитетных писателей), то ее уже вряд ли можно считать отклонением от нормы.

Известно, что вследствие двусторонней и противоречивой природы в языковой норме вынужденно примиряются объективные свойства эволюционирующего языка и общественно-вкусовые оценки, не всегда совпадающие с реальным речевым узусом. Уязвимость нормы на синтаксическом уровне и широкая вариативность в сочетаниях слов диктуют необходимость установления продуктивных тенденций в развитии синтаксических связей и привлечения значительного материала для характеристики функциональных различий вариантов.

Важно при этом подчеркнуть, что чрезмерная формализация исследования нормы на синтаксическом уровне (подмена реальных лексических компонентов словосочетания условными символами) едва ли результативна. Изучение языковой формы вообще немыслимо в отрыве от содержания. «Что же касается синтаксиса,— замечают Ф. П. Филин и Л. И. Скворцов,— то здесь в появлении новых форм и конструкций для выражения новых понятий и отношений сказывается особенно тесная связь языка с потребностями мышления» [16].

Соображения относительно границ понятия «синтаксические варианты» и задач их исследования были высказаны здесь в самых общих чертах. При всем этом ограничение понятия «синтаксические варианты» только такими структурно и грамматически соотносительными словосочетаниями, у которых наблюдается лексическое и смысловое совпадение главного компонента, обещает придать изучаемому объекту более определенный и лексикографически обозримый характер.

---

[15] Конструкции с винительным падежом в этих случаях допустимы лишь при необходимости подчеркнуть определенность объекта (именно то, о чем говорилось ранее) или при употреблении отвлеченного существительного в опредмеченном значении. Ср. в стихах И. Сельвинского: «Иной читает только в дороге, Пейзаж пропускает, ищет любовь».

[16] Ф. П. Филин, Л. И. Скворцов, Культура русской речи, «Вестник АН СССР», 1975, 5, стр. 99.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

Ж. ДЮРЭН

МЯГКОСТЬ, ТВЕРДОСТЬ, ЙОТИРОВАННОСТЬ

Артикуляторное (акустико-физиологическое) описание русского языка, прежде всего в работах Л. Г. Скалозуб, М. И. Матусевич, Н. Л. Любимовой, Л. Р. Зиндера, Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкой, С. С. Высотского, Р. Якобсона, Г. Фанта, М. Халле и др., достигло значительных успехов за последние 15 лет. Небольшая книга Л. Г. Зубковой «Фонетическая реализация консонантных противоположений в русском языке» (М., 1974) подводит итог экспериментальным исследованиям, особенно тем, которые были выполнены в СССР и США.

Признавая большую ценность и достоинства этой книги, мы хотели бы обратить внимание на содержащиеся в ней некоторые противоречия и предложить гипотезу относительно русского консонантизма, которая, как нам кажется, полнее бы соответствовала наблюдаемым артикуляторным явлениям, с одной стороны, а с другой, открывала бы определенные перспективы изучения диахронии не только русского, но и других славянских языков. Эта гипотеза, на наш взгляд, также позволяет лучше объяснить некоторые факты, наблюдаемые диалектологами. Особенное внимание мы предполагаем сосредоточить на противопоставлении твердых и мягких согласных [1].

В главе «Фонетическая природа противопоставления согласных по признаку твердости — мягкости» Л. Г. Зубкова вполне обоснованно отвергает старую теорию, которая представляла это противопоставление как результат отсутствия или присутствия одной только дополнительной артикуляции палатализации. И в самом деле, пора уже ввести в практику фонетистов понятие дополнительной артикуляции отвердения (ДАО), которая была бы, если можно так выразиться, симметричной по отношению к дополнительной артикуляции смягчения (ДАС). На VII съезде славистов мы определили ДАО как сдвиг тела (массы) языка назад, в результате чего становится возможным образование гласного звука с тембром [u] [2].

Л. Г. Зубкова, процитировав Л. Г. Скалозуб, Р. Якобсона, М. Халле и Г. М. Фанта, приходит к следующему выводу, с которым мы сможем до некоторой степени согласиться, хотя здесь и не уточняется характер тембра, на который нужно ориентироваться, чтобы легко и правильно реализовать смещение языка назад: «При образовании твердых согласных тело языка вместе с корнем отодвигается назад, в глубь полости рта, побочным следствием этого движения может явиться некоторый подъем задней части спинки языка, т. е. веляризация в собственном смысле слова» (стр. 37).

---

[1] В этой связи позволю себе напомнить о двух своих работах, напечатанных в: «VII Congrès international des slavistes. Communications de la délégation française», Paris, 1973; «Colloque de linguistique russe» (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves, XXXVII), Paris, 1973.

[2] См.: «VII Congrès international des slavistes», стр. 134.

Очень важно уточнить, что именно [u] сам по себе является тем т е м б р о м, к о т о р ы й с о о т в е т с т в у е т Д А О (т е. без главной артикуляции твердого согласного, который этот тембр сопровождает). Когда мы стараемся произносить разные гласные с возможно бóльшим смещением тела языка назад, мы легко убеждаемся в том, что, комбинируя сдвиг тела языка назад с различными углами нижней челюсти и различными положениями губ, можно достигнуть отчетливого произношения гласных [u], [o], [a], [ɛ] (= [æ]). Среди всех артикуляций этого рода ДАО именно та, которая создает тембр [u]. Поэтому так легко распознать тембр [u] в произношении твердых билабиальных и лабиодентальных, где характерная артикуляция явно отличается от ДАО. Во французском языке билабиальные и лабиодентальные не сопровождаются настолько очевидным призвуком [u], чтобы его можно было воспринять на слух.

О. Брок указывает, что «нелабиализованный» [u] (или лабиализованный минимально) образуется путем сдвига тела языка назад при минимальном смещении вниз нижней челюсти и почти нейтральном положении губ (округление губ только как для [o]) [3]. Необходимо обратить внимание на важную проблему «характерности» той или иной артикуляции. «Характерности» для кого? Для носителя какого языка? Это огромная проблема, которой мы хотели бы посвятить отдельную статью: только общая теория образования гласных и согласных и их коартикуляции позволила бы уточнить то, что можно было бы условно обозначить как характерную артикуляцию [p], [f] или [d] и т. д. Но можно также, в предварительном плане, сказать, например, что характерная артикуляция для [p] состоит в разрыве двугубной смычки, без аспирации, назализации или фарингализации.

Тембр, который связан с ДАО, и конфигурация последней будут описываться следующим образом: речь идет о заднем [u] (который мы транскрибируем [u.]) со слабым огублением, образуемым очень сильным сдвигом тела языка назад в направлении задней стенки зева, сопровождаемым смещением кверху, со слабым раскрытием угла нижней челюсти. Как мы увидим ниже, смещение корня языка кверху не должно доходить до зоны язычка, но должно останавливаться на уровне верхней части задней стенки зева.

Если говорят, что «бемольность русских твердых согласных обусловливается сужением фарингального прохода в результате сдвига тела языка назад и приближения корня языка к задней стенке зева» (Зубкова, стр. 41), то это определение еще не является адекватным описанием ДАО, потому что сужение фарингального резонатора может осуществляться на различных уровнях, в зависимости от различных конфигураций (которые настоятельно необходимо изучать и классифицировать), и давать путем комбинации с различными движениями губ и нижней челюсти различные тембры (гласных и, в конечном счете, призвуков) [4].

Следует подчеркнуть, что мы действительно имеем дело с ДАО только тогда, когда корень языка приближается к в е р х н е й части перегородки фарингальной смычки (задней стенки зева). Л. Г. Зубкова приводит цитату из Г. М. Фанта. Мы вынуждены воспроизвести эту цитату полностью, чтобы ее детально обсудить: «Низкое положение фокуса F_2 в спектре твердых губных Г. М. Фант прямо относит за счет „приближения задней части языка к фаринксу“. Именно эта „фарингализация“ и придает им,

[3] О. Б р о к, Очерк физиологии славянской речи («Энциклопедия славянской филологии», 5_2), СПб., 1910, стр. 18.

[4] Можно сослаться, например, на замечательные наблюдения Бодуэна де Куртенэ фарингальных гласных звуков языка резьян (славян, проживающих на территории Италии).

по мнению Г. М. Фанта, „особо сильную бемольность“ (Фант Г. М., Акустическая теория речеобразования. М., 1964, стр. 214).

Аналогичное „усиление бемольности“, характеризующее твердые плавные согласные, Г. М. Фант также объясняет сужением в области фаринкса: „...несмотря на фиксированное положение кончика языка, корень языка сохраняет достаточную свободу для того, чтобы приблизиться к верхней части фаринкса при произнесении [l] и [r]“ (стр. 160).

Изучая эффект бемольности, Г. М. Фант установил также, что „сужение язычного прохода ведет к сдвигу F_2 по шкале частот вниз только в том случае, когда этот проход расположен в задней полости модели, т. е. в области фаринкса. Если он расположен у язычка, его сужение не оказывает влияния“ (стр. 211).

Отсюда следует, что усиление „форманты твердости“ в спектре твердых согласных не может быть связано с подъемом задней части спинки языка по направлению к мягкому небу. Бемольность русских твердых согласных обусловливается сужением фарингального прохода в результате сдвига тела языка назад и приближения корня языка к задней стенке зева» (Зубкова, стр. 40—41).

Итак, Г. М. Фант прекрасно понимает, что для отвердения необходимо: сужение фарингальной полости; для [l] и [r] это достигается сближением корня языка с верхней частью фаринкса (задней частью зева); если имеет место максимальное сужение на слишком высоком уровне, на уровне язычка, т. е. мягкого неба (веляризация вместо фарингализации), то форманта F_2 не видоизменяется.

Если веляризацией называется подъем задней части языка к мягкому небу, то несомненно, что ДАО не может называться «веляризацией». Но если употреблять термин «фарингализация» для обозначения сужения фарингальной полости путем отодвигания назад языка по направлению к задней стенке зева, то ДАО никак нельзя называть просто «фарингализацией». Необходимо уточнить, обобщая сказанное Фантом о согласных [l] и [r], что именно в верхней части фаринкса (задней части зева) корень языка должен приближаться к задней стенке зева (высокая фарингализация). Поэтому теперь необходимо уточнить порог, артикуляторное положение, отправляясь от которого снижаются частоты форманты F_2, когда задняя часть языка, удаляясь от мягкого неба, приближается к верхней части задней стенки зева. Это позволило бы, без сомнения, более отчетливо определить контуры того, что называется «фарингальным резонатором». Гласный звук [ы], возможно, выступал бы тогда как [u], прошедший путем минимального, но обязательного смещения вперед тот порог, который разделяет высокую фарингализацию и веляризацию.

Определив понятие ДАО как высокую фарингализацию, мы отдаем себе отчет в том, почему в акустических и артикуляторных описаниях твердых согласных в течение столь долгого времени обращалось особое внимание на веляризацию: дело в том, что веляризация близка к высокой фарингализации, что и объясняет возможное смешение (или неразличение) этих двух артикуляторных движений.

В докладе на VII съезде славистов мы выступили против положения Л. В. Щербы о том, что тембр [ы] следует рассматривать как призвук твердых согласных. По нашему мнению, выбор этого тембра заводит исследователя в тупик как в сихроническом, так и в диахроническом плане. Мы предложили, следуя за такими языковедами, как Г. Суит, О. Брок и др., тембр [u]. Щерба сам, описывая призвук согласного [b] в русском слове *баба*, пришел к необходимости отказаться от тембра [ы] и заменить его

тембром [u] [5]. На коллоквиуме по русскому языкознанию мы предложили возможное объяснение этого расхождения между русскими и нерусскими фонетистами в выборе тембра призвука твердых согласных: первые ориентируются на тот факт, что [ы] — это единственный русский гласный, артикуляция которого отодвинута назад (мускульное ощущение), тогда как последние ориентируются на тембр, который они слышат (слуховое ощущение).

Л. Г. Зубкова, показав, что ДАО заключается в фарингализации, продолжает приписывать твердым согласным призвук [ы]: она это делает и на примере губных, где призвук [u] настолько отчетливо различается на слух, что здесь Щерба отказывается уже ориентироваться на [ы]. Л. Г. Зубкова пишет на стр. 67: «К первой группе (согласных, где различие между твердыми и мягкими — это главным образом различие в положении речевых органов.— *Ж. Д.*) прежде всего должны быть отнесены губные согласные, у которых различие между твердыми и мягкими сводится к изменению язычной артикуляции от [ы]-*образного положения* к [i]-образному».

В поддержку теории о призвуке [ы] можно было бы предложить следующий диахронический аргумент: если фарингализация, описанная для ДАО, действительно была столь же сильной в более древний период развития языка (а, по нашему мнению, только сильная фарингализация может объяснить переход от [e] к ['o] в таких последовательностях, как *нес, или же изменение тембра* на стыке слов в таких последовательностях, как *к Ире*, и т. д.), то эта фарингализация потом ослабела и стала простой веляризацией, причем профиль ДАО сблизился тогда с профилем [ы].

На это мы ответим, что в современном языке рефлекс древней фарингализованной ДАО в тех положениях, где она в большей или меньшей степени утрачена, есть: 1) либо ноль, т. е. твердый согласный теперь произносится как «нейтральный согласный» французского языка (ни палатализованный, ни фарингализованный) даже в ударном слоге; 2) либо относительно сильная лабиализация, которая производит аудитивно то же впечатление, что и древняя фарингализация (призвук [u]), хотя она и представляет радикально отличную артикуляцию. Имело место смещение артикуляции твердых согласных вперед, а участие губ, которые в прежнее время были гораздо менее активными, стало большим. Эти изменения могли бы послужить иллюстрацией гипотезы Бодуэна де Куртенэ о «постепенном выходе произношения наружу» [6].

Л. Г. Зубкова посвящает несколько абзацев демонстрации того, что веляризация не может рассматриваться как ДАО, соответствующая ДАС мягких согласных: «Итак, все вместе взятое: непоследовательность в проявлении веляризации, ее слабость, вторичный характер веляризации при образовании ряда согласных — не позволяет считать артикуляцию веляризации функционально равнозначной артикуляции палатализации» (стр. 35).

Согласно Л. Г. Зубковой, веляризация либо является неотъемлемой частью главной артикуляции твердого согласного, если речь идет о [š] и [ž], либо следствием какуминальности для [l] и [r], либо лабиальности (для губных).

С нашей точки зрения, [š] и [ž] отнюдь не являются двуфокусными согласными, занимающими особое место в системе согласных. То, что Л. В. Щерба рассматривает как задний фокус в артикуляции этих шипящих, для нас — характерный признак ДАО, т. е. проявление того обстоятель-

[5] Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, М., 1963, стр. 97.

[6] Бодуэн де Куртенэ. Избр. труды по общему языкознанию, М., 1963, стр. 127.

ства, что язык сочетает в передней части профиль, «характерный» для [š] и [ž], а в задней части высокую фарингализацию ДАО.

Что касается других согласных, то, если дана минимальная разница (причем еще научно не определенная) между веляризацией и высокой фарингализацией, лучше всего искать аргументы в пользу такой фарингализации, как ДАО (и против веляризации) в различии тембра между [ы] и [u], в изучении характерного артикуляторного полиморфизма для гласного [u], в истории русского языка и диалектологии, а не в весьма проблематичных соображениях относительно взаимосвязи между лабиальностью, какуминальностью и велярностью.

По поводу лабиализации Л. Г. Зубкова привлекает измерения и чертежи из альбома Л. Г. Скалозуб [7] и отмечает, что все твердые согласные, которые обнаруживают сдвиг назад и заметный подъем языка, характеризуются более или менее значительной лабиализацией. Но эта лабиализация остается очень плохо определенной. Идет ли здесь речь о «свободной» и «симметрической» лабиализации, т. е. такой, какую мы находим во французском языке (с движениями губ как по «горизонтали», так и по «вертикали»)? Или же речь идет об «обусловленной» лабиализации, слабой и асимметричной, которая требует гораздо большей активности от нижней губы и углов рта, чем от совокупности кругообразных мышц рта.

В общем плане надо сказать, что для русской речи характерна слабая активность губ. Приведем следующие аргументы: 1) [v] очень долгое время оставался двугубным фрикативным, прежде чем стал смычным; 2) [f] все еще представляет собой «трудный звук» для многих диалектов; 3) многие языки лабиализуют гласный [u] в гораздо большей степени, чем русский.

Обсудив проблему твердых согласных и ДАО, мы хотели бы обратиться теперь к проблеме мягких согласных и ДАС.

Среди других славянских языков русский — это язык, который наиболее последовательно развивал противопоставление «твердость — мягкость» согласных. Можно даже сказать, что это единственный славянский язык, в котором имеются подлинные твердые согласные и, следовательно, настоящие мягкие согласные. В фонетических описаниях русского языка всегда уделяют большое внимание противопоставлению твердых — смягченных, причем с явным нарушением равновесия между тем, что относится к смягчению (всегда трактующемуся очень обстоятельно), и тем, что относится к твердости (описывается более поверхностно). Одним из больших достоинств книги Л. Г. Зубковой является то, что у читателя не создается впечатления о подобном нарушении равновесия между этими двумя вопросами.

Но напрасно искали бы мы в ее книге разъяснение явления, которое, по нашему мнению, было бы чрезвычайно важно включить в описание фонетической реализации оппозиций согласных в русском языке, а именно существования таких звуковых последовательностей, как *нья*, *тьё*, *бью* и т. д. Русский язык — единственный из славянских языков, который может отчетливо различать такие моносиллабические группы, как *на*, *ня* и *нья*. В украинском и белорусском языках, очень близких, мы находим *на*, *ня* и *ння* с геминацией согласных. Конечно, сходство в графическом изображении русских *на*, *ня* и *на*, *ня* в украинском и белорусском языках явно скрывает разные фонетические реализации. В данный момент мы не будем пытаться их описывать. Совершенно несомненно, что русский имеет три возможности коартикуляции для [n] и [a], тогда как украинский и

[7] Л. Г. Скалозуб, Палатограммы и рентгенограммы согласных фонем русского литературного языка, Киев, 1963.

белорусский имеют только две (если не считать геминацию, которая не является коартикуляцией другого рода, а лишь включением фактора времени). Заметим, между прочим, что в марийском языке, языке неславянском, отсутствие тройной возможности артикуляторного различия требует геминации согласного (*платье — платтьӧ*), несмотря на то, что артикуляционная база марийского решительно отличается от артикуляционной базы белорусского и украинского языков.

Что означает сосуществование в одном и том же состоянии языка таких моносиллабических элементов, как С*о*, С*ё* и С*ьё*? Это означает, что в русском языке амплитуда «горизонтального» варьирования между самой задней, или самой фарингальной группой С*о* и группой наиболее палатализованной, С*ьё*, или между согласной, наиболее отвердевшей, и согласной, наиболее палатализованной, такова, что она позволяет легко разграничивать все эти три последовательности: есть достаточно большая разница между первым элементом и вторым, а также вторым и третьим для того, чтобы слух легко улавливал это различие. В других восточных славянских языках эта амплитуда значительно меньше, причем эти языки, каждый по-своему, ввели инновации, удваивая согласный в тех слогах, в которых в русском языке мы находим йотированный согласный + гласный.

Как можно охарактеризовать дополнительные артикуляции для различных согласных трех групп?

Мы определили ДАО последовательностей CV как высокую фарингализацию, соответствующую тембру [u], или в конечном счете как передний рефлекс этой высокой фарингализации, т. е. как лабиализацию, которая также соответствует тембру [u]. Мы должны добавить, чтобы дать полную картину, что, как нам представляется, в современном русском языке ДАО часто даже в ударном слоге может сокращаться до нуля; это приводит к тому, что согласный произносится как французский согласный, т. е. что он фонетически «никакой» по отношению к противопоставлению твердых — мягких (в строгом смысле слова «противопоставление»).

Можно определить артикуляцию палатализации последовательностей типа *нья* как артикуляцию н а п р я ж е н н о г о й о т а. Этот термин в настоящее время употребляется русскими фонетистами по противопоставлению ненапряженному йоту, который фигурирует в неударных слогах. Первый обозначается символом [j], второй [i̯] или [u̯] [8]. В зависимости от того, является ли напряженный йот «более или менее напряженным», язык соприкасается более или менее узко с твердым небом, но он никогда не может настолько отдалиться от нёба, чтобы в результате получился только тембр [i] (т. е. голос без шума).

Ненапряженный гласный [i̯] представляет меньший подъем языка к твердому нёбу. Это не согласный в собственном смысле слова, а глайд, т. е. он обладает артикуляцией, подобной той, которую мы находим в гласных; однако он не имеет вокалической длительности гласного и не образует слога.

Вообще может иметь место большая амплитуда различий между [i̯] и другим звуком, в зависимости от его вокалического окружения. Так, например, А. И. Томсон обратил внимание на следующее обстоятельство: «Под влиянием написания *ai*, мы слышим нередко *ai̯* там, где в действительности *ae̯*, например, в *Айвазовский*. Вообще мы склонны слышать, насколь-

[8] Е. А. Брызгунова, Практическая фонетика и интонация русского языка, М., 1963, стр. 125—127; е е ж е, Звуки и интонация русской речи, М., 1969, стр. 19—20.

ко это возможно, те звуки, которые соответствуют готовым в нас представлениям» [9].

На основании вышеизложенного мы можем считать установленным, что: 1) для ДАО (т. е. для таких последовательностей, как Со) имеет место высокая фарингализация, дающая тембр [u] при минимальном огублении и минимальном угле нижней челюсти; 2) для дополнительной артикуляции йотизации (ДАЙ) (т. е. таких последовательностей, как Сьё) имеет место другая, тоже точно определенная позиция: высокая палатализация, необходимая для того, чтобы можно было произнести согласный [j].

Теперь нам остается объяснить, как мы себе представляем ДАС для таких последовательностей, как *Сё*, *ня* и т. д.

По нашему мнению, тогда как ДАО и ДАЙ являются, во всяком случае при возникновении оппозиции твердых — мягких (мы не говорим о русском языке в его современном состоянии, в том виде, в каком мы его слышим в больших городах), своего рода абсолютными категориями, точными, легко фиксируемыми и объективно определяемыми артикуляциями, ДАС — явление относительное: дополнительная артикуляция смягчения согласного в последовательностях C'V является функцией последующего гласного. Важно только обратить внимание на эффект контраста, т. е. на то, что перцептивный результат (впечатление смягчения) получается, как только между согласным и гласным возникает более палатальный глайд (язык более «высок» и продвинут вперед), чем сам гласный.

Несмотря на наличие обширной и важной литературы на эту тему, подлинная природа ДАС остается еще неопределенной. Р. И. Аванесов говорит в данном случае о «дополнительной *i*-образной артикуляции» [10], Л. В. Щерба об «окраске на *i*» — точно так же, как он говорит для твердых согласных об «окраске на *ы*», указывая при этом, что это «не совсем точно» [11]. У А. Н. Гвоздева мы встречаем следующий абзац, правда, к сожалению, слишком короткий: «Не вполне однородна мягкость согласных перед разными гласными, она ярче сказывается перед *и* и слабее перед *е* и задними гласными, например: *м'ил*, *м'ел*, *м'ол* (*мёл*), *м'ал* (*мял*); *дикий*, *дело*, *дядя*, *дюжий*; *рис*, *рёв*, *ряд*, *рюмка*» [12].

По этому поводу в книге Л. Г. Зубковой находим: «Поскольку в положении перед [a], [o], [u] русские мягкие согласные выступают в своих наиболее палатализованных оттенках, их мягкость в этой позиции легче воспринимается и воспроизводится нерусскими, чем в сочетаниях с последующим гласным [i], [e]» (стр. 89).

Это наблюдение прямо противоположно тому, что сказано у А. Н. Гвоздева. Кто прав? Все зависит от определения, которое Гвоздев давал мягкости. Если он под этим понимал степень продвижения и подъема языка, т. е. палатализацию, он был прав, потому что, как мы увидим ниже, палатализация мягкого согласного по необходимости более сильная (если согласный действительно смягченный).

Поскольку мы считаем, что смягчение есть только результат контраста, то мы имеем все основания утверждать следующее: именно перед гласными [a], [o], [u] и осуществляется в наиболее полном своем проявлении э ф-

[9] А. И. Томсон, Фонетические этюды. Варшава, 1905, стр. 7.

[10] Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 148, 151, 155, 158 и т. д.

[11] Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, стр. 59, 60 и др.

[12] А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, ч. 1, М., 1967, стр. 21.

ф е к т с м я г ч е н и я, но именно перед этими гласными, теоретически и практически, палатализация согласных оказывается наиболее слабой.

Поэтому необходимо было бы следующим образом переформулировать положение Л. Г. Зубковой: «Поскольку в положении перед [a], [o], [u] русские мягкие согласные выступают в своих более к о н т р а с т н ы х оттенках, их мягкость в этой позиции легче воспринимается и т. д....».

О. Брок в своем «Очерке физиологии славянской речи» и в «Описании одного говора из юго-западной части Тотемского уезда» (СПб., 1907), по всей вероятности, ближе, чем какой-либо другой фонетист, подошел к точному определению ДАС. Очень жаль, что его открытия остались потом практически мертвой буквой. Вот что Брок пишет на стр. 151 «Очерка»: «Под степенью палатализации понимаем артикуляторно ту относительную энергию, с которой происходит концентрация языкового тела по направлению к переднему нёбу, т. е. практически по направлению к [j],— акустически же ту относительную высоту собственного звука, которой достигает „мягкий“ согласный». И на стр. 152: «При отсутствии категорической разницы между „твердыми“ и „мягкими“ согласными, в произношении, например, *mi — mê — me — mä — ma*, переход от *m* в следующий гласный происходит всюду без заметного между ними чужого гласного элемента; *m* приравнено к гласному, что можно обозначить экспонентом так: $\overset{\imath}{m}i$, $\overset{e}{m}e$, $\overset{a}{m}ä$ и т. д. Иначе в языках с „палатализацией“ в узком смысле. Сравнение, например, великорусских *мир — мѣр — мять — мят* или *пить — пѣть — пѣт — пять — пят* показывает, что губной не приравнен в каждом случае к следующему гласному, но имеет отчасти высшее положение языка, чем свойственно гласному, и поэтому звучит между ними переходный гласный элемент характера *i* или *e*. Разные наречия выказывают не одну и ту же степень; в одном имеем, например, $\overset{i}{m}i$, $\overset{\hat{e}}{m}\hat{e}$ с приравнением, но $\overset{\hat{e}}{m}e$; в другом, может быть $\overset{i}{m}i$, но уже $\overset{i}{m}\hat{e}$, в третьем зато $\overset{i}{m}i$, $\overset{\hat{e}}{m}\hat{e}$, $\overset{e}{m}e$ — а лишь при $\overset{e}{m}ä$, $\overset{e}{p}ä$ и т. д. Такое простое сравнение позволяет установить для губных *ê*-овую, *i*-овую, *e*-овую и т. д. степень палатализации. Понятно, что может развиться и степень выше *i*, до фрикативного *j*,— даже, можно сказать, до полного затвора передней спинкой языка о твердое нёбо; с этим нужно считаться при объяснении развивающихся нередко *n̯*, *l̯* в случаях как *мнясо*, *мљезинац* (при *mje-*, *me-*)» [13].

Этот анализ показывает относительный характер, который является определяющим для того, что мы называем палатализацией согласных в русском языке. Брок не приписал своему открытию всего того значения, которое оно безусловно имело. Когда он указывает, что «в галицком малорусском произношении губные указывают на степень *i*-овую», он этой констатацией и ограничивается. Нам это наблюдение дает ключ для описания всего украинского консонантизма: оно означает, что украинский язык не имеет собственно мягких согласных (т. е. таких согласных, палатализация которых с о о т н о с и т е л ь н а с п о с л е д у ю щ и м г л а с н ы м), а также и подлинных твердых согласных (в качестве одного из доказательств можно привести то, что ничего не происходит в плане сандхи между «твердым» согласным и начальным *і*; в такой фразе, как *сім іграшок*, например, начальное [і] второго слова остается как [і], тогда как по-русски [і] на стыке слов после твердых согласных отодвигается назад и становится [ы]), что исключает возможность противопоставления трех односложных элементов, состоящих из «согласного + ДАО», «согласного + + ДАС», и «согласного + ДАЙ».

[13] *ê* — переднее [e]; *e* — заднее [e]; *ä* — переднее [a]; *a* — заднее [a].

Поэтому необходимо вернуться к учению Брока в том состоянии, в каком он его оставил, и попытаться придать этому учению то дальнейшее развитие, которого оно настоятельно требует.

1. Мягкость отличается от йотизации (йотации) в том смысле, что это относительное явление, основанное на контрасте, а не явление абсолютное, основанное на существовании уникальной степени палатализации (например, [i̯] для французского, так же как и для большей части романских языков; и [j] в ударном слоге для русского языка).

Этому соответствует наличие [j] и [i̯] в этимологии русских звуковых последовательностей, состоящих из «согласных + ДАЙ», тогда как этимология последовательностей, состоящих из «согласный + ДАС», дает очень пеструю картину: древний назальный [A], древний [ѣ], древний [e], древний [ь], [u], которому предшествует уже на более древнем этапе [e], древний [i], [a] после [l] в иностранных словах и т. д.

2. Эффект контраста обусловливается существованием между согласным и следующим гласным глайда, или переходного вокалического звука, у которого степень палатализации более сильна, чем у последующего гласного.

3. Этот глайд не имеет вокалической длительности (его артикуляция и «характерная» артикуляция согласного являются синхронными, как мы уже объяснили выше), за исключением особых случаев «растягивания», примеры которого можно найти в выразительной устной речи, особенно в диалектах. Мы, например, обратили внимание на произношение *едят*, как [i̯edēat], с удлинением [e], следующего за [d]. Мы определяем артикуляторно этот глайд так: мягкий согласный, благодаря пластичности голосообразующих речевых органов и в особенности языка, объединяет (комбинирует) характерную («нейтральную») артикуляцию согласного с артикуляцией переднего гласного, степень палатальности которого превосходит палатальность полного гласного в группе C'V.

В большинстве случаев (для [a], [o], [u] вплоть до заднего [e.]) представляется возможным считать, что степень палатализации, типичная для русской ДАС,— это переднее [.e]. Контраст действительно слаб между передним [.e] и задним [e.], но тем не менее этот контраст является достаточным. В этом легко убедиться, произнеся слово *бел* как [bee̯l]. К аннулированию эффекта смягчения привела бы полная аккомодация [b] по отношению к [ɛ], т. е. такой тип коартикуляции, который сделал бы совершенно синхронными разрыв билабиальной смычки и образование тембра заднего [e.], получившегося вследствие очень низкой позиции и очень сильного сдвига языка назад без вогнутости.

Теоретически рассуждая (и Брок об этом говорит, давая транскрипцию типа [mɛə̈], причем нельзя не задуматься, почему он не предпочел этой транскрипции транскрипцию [mɛa], где контраст был бы несравненно более сильным), возможность ДАС, ориентированного на [ɛ] (или [e.] заднее), существует для групп C'*a*, C'*a*C, C'*a*C'. Трудно установить, существует ли эта реализация или нет, особенно вследствие характера прерывности — непрерывности перехода [.e] к [e.]. Что же касается C'*o* и C'*u*, то эта возможность также теоретически существует. На слух впечатление такое, что здесь это скорее [.e], чем [e.], которое определяет ДАС.

Во всяком случае употребление глайда [i̯] вместо [e̯] в слогах C'*a*, C'*o*, C'*u* не соответствовало бы русской норме, а скорее всего норме белорусской или украинской. Между глайдом, менее палатализованным, чем [i̯], и глайдом, более палатализованным, чем [e̯], имеется возможность бесконечного количества нюансов. Все знают, что русские гласные, в отличие от французских гласных, покрывают бо́льшие зоны частот. Русский язык в образовании своих гласных не определяет столь же точно положение ар-

тикулирующих органов, как французский язык; вокалические выдержки в русском языке гораздо менее ясны.

Тот факт, что главное противопоставление русского языка (С—С') основывается на относительном контрасте, может объяснить (так же как и изменение тембра гласных в соответствии с их положением, т. е. CV или C'V), почему пять основных вокалических артикуляций так трудно определить, почему нюансы гласных столь многочисленны в этом языке [14].

Мы еще не говорили о слогах, состоящих из согласного + [.e] и согласного + [i]. Если мы примем во внимание, что [.e] — типическая степень палатализации для мягких согласных, то увидим, что это допускает реализацию эффекта смягчения в слогах типа «согласный + [e.]», но уже не допускает его в слогах, состоящих из согласного + [.e] (т. е. фактически С'*е*С', потому что в группах С'*е*С и С'*е* тембр [e] при полной реализации не является звуком [.e], а [e.] или в крайнем случае централизованным [e], как в *лисе*) и согласного + [i].

Эти два тембра, [.e] и [i], ставят проблему, являющуюся очень существенной для серии CV, C'V, C*j*V. Для того чтобы результат контраста, свойственного группам C'V, был получен, для групп С'*е*С' необходим глайд [i], а также чтобы в слогах С'*і* гласному [i] предшествовал согласный [j], ибо только он является более палатализованным, чем [i].

Что касается слогов С'*е*С', нетрудно понять, что именно путем контаминации со слогами С'*е* и С'*е*С (которые часто сосуществуют с С'*е*С' внутри той же грамматической парадигмы) и возникла артикуляция, представляющая более палатализованный глайд, чем [e]. В таком слоге, как [m'e] в *имели*, [m'] более палатализован, чем в таком слове, как *имел*. Но это не ставит перед исследователем каких-либо дополнительных проблем, так как со времени появления слогов типа С'*е* [т. е., по нашему мнению, с того момента, когда произошла трансформация слогов С$\bar{е}$ (= СЪ) в слоги типа С$\underset{\smile}{е}\varepsilon$, независимо от того, одинаковой ли они длины, что и слоги Се: [e] $<$ $<$ *е* или *ь*] в русском языке уже существовали слоги типа С$\underset{\smile}{е}\varepsilon$ (перед твердым согласным и в исходе слова) и типа С$\underset{\smile}{і}е$ (перед мягким согласным).

Для таких слогов, как «согласный + [i]» возникает проблема, потому что легко себе представить стабильную тройную оппозицию, а именно: С*ы* с «твердым согласным» + [i]; С*и* с «согласным с аккомодацией на [i] + + [i]»; С*ьи* с «йотированным согласным» + [i].

Можно полагать, что переход «аккомодированного согласного +[i]» в «мягкий согласный + [i]» уменьшает разрыв между слогами С*и* и слогами С*ьи*. Следовательно, язык должен был долго сопротивляться этому переходу.

Каким образом, пользуясь методами, которые мы применяли, можно характеризовать разницу в артикуляции слогов С*и* и С*ьи*? Поскольку в в слоге С'*і* глайд является по необходимости более палатальным, чем [i], мы не имеем больше никаких возможностей, кроме написания ДАС = = ДАЙ, что совершенно ясно указывает на уменьшение разрыва между С*и* и С*ьи*. Если мы прислушаемся к тщательному произношению в таких слогах, как *дьи* в *бадьи* или *тьи* в *статьи*, мы легко поймем, что говорящий имеет тенденцию разъединять артикуляцию согласного и артикуляцию гласного, что неизбежно влечет за собой своего рода зияние, разрыв, который можно сравнить с разрывом, характеризующим произношение первого слога в такой последовательности, как *с их сестрой*. Требуется минимальная остановка во времени на согласном: он не только не аккомо-

[14] Л. А. Вербицкая, О звуковых эталонах русской речи, сб. «Вопросы фонетики», Л., 1964 («Уч. зап. ЛГУ», 325. Серия филол. наук, 69).

дирует со следующим [j], но остается в позиции «нейтрального согласного», конечно, без высокой фарингализации, но также и без синхронного ДАЙ. Коартикуляция, таким образом, оказывается другой. Мы получаем: С*и* = = «йотированный согласный» + [i]; С*ьи* =«нейтральный согласный» + + [j] + [i].

Возможно, здесь снова перед нами явление относительного контраста: искомый эффект будет получен, если перед [ji] появится менее палатализованный глайд (неважно какой), чем согласный [j]. Это значит, что эффект контраста оказывается обратным по сравнению с тем, который, как мы думали, обнаруживается в слогах C'V. Глайд может варьироваться, начиная от неоднократно обсуждавшегося [u̯], который определяется как ДАО (в таких последовательностях, как *с их сестрой*) и кончая [e̯], [ə̯] или даже, теоретически рассуждая, вплоть до [i̯].

Для других гласных, кроме [i], в особенности задних, мы имеем следующую картину: С*я* = «согласный, палатализованный на [e]» + [a]; С*ья* =«согласный, палатализованный на [j]» + [a].

Тем не менее нельзя считать невозможным предположение, что способ произношения слогов типа С*ьи*, фигурирующих в грамматической парадигме, приобретает общий характер, т. е. распространяется на всю парадигму и контаминирует тем или иным способом артикуляции того же типа, содержащие другие гласные. Это могло бы объяснить то обстоятельство, что произношение таких слогов, как *бья*, *вьё*, внутри морфемы [15] может походить на произношение слогов, написанных по-русски с ъ между согласным и гласным (границы морфем), как *подъем*, или слогов, фигурирующих в качестве членов сандхи, в таких случаях, как *в ярости*.

Тот факт, что эффект контраста, наблюдаемый в таких последовательностях, как С*ьи*, является обратным по отношению к эффекту контраста, наблюдаемому в группах, состоящих из «мягкого согласного + гласный», может объяснить крайнюю сложность тех явлений, которые наблюдаются в словах типа *вьюга*, *побьем*, *объем*, *съесть* и т. д., а также в случаях сандхи.

Эта модель, представленная в настоящее время сочетаниями С*ьё*, С*ья*, С*ье* и др. с согласным, менее палатализованным, чем [j], перед [j], всегда существовала в языке. Первоначально ее находили только в случаях сандхи (твердый конечный гласный перед начальным [j]) и на границе морфем. Затем после отвердения [š] и [ž] она встречается в таких последовательностях, как *шьем*, внутри морфем (хотя некоторые сочтут, что и здесь мы имеем дело с границей морфем, с морфемным швом). Тот факт, что теперь ее находят внутри морфем после другого согласного, чем [š] или [ž], по-видимому, показывает крайнее проявление процесса установления оппозиции твердых — мягких согласных (смягчение полумягких перед [i] мы рассматриваем как недавнее).

Говоря о ДАО, мы не затрагивали вопроса о диахронии. Обратимся теперь хотя бы кратко к проблеме смягчения полумягких вообще.

По нашему мнению, в истории русского языка слоги, состоящие из «согласного + [e]», с [e], произошедшем не из Ѣ, оставались в течение долгого времени за пределами подлинного противопоставления твердых — мягких. Дело заключалось в том, что слоги «согласный + [e]» с [e] < Ѣ противопоставлялись слогам «согласный + [e]», где [e] имеет другое происхождение, как С*ы* =«твердый согласный» + [i] противопостав-

[15] М. Я. Гловинская, Сочетание губных и зубных с ‹j›, сб. «Русский язык по данным массового обследования», М., 1974, стр. 75—79.

лялся C*i* = «согласный с аккомодацией на [i]» + [i]; CѢ = «мягкий согласный» + [e]; C*e* =«согласный с аккомодацией на [e]» + [e].

Таким образом, для слогов «согласный + [e]» в данный ряд C'*e* входили только слоги с [e] < Ѣ, причем Ѣ несомненно уже на очень ранней стадии дифтонгизировался в e̯ɛ (это то, что можно было бы назвать первым смягчением полумягких, причем оно не касалось бы в с е х передних г л а с н ы х, как это обычно утверждается в исторических грамматиках). В слогах с [*e*] < [e] или ь эффект контраста не существовал (совершенно исключено, чтобы ь, полностью вокализуясь, т. е. фактически удлиняясь и становясь более открытым, мог бы в то же время оказывать на предшествующий согласный столь сложное воздействие). Тем не менее нельзя было бы называть согласный, предшествующий [e] < *e* и ь, «твердым» согласным. В «Грамматике» Адодурова произношение слова *естество* дано без эффекта контраста во втором слоге, причем [t] не было твердым звуком с ДАО: это было [t], которое аккомодировалось с [e] [16].

Итак, по-видимому, необходимо разделить то, что исторические грамматики называют «смягчением полумягких», на два радикально различных этапа: первое смягчение относится только к дифтонгизации Ѣ (+ *ē*) в e̯ɛ, что влечет за собой возникновение второй подлинной артикуляции «мягкий согласный + гласный» (первой подлинной артикуляцией «мягкий согласный + гласный» является, видимо, слог «мягкий согласный + + [.a]», который возник во время деназализации Ѧ в слогах типа (CѦ).

Эти слоги —«мягкий согласный + [e]»,— которые можно обозначить как C'ɛ (или C*i*e перед другим мягким согласным), стали противопоставляться слогам «согласный с аккомодацией на [e] + [e]», где [e] происходил *из древнего e или ь, подобно тому, как они и теперь противопоставляются* в некоторых диалектах, которые не смешивают, например, форму *вей* от глагола *веять* с формой *вей* от глагола *вить* (что представляет собой важное наблюдение, сделанное С. С. Высотским при изучении им диалекта Калужской области, Хвастовического района).

Это первое смягчение полумягких должно было произойти давно — после падения редуцированных гласных и перехода в [e] сильного ь; только этим смягчением могло осуществляться различение между [e], происходящим из Ѣ, и [e], происходящим из *e* или ь, если не предположить, что разница в долготе сохранялась между теми и другими [17].

Второе смягчение полумягких, которое превращает согласные перед [e], происшедшим из древнего *e* и из ь, и согласные перед [i] в подлинные мягкие согласные (представляющие не простую аккомодацию, но э ф ф е к т к о н т р а с т а), имело место очень поздно под давлением системы оппозиции твердых — мягких, а в тех диалектах, где противопоставление твердых — мягких не было достаточно развито (например, там, где согласные не противопоставлялись в конце слова), оно просто не имело места. По нашему мнению, неправильно представлять произношение C*e* и C*i* просто как результат аккомодации с согласными. Произношение «средних» согласных перед [e] и [i] в некоторых русских диалектах (так же как и в ряде славянских языков) представляет собой д р е в н ю ю ч е р т у, а не инновацию.

Итак, перед вторым смягчением полумягких в русском языке имелись не три взаимопротивопоставляемых однослога с тембром [e], а четыре:

---

[16] Б. А. У с п е н с к и й, Первая грамматика русского языка на родном языке, ВЯ, 1972, 6, стр. 95.

[17] Долгота /ē:/ как ее материальное качество могла долго сохраняться, но в новой системе после падения редуцированных этот признак становился фонологически несущественным, избыточным (К. В. Г о р ш к о в а, Очерки диалектологии Северной Руси, М., 1968, стр. 117).

1) Сѣ = С'*е* с мягким согласным перед [e]; 2) С*е* с согласным, который просто подвергся аккомодации по отношению к [e] + [e]; 3) С*ье* = согласный с ДАЙ + [j] + [e]; 4) твердый согласный с ДАО + [e] — в случаях сандхи (*с этим*) или после согласных [š], [ž] и [c], или же при перечислении (явление очень своеобразное с фонетической точки зрения) букв алфавита (*Б*, *В*, *Г*, *З* и др...). Мы здесь не говорим о различных нюансах этих [e] в соответствии с их окружением, но только о коартикуляции.

Эта четырехмерная оппозиция в пределах одного языка, которая в случаях других гласных имела только тройную оппозицию в своей системе [18], дальше осложнялась еще не только редкими последовательностями, такими, как *с ером*, *о ружье* (твердый согласный + [j] + [e]), но также заимствованием иностранных слов, содержащих «согласный + [e]». Она должна была упроститься: 1) все [e], происходящие из *ъ* и древнего *е*, стали трактоваться как древние ѣ, т. е. согласный, который им предшествовал, стал мягким (мы называем это явление вторым смягчением полумягких перед [e]); 2) в словах иностранного происхождения наблюдается произношение «твердый согласный + [e]»; *мэр*, *пэр*, *сэр* и т. п.

Но если первый случай реально функционирует в настоящее время, то второй представляет картину весьма разнообразную. Такое слово, как *стенд*, например, произносится либо с подлинным твердым [t] (произношение довольно редкое), либо с аккомодацией [t] к [e] (культурное произношение), либо с подлинным смягчением [t'], т. е. с глайдом [e̯] перед [e.] (нерекомендуемое произношение, т. е. просторечие).

Слоги, состоящие из «согласного + [i]», если их рассматривать до второго смягчения полумягких, представляли другую проблему. Речь идет о: С*ы* с «твердым согласным + [i]»; С*и* с аккомодацией С на [i]; С*ьи* с [j], напряженным перед [i] для таких слов, как *бадьи*, но также, при сандхи, для групп с «конечным мягким согласным слова + *их*, *им* или *ими*» (единственный случай, когда мы имеем начальное йотированное [i]). Итак, мы имеем картину, достаточно близкую к той, которая реализуется, например, для слогов С*о*, С*ё* и С*ьё*, хотя она от нее и отличается. Подлинное (и единственное) смягчение полумягких согласных перед [i] возникло в результате соотнесения согласных перед [i] с мягкими согласными перед [e], [a], [u] и [o] (эффект контраста). Это произошло просто под давлением системы, а не вследствие необходимости упрощения ряда из четырех элементов в ряд из трех элементов. Поэтому есть определенные основания считать, что смягчение согласных перед [i] оказывается хронологически последним, когда вся совокупность артикуляции С'*е*, С'*а*, С'*и*, С'*о* оказывает давление на «согласный + [i]», в результате чего этот слог С$\overset{i}{}$*i* переходит в С'*i*.

Перевел с французского *Д. А. Меленчук*

[18] Ср.: А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 138.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

А. Л. ПУМПЯНСКИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Научно-техническая революция сопряжена не только с естественными, но и гуманитарными науками, которые все активнее вовлекаются в народнохозяйственные усилия, способствуют ускорению научно-технического прогресса. Достижения науки и техники влияют на промышленную и общую культуру, а также мышление современного общества. Интенсивное развитие научного и технического мышления неразрывно связано с величайшим достижением социальной эволюции человека — его языком, который дает человеку возможность выражать и понимать новые мысли, обусловленные его техническим и культурным развитием. Функциональный стиль научной и технической литературы является наиболее характерным лингвистическим индикатором современной эпохи развития человечества. Сфера его применения расширяется пропорционально ускорению темпов научно-технического прогресса. В настоящее время описание системы многих современных языков уже не мыслится без учета этого стиля и его роли в жизни современного общества [1].

Существуют два метода исследования этого стиля: монолингвистический и билингвистический. Монолингвистическое исследование функционального стиля языка науки и техники выявляет его сходство и расхождение с другими функциональными стилями того же языка (разговорным, общественно-политическим, официально-деловым, художественным). Билингвистическое исследование функционального стиля научной и технической литературы сопряжено с языком науки и техники двух (или более) языков. Этот метод имеет большое значение для социолингвистики [2] и принципиально отличается от методов, принятых в сравнительном языкознании. В нашем случае объектом билингвистического исследования является не изучение языковых явлений на разных уровнях (фонем, морфем, лексем) в целях выявления языковых соответствий и истории их развития, а поиск языковых и речевых эквивален-

[1] См., например: А. К. Демидова, Функциональные стили литературного языка, сб. «Шестой всесоюзный семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы», Москва — Баку, 1972; О. С. Ахманова, М. М. Глушко и др., Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования, М., 1974; А. Л. Пумпянский, Функциональный стиль научной и технической литературы, в кн.: «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972; его же, Функциональный стиль научной и технической литературы как средство массовой информации современного общества, в кн.: «Предмет семиотики», М., 1975; см. также сб. «Первая всесоюзная конференция по теории и практике перевода (Функциональный стиль научной и технической литературы). Тезисы докладов», Каунас, 1975 (далее — Каунас, 1975).

[2] См.: Ю. Д. Дешериев, Проблема функционального развития языка и задачи социолингвистики, в кн.: «Язык и общество», М., 1968, стр. 80; его же, Научно-техническая революция и проблемы терминологии, в кн.: «Социолингвистические проблемы развивающихся стран», М., 1975, стр. 261; сб. «Билингвистические исследования функционального стиля научной и технической литературы. Тезисы докладов», Баку, 1974.

тов научной и технической мысли при билингвистической речевой деятельности (переводе).

Некоторое время считалось, что указанные цели могут быть достигнуты при помощи статистических, математических или «математизированных» методов. Много также говорилось о перспективности машинного перевода научной и технической литературы. Однако постепенно выяснилось, что эти методы, некритически перенесенные из точных наук в лингвистику, могут обеспечить данные, представляющие для лингвистики лишь второстепенный интерес. Например, анализ научных и технических текстов при помощи электронно-вычислительных машин может, в основном, выдать только первичную релевантную информацию о тематической направленности этих текстов, но не может обеспечить точный перевод научной и технической мысли. Стало очевидным, что надежные и перспективные результаты можно обеспечить только путем накопления и логического анализа репрезентативного лингвистического материала, а не структурной диссекцией текстов, лишенной семантической осмысленности [3]. Между монолингвистическими и билингвистическими исследованиями значений (смыслов) языковых и речевых элементов, характерных для функционального стиля научной и технической литературы, существует тесная взаимосвязь. Билингвистические исследования облегчаются результатами монолингвистических исследований и в свою очередь позволяют вскрывать и описывать закономерности, выявление которых недоступно или затруднено в пределах одного языка. Фронтальное билингвистическое исследование закономерностей функционального стиля английской и русской научной и технической литературы дало возможность получить сопоставительные данные, которые легли в основу как теоретических положений, так и практических рекомендаций по переводу научной и технической литературы с английского языка на русский и с русского языка на английский [4].

Показано, что в основе орфоэпической нормы, лексического состава, грамматического строя и способа изложения материала функционального стиля научной и технической литературы лежат нормы письменного литературного языка с определенными общими и частными характеристиками. Описан формально-логический (коллективный) способ изложения научной и технической мысли, специфичный как для естественно-технических, так и гуманитарных наук. Показано, что для точного понимания научной и технической информации недостаточно знать только специальные термины, необходимо также хорошо владеть закомерностями их языкового окружения. В отличие от других лексем, термин является носителем огромной информации, которая при незнании или неправильном понимании ее языкового окружения с легкостью превращается в дезинформацию [5]. И, наоборот, доказано, что знание языкового окружения терминов позволяет делать переводы научной и технической литературы, стилистически превосходящие оригиналы.

---

[3] См.: Ф. П. Филин, К проблеме социальной обусловленности языка, ВЯ, 1966, 4; О. С. Ахманова, Естественный человеческий язык как объект научного исследования, «Ин. яз. в шк.», 1969, 2; В. Г. Адмони, Языкознание на переломе?, «Ин. яз. в шк.», 1968, 3.

[4] См. библиографию в кн. автора «Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе» (М., 1974, стр. 236—243).

[5] Еще в 1940 г. Л. В. Щерба писал: «Следует подчеркнуть ошибочность мнения, будто технические термины составляют главную трудность при чтении специальных иностранных текстов: плохое знание общего языка — вот истинная причина трудности понимания специальных текстов» (Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3).

Монолингвистические и билингвистические исследования функционального стиля научной и технической литературы, использующие классические методы языкознания, показали, что языковые категории нейтральности, многозначности, полифункциональности и универсальности проявляются по-разному в общеязыковом плане и в функциональных стилях, в частности, в функциональном стиле научной и технической литературы. Классические методы языкознания призваны в первую очередь решать кардинальную проблему общего языкознания — проблему многозначности языковых единиц. «...многозначность слова, широкая лексическая, синтаксическая и и стилистическая синонимика — характернейшие особенности любого современного языка, особенно языка с богатой литературно-письменной традицией» [6]. Исходя из общего положения об ограниченности языковых средств и безграничности значений (смыслов), можно констатировать, что в любом функциональном стиле применяется система многозначных и полифункциональных языковых средств, присущая данному литературному языку, однозначность (монофункциональность) которых в каждом стиле обусловлена преобладанием одних значений (смыслов) и меньшим удельным весом других. Отсюда следует, что формальное совпадение языковых средств разных функциональных стилей отнюдь не свидетельствует об их нейтральной или нулевой стилистической характеристике, так как они выполняют разные коммуникативные задания. В связи с этим для точного понимания научной и технической мысли необходимо вычленять конкретные значения (смыслы) языковых единиц, присущие недавно возникшему функциональному стилю научной и технической литературы, из полифункциональных слов и словосочетаний общелитературного языка. Предложенные нами лексические и грамматические эквиваленты языкового окружения специальных терминов в английском и русском языках выявлены польскими учеными в польском языке [7], японскими учеными в японском языке [8] и сейчас вычленяются индийскими учеными в языке хинди [9]. Эти факты и другие данные разных языков (немецкого, голландского, французского, чешского, грузинского, азербайджанского, литовского и др.) свидетельствуют об универсальности функционального стиля научной и технической литературы. Эта универсальность лежит в основе способа изложения материала, его фонетической системы (орфоэпической нормы), лексического состава, грамматического строя и логико-грамматического членения предложения. Универсальность функционального стиля научной и технической литературы позволяет использовать данные одних языков (английского, русского, японского, польского) для выявления и описания закономерностей этого стиля любого другого языка. Такие описания значительно ускорят становление этого стиля в языках народов СССР и в языках развивающихся стран, станут важным орудием национального и интернационального научно-технического прогресса и внесут вклад в развитие общего языкознания.

Долгое время считалось, что научной и технической литературе свойствен нейтральный способ изложения материала, или нейтральный стиль,

---

[6] Р. А. Будагов, Что означает словосочетание *современная лингвистика*?, ВЯ, 1975, 6, стр. 17.

[7] A. L. Pumpiański, Przekład angielskiej literatury naukowej, Tłumaczył z rosyjskiego A. Bryczkowski, Warszawa, 1972.

[8] А. Л. Пумпянский, Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык. С предисловием руководителя группы переводчиков-соавторов О. Хаякава, Токио, 1973 (на япон. яз.).

[9] М. М. Шандиля, Функциональный стиль научной и технической литературы языка хинди, Каунас, 1975.

что было неоправданно с точки зрения функциональных стилей. Основная задача научной и технической литературы состоит в предельно ясном и точном доведении до читателя сообщаемой информации. Это достигается изложением фактического материала практически без применения эксплицитно выраженной эмоциональности, т. е. эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. Более того, научно-техническая революция возможна теперь лишь в результате усилий коллективов ученых и инженеров. Поэтому мы назвали современный способ изложения материала научной и технической литературы формально-логическим (коллективным) стилем научной и технической литературы. Следует подчеркнуть, что предложенное определение распространяется на все подъязыки науки и техники, как естественно-технические, так и гуманитарные. Кроме того, А. В. Федоров считает возможным распространить это определение и на газетно-информационные тексты [10]. В функциональном стиле научной и технической литературы принято разграничивать такие жанры, как статья, монография, учебник, патентное описание (описание изобретения), реферат, аннотация, документация, каталог, справочник, спецификация, инструкция, реклама. Каждому из этих жанров присущи свои индивидуальные стилевые черты, которые, однако, «не перерастают в качественные характеристики, а поэтому и не нарушают единство самого понятия стиля как особого функционального стиля» [11].

Как и другие аспекты литературного языка, фонетическая система исследуемого стиля функционирует в виде многозначной и полифункциональной орфоэпической нормы, однозначность которой проявляется в непосредственной сфере общения в зависимости от конкретного функционального стиля. Вычленение орфоэпической нормы функционального стиля научной и технической литературы, помимо чисто академического интереса, имеет большое значение для изучения устных норм научного и технического общения и процесса чтения научной и технической литературы, а также для разработки научно-обоснованных принципов транскрибирования терминов иностранного происхождения, имен иностранных ученых, наименований фирм и географических названий.

Полифункциональность орфоэпической нормы литературного языка проявляется в существовании быстрого (усеченного) и медленного (полного) стилей произношения во всех языках мира [12]. В основе быстрого (усеченного) стиля произношения лежит устная речь, в основе медленного (полного) стиля произношения — письменная речь. «Литературный язык — категория историческая. Непременным условием его возникновения является письменность — одно из важнейших достижений цивилизации, продукт государственности. Письмо значительно расширяет возможность общения и накопления знаний, закрепления языковых норм, передачи информации от одного поколения к другому, усовершенствования структуры языка» [13]. С позиции функциональных стилей, историчность литературного языка состоит в том, что устный разговорный стиль явился «преддве-

---

[10] См.: А. В. Федоров, Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк), 3-е изд., перераб. и доп., М., 1968, стр. 17.

[11] Р. А. Будагов, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 221. См. также А. Л. Пумпянский, Билингвистическое исследование описания изобретений к патентам как жанра научной и технической литературы, «Труды ЦНИИПИ», М., 1972.

[12] См., например: Л. В. Щерба, О разных стилях произношения, «Записки нефилологического общества», Пг., 1916.

[13] Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 12.

рием литературного языка, одним из его важнейших источников» [14], а стиль научной и технической литературы зародился в недрах литературного языка и является одним из его важнейших достижений. Таким образом, наиболее значительное отличие языка и стиля научной и технической литературы от других функциональных стилей обусловлено его первичным письменным (а не устным) происхождением. Особенность письменной речи заключается в ее предварительном обдумывании, монологическом характере изложения информации и сохранении полного стиля произношения на основе графико-фонетических ассоциаций, являющихся непременным условием существования письменности [15]. Отсюда следует, что не быстрый, усеченный, разговорный стиль произношения, подробно описанный в орфоэпических работах, лежит в основе функционального стиля научной и технической литературы, а малоисследованный полный стиль произношения. Этот факт универсален для всех языков мира. Орфоэпические нормы полного стиля произношения существенно отличаются от норм усеченного стиля широким распространением «обусловленного орфографией произношения», игнорирующего слабые фонетические тенденции (законы) языка. В них наблюдается восстановление согласных в определенных сочетаниях, прояснение или восстановление полного звучания неударных гласных, исчезновение фонетических ассимиляций в словах и на стыках слов и т. п. Например, имеет место восстановление [t] в английских словах *often*, *soften*, *fasten*, [p] — во французских словах *sculpter*, *dompter*, *exempter*, [ei] — в английских названиях дней недели *Sunday*, *Monday*, *Tuesday*, *Wednesday*, *Thursday*, *Friday* (вместо неударного [i] в разговорном стиле) и т. д. [16].

Орфоэпические нормы функционального стиля научной и технической литературы ждут своих исследователей, поскольку приобщение к полному стилю произношения языка науки и техники сотен миллионов людей требует нового восприятия орфоэпического функционирования фонетических систем соответствующих языков в эпоху научно-технической революции.

Лексический состав функционального стиля научной и технической литературы формально совпадает со многими лексическими единицами общелитературного языка. Из этого, однако, не следует, как это принято считать, что он обладает нейтральной или нулевой семантической характеристикой. Лексический состав исследуемого стиля выполняет свои особые функции и проявляет особые закономерности, как это, например, делает нейтральный физиологический раствор, когда к нему прибавляют микродозу другого вещества. Функциональная многозначность слова (словосочетания) приводит к его семантической многозначности, или функциональной полисемии. Например, такие языковые единицы, как *электричество*, *температура*, *паровоз*, *атом*, *пластмасса*, *витамин*, *антибиотик*, *пенициллин*, *космос*, являются обычными словами в разговорном функциональном стиле и в стиле художественной литературы, в которых научные и технические понятия играют подчиненную роль. С другой стороны, такие обычные слова, как *вода*, *земля*, *пламя*, *жидкость*, *сила*, *глина*, *серебро*, *давление*, являются терминами в научной и технической литературе, в которой они несут основную функциональную нагрузку.

Считается, что в пределах собственной системы термин стилистически нейтрален. Однако это далеко не так. Как справедливо отмечает Р. Г. Пиотровский, «вряд ли можно говорить о полной стилистической нейтраль-

[14] Там же.

[15] См.: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Об отношении русского письма к русскому языку, СПб., 1912; его же, Введение в языковедение, СПб., 1914.

[16] Подробное исследование этого вопроса см. в кн. автора «Английский литературный язык (связь произношения и правописания)», М., 1963.

ности термина как научного, так и профессионального. Каждое слово, используемое в качестве термина, приобретает своеобразную „техническую" окраску — отпечаток привычного ему специального контекста» [17].

В лексическом составе функционального стиля научной и технической литературы целесообразно разграничивать: 1) терминологическую лексику; 2) общенаучную и общетехническую лексику; 3) слова — организаторы научной и технической мысли.

Спецификой функционального стиля научной и технической литературы является необходимость его изучения как с языковедческих позиций, так и специально научных и технических позиций, с приматом первых при исследовании общеязыковых вопросов и вторых при рассмотрении специальной терминологии. Поэтому терминологические вопросы рассматриваются двумя группами ученых: терминологами (языковедами) и терминоведами (специалистами по науке и технике). Исследуя одни и те же объекты, они редко достигают взаимопонимания, что легко увидеть по многочисленным дискуссиям [18].

Актуальным дискуссионным вопросом является проблема соотношения, существующего между терминологией и номенклатурой [19]. В лингвистическом плане эту проблему также целесообразно рассматривать с учетом категорий многозначности и однозначности языковых единиц [20].

В терминах мы имеем максимально точное, концентрированное и экономное выражение тех общих и частных понятий, с которыми сопряжена научная и техническая деятельность человека. От других разрядов слов функционального стиля научной и технической литературы термины отличаются своей огромной информационной насыщенностью. Основное требование, предъявляемое к термину,— его однозначность. В общетерминологическом плане это требование реализуется двумя путями, в связи с чем целесообразно разграничивать две категории терминов: 1) общенаучные и общетехнические термины и 2) специальные (номенклатурные) термины. Рассмотрим их принципиальное различие.

Общенаучные и общетехнические термины выражают общие понятия науки и техники. Они обычно являются многозначными единицами общего языка, однозначность которых выявляется опосредованно в пределах функционального стиля научной и технической литературы из соответствующего экстралингвистического макроконтекста (частной терминологической системы) и связанного с ним лингвистического микроконтекста либо всех областей, либо одной области, либо одной отрасли или подотрасли науки или техники, на определенном этапе их развития.

Специальные (номенклатурные) термины обозначают частные понятия науки и техники. Они обычно являются однозначными единицами общего языка, однозначность которых выявляется непосредственно в пределах всего функционального стиля научной и технической литературы из присущего ему экстралингвистического макроконтекста (общей терминологической системы) и связанного с ним лингвистического микроконтекста, на определенном этапе их развития.

---

[17] Р. Г. Пиотровский, К вопросу об изучении термина, «Уч. зап. ЛГУ», 161. Серия филол. наук, 1952, 6, стр. 33.

[18] Идеальным случаем успешного решения терминологических вопросов является исследование лингвистической терминологии учеными, сочетающими в себе терминологов и терминоведов.

[19] См.: А. Д. Хаютин, Термин, терминология, номенклатура, Самарканд, 1972; Г. А. Ланина, Терминология и номенклатура физической географии. АКД, М., 1975.

[20] См. также: «Terminology: Theory and Method», ed. by O. Akhmanova and G. Agapova, M., 1974, стр. 185—201.

Общенаучных и общетехнических терминов мало, соотносительно с ограниченным количеством научных и технических понятий. Эти термины, как правило, рождаются и покоятся в недрах общего языка. Они по своему происхождению уже многозначны и регламентации не подлежат.

Специальных (номенклатурных) терминов бесконечное множество, соотносительно с неограниченным количеством объектов и предметов научной и технической деятельности человека. Эти термины создаются как стихийно в недрах общего языка (ср. *молоток — отбойный молоток*), так и сознательно путем заимствования из других языков, и поддаются системному упорядочению и регламентации, особенно четко реализованных в таких науках, как ботаника, зоология, химия. Номенклатурные термины значительно обогащают общий язык. Так, например, из 600 000 слов, зафиксированных в словаре Вебстера (1960), около 500 000 являются специальными терминами. С другой стороны, в каждой статье по узкой технической специальности число терминов не превышает 150—200 единиц [21].

С развитием науки и техники однозначные специальные (номенклатурные) термины могут приобретать дополнительные значения и становятся многозначными общенаучными и общетехническими терминами, а многозначные термины могут утрачивать свои значения и становятся однозначными терминами.

Необходимо отметить, что многие терминоведы игнорируют присущую языку многозначность и полифункциональность и настойчиво предлагают создать и внедрить в язык формально однозначную терминологическую систему на «научных» логических началах [22]. Признавая большие заслуги терминоведов по научному определению и описанию значений общенаучных и общетехнических терминов и систематизации специальных (номенклатурных) терминов, терминологи должны вместе с тем остерегаться некритического восприятия терминоведами лингвистических закономерностей функционирования естественных языков.

Под общенаучной и общетехнической лексикой понимается лексическое окружение терминов, представленное словами и словосочетаниями, большая часть которых в общеязыковом плане многозначна и полифункциональна. Проделана большая работа по выявлению этой лексики в монолингвистическом плане [23]. Билингвистические исследования дают возможность вычленять из многозначных языковых единиц лексического окружения терминов те значения, которые обеспечивают правильное понимание научной и технической мысли [24]. Эти значения, по-видимому, универсальны для всех языков мира, но мало изучены из-за еще сохраняющегося упора на изучение устного разговорного функционального стиля иностранных языков. Например, изучающие английскую разговорную речь хорошо знают слова *end, point, question* в значениях «конец», «точка», «вопрос». Но в английской научной и технической литературе первые два слова часто употребляются в значениях «цель», «проблема», а словосочетания *to this end, in question* в значениях «с этой целью», «исследуемый». Отсюда следует бессмысленный перевод предложения *To this end we discussed the point in question* «К этому концу мы обсу-

[21] См., например: Е. А. Василевская, И. Н. Иостерлин, М. П. Сенкевич, Стили русского языка, М., 1966, стр. 26.

[22] См., например, многочисленные высказывания терминоведов в кн.: «Лингвистические проблемы научно-технической терминологии», М., 1970, стр. 57, 63, 17, 80 и др.

[23] См.: М. М. Глушко, Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования, М., 1974, стр. 7—25.

[24] См. кн. автора «Чтение и перевод английской научной и технической литературы», 3-е изд., перераб. и доп., М., 1968.

дили точку в вопросе» вместо «С этой целью мы обсудили исследуемую проблему». Другой пример: в английской научной и технической литературе широко распространено употребление артиклей в их первичном лексическом значении (*the* =«этот», *a* =«один»), что не так характерно для разговорного стиля и при обучении ему не учитывается. Отсюда следует бессмысленный перевод предложения *The two atoms are in a plane* «Два атома находятся в плоскости» вместо «Оба (эти два) атома расположены в одной плоскости».

Вместе с тем, в функциональном стиле научной и технической литературы часто отдается предпочтение общенаучным и общетехническим словам иностранного происхождения, по-видимому, для более точной дифференциации научной и технической мысли. Например, в английском языке вместо глагола *to say* часто употребляются глаголы *to assert*, *to state*, *to declare* вместо *to soil — to contaminate*, вместо *to clean — to purify*. Так, например, русскому предложению *Тетрахлоралканы были загрязнены и их надо было очистить* соответствует английское *Tetrachloroalkanes were contaminated and had to be purified*, а не невозможное: *Tetrachloroalkanes were soiled and had to be cleaned*. В русском языке наблюдается такая же тенденция. Например, отдается предпочтение словам: *акцентировать* (вместо *подчеркивать*), *варьировать* (вместо *изменяться*, *колебаться*), *вульгарный* (вместо *грубый*, *упрощенный*), *интенсивный* (вместо *напряженный*, *усиленный*), *аналогичный* (вместо *сходный*, *подобный*).

Присущий научной и технической литературе формально-логический (коллективный) способ изложения материала построен на строгой логике описания, разъяснения и доказательства научных и технических объектов исследования и приводимых фактов. В этой связи в языке науки и техники особую, специфическую роль играют многозначные и полифункциональные слова, которые можно назвать организаторами научной и технической мысли. Формально эти организаторы представлены союзами, союзными словами, наречиями, предложно-именными сочетаниями, вводными словами и словосочетаниями и синонимичными им вводными, безличными и неопределенно-личными предложениями. В функциональном стиле научной и технической литературы они являются: 1) словами, вводящими логический контекст и 2) словами, характеризующими степень объективности информации. Эти две функции универсальны для всех языков.

Первые осуществляют следующие логические операции: 1) подтверждают приведенные выше соображения: «поэтому», «следовательно», «таким образом», «тем самым», «в результате (этого)», «по этой причине», «аналогичным образом», «при этом», «в таком случае» и т. д.; 2) отрицают приведенные выше соображения: «однако», «с другой стороны», «тем не менее», «все же», «и наоборот», «в противоположность этому» и т. д.; 3) расширяют приведенные выше соображения: «кроме того», «в свою очередь», «и в данном случае», «по другим причинам»; 4) ограничивают приведенные выше соображения: «для этой цели», «с этой целью», «для этого», «в данном случае» и т. д.; 5) указывают на время осуществления исследования: «сначала», «недавно», «за это время», «с тех пор», «затем» и т. д.; 6) указывают на место описания исследования: «здесь», «ниже», «в этой работе» и т. д.; 7) указывают на последовательность аргументации: «во-первых (вторых)», «выше», «ниже» и т. д.; 8) указывают на упрощение, сокращение или детализацию аргументации: «для простоты», «для ясности», «для удобства», «короче говоря», «а именно», «то есть» и т. д.; 9) вводят иллюстрацию аргументации: «например»; 10) осуществляют подчинительную или определительную связь в начале придаточных предложений: «который», «когда», «где», «среди которых», «в то время как», «при

помощи чего», «что», «в котором»; 11) осуществляют сочинительную связь в простых распространенных и сложносочиненных предложениях: «и», «а», «или», «а не».

Вторые представлены модальными словами, которые в научной и технической литературе десемантизировались и лишь констатируют степень объективности информации, содержащейся в предложении («считают», «полагают», «утверждают», «возможно», «вероятно», «по-видимому», «кажется», «оказывается», «конечно», «несомненно», «разумеется», «естественно», «пожалуй»). Функциональная роль этих организаторов чрезвычайно велика, так как их отсутствие превращает относительное высказывание в абсолютное. Формально эти организаторы выражены разными средствами, значительно различающимися в зависимости от конкретного языка.

Грамматический строй функционального стиля научной и технической литературы формально совпадает со строем общелитературного языка, проявляя, однако, свою специфику, которая обычно рассматривается в сравнении с письменным функциональным стилем художественной литературы. Отмечается, что в книгах, статьях, рефератах и учебниках исследуемого стиля преобладают относительно длинные предложения, почти в два раза длиннее, чем в художественной литературе. Это универсальное для всех языков явление обусловлено тем, что для функционального стиля научной и технической литературы характерно употребление большого количества определений, ибо всякая научная или техническая статья является, по сути, развернутым определением. В отличие от художественной литературы, основная задача которой — создание образов, научная и техническая литература призвана как можно точнее описывать и объяснять определенные факты. Поэтому в ней преобладают существительные, прилагательные и неличные формы глагола. В связи с с этим, в функциональном стиле научной и технической литературы нами отмечена десемантизация глагола-сказуемого, который в основном приобрел полуслужебное значение и приблизился по своей функции к глаголу-связке (копуле). Как и в художественной литературе, в языке науки и техники встречаются образные, зрительные представления, но они имеют схематическую форму чертежей или моделей (а не самих предметов) и тем самым приобретают отраженный, логический характер. Показательно, что даже там, где на первом плане выступают красочно-зрительные представления, например, при описании красок птичьего оперения в орнитологии, эти представления приобретают схематический, чисто описательный характер. Например, «черный дрозд»— в художественной литературе вызывает определенное представление (образ), а в орнитологии означает вид обширного семейства птиц отряда воробьиных.

Синтаксис функционального стиля научной и технической литературы отличается конструктивной насыщенностью, около половины всех предложений являются сложными. Основное внимание авторов научных и технических сообщений направлено на конкретные факты, которые надо описать и объяснить. Отсюда следует преобладание пассивных конструкций, которых, например, в английском научном языке в 5—6 раз больше, чем в языке художественной литературы. В современном русском языке наблюдается тенденция к замене в этих случаях пассивной конструкции обобщенно-личной или неличной: *применяли фильтр*, *исследована кинетика*[25]. С этой же целью в функциональном стиле научной и технической литературы часто применяют безличные и неопределенно-личные кон-

[25] О. А. Лаптева, Внутристилевая эволюция современной русской научной прозы, «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968, стр. 148.

струкции с модально-оценочным значением: «решили», «признано целесообразным», «следует отметить», «необходимо», «важно». На материале разных языков отмечено также «вневременное» изложение научной и технической мысли, при котором временное значение подавляется общей констатацией фактов. На материале русского языка показано, что настоящее вневременное является повсеместным в научных текстах, а в художественной литературе составляет лишь 12% [26]. Кроме того, на материале многих языков доказано, что при формально-логическом (коллективном) способе изложения материала так называемая «инверсия», т. е. вынесение членов предложения в его начало, применяется не для эмфатического (эмоционального) выделения этих элементов, как полагали раньше, а для осуществления логической связи рассуждения с предыдущим контекстом.

Приведенные данные получены в результате монолингвистических исследований функционального стиля научной и технической литературы многих языков, что свидетельствует об их универсальности. Однако только билингвистические исследования грамматического окружения терминов дают возможность обеспечить правильное понимание научной и технической мысли путем вычленения из многозначных грамматических форм значений, характерных для функционального стиля научной и технической литературы, выявления их смысловых эквивалентов в разных языках и описания их универсальности в функциональном стиле научной и технической литературы.

Формально-логический (коллективный) способ изложения материала и отсутствие активной смысло-формирующей интонации в письменной речи функционального стиля научной и технической литературы обусловливает в нем значительно меньшую степень расхождения между грамматическим строем предложения и его логической структурой, чем в других стилях. В связи с этим, некоторые исследователи актуального членения предложения считают, что порядок слов в научной и технической литературе лишен актуального членения и является нейтральным. Это утверждение согласуется с допущением этими исследователями возможности как разрыва между грамматическими и логическими категориями языка и мышления, так и их полного совпадения. В 1963 г. была опубликована теория логико-грамматического членения предложения, выдвинутая В. З. Панфиловым [27]. В свете этой теории при речевой деятельности нейтральное, неактуализованное членение предложения невозможно, поскольку формальное синтаксическое членение предложения само по себе лишено коммуникативной функции. Также невозможно совпадение грамматических и логических категорий языка и мышления, так как язык и мышление образуют не простое, а сложное, диалектически противоречивое единство. Справедливость теории логико-грамматического членения предложения для функционального стиля научной и технической литературы показана нами на билингвистическом материале английской и русской научной и технической литературы, который подтверждает универсальность научной и технической мысли во всех языках, позволяющую гарантировать идентичность информации в предложениях [28].

[26] М. Н. Кожина, Проблемы специфики и системности функциональных стилей речи, М., 1970, стр. 26.

[27] В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М.—Л., 1963; его же, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971.

[28] См. работу автора «О логико-грамматическом членении предложения» (ВЯ, 1972, 2); его же, Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе, М., 1974. См. также: Г. П. Мельников, Проблема природы единиц логико-грамматического членения предложения, Каунас, 1975; Г. Н. Минина, Билингвистическая денотативность текстов функционального стиля научной и технической литературы, Каунас, 1975.

Универсальным для функционального стиля научной и технической литературы является также следующее положение. Любое предложение любого языка, несущее одинаковую научную и техническую информацию, обладает одинаковым логико-грамматическим членением и состоит из двух компонентов: логико-грамматического предиката и логико-грамматического субъекта. Логико-грамматический субъект может быть выражен не только эксплицитно, но и имплицитно.

В ходе этого исследования также пришлось решать кардинальную проблему многозначности, в данном случае проблему информационной нагрузки языковых единиц в предложении. Выяснилось, что все члены предложения информационно многозначны и несут, в зависимости от структуры предложения, либо основную информацию (логико-грамматический предикат), либо вспомогательную информацию (логико-грамматический субъект).

Нами разработано цифровое обозначение логико-грамматического членения предложения (I — XIV), где I — VI — индекс основной информации; VII—XI — индекс вспомогательной информации; XII — акцентуаторы; XIII — конкретизаторы; XIV — логико-грамматический эллипсис вспомогательной информации, латентно присутствующей в предложении. На основе этого цифрового обозначения предложена универсальная билингвистическая схема логико-грамматического членения предложения, которая предоставляет исследователю возможность использовать однозначное, линейное распределение информации в предложении в русской письменной речи в качестве билингвистического эталона при выявлении логико-грамматического членения предложения и информационной роли каждой лингвистической и экстралингвистической составляющей простых и сложных предложений в функциональном стиле научной и технической литературы любого другого языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

Арн. ЧИКОБАВА

ОБ ОДНОМ ПРИНЦИПЕ КЛАССНОГО СПРЯЖЕНИЯ В ДРЕВНЕГРУЗИНСКОМ ГЛАГОЛЕ

1. Классное спряжение предполагает наличие именных (грамматических) классов как морфологической категории в соответствующем языке.

Из иберийско-кавказских языков категория грамматических классов представлена во всех языках нахской группы (чеченском, ингушском, бацбийском), в абсолютном большинстве дагестанских языков (аварско-андийско-дидойских языках, лакском, даргинском, табасаранском, арчибском, цахском..., не различаются они лишь в трех языках лезгинской подгруппы—в лезгинском, агульском, удийском). Из языков абхазско-адыгской группы данная категория сохранилась лишь в абхазском и абазинском. Не различает данной категории ни один язык картвельской группы; не было ее и в древнегрузинском языке [1].

Следует отметить, что л и ч н о с т ь и в е щ ь как семантические категории одинаково понимаются во всех иберийско-кавказских языках: вопрос «кто?» относится только к человеку; все остальное, животные, в частности,—«что?».

2. Основные именные классы — ч е л о в е к а (личности) и в е щ и, причем обычно они могут быть дифференцированы, образуя четыре грамматических класса: I — мужчины, II — женщины, III и IV — все остальное (названия животных, растений, конкретных предметов, абстрактных понятий — без четкого принципа, позволяющего наперед знать, к какому классу будет отнесен тот или иной предмет).

3. Классное спряжение обозначает — морфологически — грамматический класс имени, стоящего лишь в им. падеже. Этот им. падеж совмещает две различные функции: с у б ъ е к т а при непереходном глаголе и ближайшего (так называемого прямого) о б ъ е к т а при переходном глаголе.

Классное спряжение непереходного глагола, таким образом, является субъектным: глагол указывает, к какому классу относится субъект, а также его число. Лицо субъекта глаголом не различается, оно определяется лексическими средствами (личными местоимениями...). Так, например, настоящее время аварского непереходного глагола *аҫine* «приходить» будет иметь четыре формы, три для ед. числа — применительно к трем классам и одну общую — для всех трех классов — во мн. числе:

v-аҫипа	«прихожу; приходишь; приходит»	— имя I кл.
j-аҫипа	» » »	— » II кл.
b-аҫипа	» » »	— » III кл.
r-аҫипа	«приходим; приходите; приходят»	— имена I, II, III кл.

4. Переходные глаголы также не имеют личных форм, они могут изменяться лишь по классам, однако не по классам субъекта, а лишь по

[1] «Языки народов СССР», IV — Иберийско-кавказские языки, М., 1967.

классам объекта и его числа:

v-ecula «хвалю; хвалишь; хвалит» (*кого-то*) — объект имя I кл.
j-ecula » » » — » II кл.
b-ecula » » » (*что-то*) — » III кл.
r-ecula » » » (*кого-то, что-то*) — объект во мн. числе — без различия грамматических классов (классные различия во мн. числе нейтрализуются).

Итак, спряжение непереходного глагола — классное субъектное, спряжение же переходного глагола — классное объектное; что же касается субъекта, ни его лицо, ни класс в переходном глаголе не находят никакого отражения, глагол обозначает активное действие, но в своей форме совершенно не считается с деятелем и в то же время согласуется с ближайшим («прямым») объектом: активное д е й с т в и е — без всякого указания на д е я т е л я! Антиномия эта демонстрирует возможности расхождений между «логическим» и «грамматическим» [2].

Антиномию эту П. Услар попытался снять, приравняв переходный глагол аварского языка к страдательному залогу европейских языков, причем ближайший объект оказывался грамматическим субъектом, а реальный субъект в эрг. падеже косвенным объектом («брат хвалит сестру»= «сестра хвалима братом»). Согласование с реальным объектом было объяснено, но при этом все глаголы в аварском языке оказывались «средними» и «пассивными», а коррелирующие с ними «действительные» были упразднены. В лакском и даргинском языке, где глагол может согласоваться с объектом (в классе) и с субъектом (в лице), синтаксический критерий Услара («имя, с которым согласуется глагол, следует считать субъектом») не мог решить вопроса, и Услару переходный глагол пришлось признать активным [3] в случаях его согласования с субъектом.

5. Отсутствие согласования с субъектом переходного глагола в классном спряжении (так же, как его согласование с ближайшим объектом) вполне закономерно: в спряжении переходного глагола иберийско-кавказских языков субъект личных форм уже в языках с классно-личным спряжением (в лакском, даргинском, табасаранском..., в абхазском, абазинском...).

С утерей категории грамматических классов классно-личное спряжение замещается личным спряжением, причем процесс формирования личных форм субъекта начинается с 1 и 2-го лица: личными становятся прежде всего «лицо говорящее» и «лицо слушающее», т. е. лицо, к которому обращаются. 3-е лицо формируется позже первых двух, как то наглядно прослеживается, в частности, в личном спряжении грузинского и сванского языков.

---

[2] «Может ли существовать глагол, не различающий лиц?» — спрашивает Э. Бенвенист и считает «крайне редкими» языки, «в которых выражение лица в глаголе может отсутствовать» (Э. Б е н в е н и с т, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 260). Приведя примеры из корейского (со ссылкой на Г. Рамстедта) и нивхского (со ссылкой на Р. Якобсона) языков и отмечая, что «нивхские глагольные формы в основном не различают ни лица, ни числа», Э. Бенвенист подчеркивает, что «категория лица принадлежит к фундаментальным и необходимым характеристикам глагола», справедливо, впрочем, оговаривая, что «своеобразие каждой глагольной системы в этом отношении должно быть предметом особого изучения» (там же, стр. 261).

На Кавказе глаголу более десятка дагестанских языков аварско-андийско-дидойской группы чужда категория лица (спряжение классное), а в лезгинском и агульском языках глагол не различает ни классов, ни лиц (ни чисел).

[3] В действительности же переходный глагол (аварский, лакский, даргинский) при отсутствии залоговой дифференциации не может быть ни активным, ни пассивным, переходный глагол нейтрален, индифферентен в отношении залогов. См. подробнее: Арн. Ч и к о б а в а, Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, II. Теории сущности эргативной конструкции, Тбилиси, 1961 (на груз. яз.).

Б е з с у б ъ е к т н ы й переходный глагол классного спряжения становится с у б ъ е к т н ы м — в личном спряжении: с у б ъ е к т н о е оказывается внутренне связанным с л и ч н ы м, с нарождением личного спряжения.

6. Личное спряжение представлено из иберийско-кавказских языков в адыгейском, кабардинском, убыхском, далее — в картвельских языках (в древнегрузинском и новогрузинском, сванском, занском), из дагестанских языков — в удийском языке. Личное спряжение может быть или субъектным (абсолютным) или же субъектно-объектным (релятивным). Субъектное спряжение —«одноличное» (моноперсональное); субъектно-объектное спряжение, отмечая посредством формантов изменения лиц как субъекта, так и объекта (resp. объектов), является «многоличным» (полиперсональным); так, например, сочетание трех лиц субъекта с тремя лицами объекта в ед. числе в грузинском языке порождает восемь форм (вместо трех форм русского глагола, имеющего личное субъектное спряжение; *хвалю, хвалишь, хвалит* — ср. груз. *g-akeb-s* «хвалит он тебя», *m-akeb-s* «хвалит он меня»...).

Несравненно сложнее спряжение адыгских языков, где могут обозначаться лица двух (и даже трех) объектов, а также абхазского глагола с его классно-личным полиперсональным спряжением.

Особняком стоит личное спряжение удийского глагола: оно одноличо, ему чужды субъектно-объектные, полиперсональные формы. Подобно классному спряжению удийское личное спряжение может быть или субъектным, или же объектным. Субъектные формы создаются им. и эрг. падежами. С дат. падежом согласуются объектные формы инверсивного глагола.

7. В грузинском, а также в других картвельских языках личные формы глагола согласуются с именами в трех падежах: в им., эрг. (так называемом повествовательном) и дат. Синтаксическая их валентность различна: дат. падеж всегда выступает в роли объекта, эрг.— только субъекта (переходных глаголов II серии), им.— и субъекта, и объекта: субъекта непереходных глаголов во всех сериях и объекта переходных глаголов во II серии [4].

В процессе субъектно-объектного спряжения глагола синтаксическая противоположность между субъектом и объектом снимается, но в морфологии глагола система субъектных форм (ряд *v-*) последовательно противопоставляется системе объектных форм (ряд *m-*) *v-xedav* «вижу я (то)» — *m-xedav-s* «видит меня он».

8. Что же касается взаимоотношения объектных форм, положение значительно сложнее:

а) Объект в им. падеже и объект в дат. падеже обозначаются одинаково, т. е. одним и тем же префиксом (при местоимениях 1 и 2-го лица: *m-* и *g-*): *m-akeb-s is* (им.) *me* «хвалит он меня» (*me* — в функции дат. п.), *m-ak-o man* (эрг.) *me* «хвалил он меня» (*me* — в функции им. п.); *g-akeb-s is šen* «хвалит он тебя» (*šen* — в функции дат. п.), *g-ak-o man* (эрг.) *šen* «хвалил он тебя» (*šen* — в функции им. п.). Ср. также *m-iki-a me is* «оказывается, хвалил я его», *g-ikia šen is* «оказывается, хвалил ты его» (*me, šen* — здесь выступают в функции дат. п.), *u-ki-a mas is* «оказывается, хвалил он его».

Местоимения 1 и 2-го лица, как известно, не различают форм им., эрг. и дат. падежей: *me* (им., эрг., дат.) «я», *šen* «ты», *čwen* «мы», *tkwen* «вы» (в склонении этих местоимений сохранилось древнее состояние, когда в грузинском языке не имелось склонения, во всяком случае, не различались падежи им., эрг и дат., основа выступала в функции трех падежей,

[4] Арн. Ч и к о б а в а, Проблема простого предложения в грузинском языке. I. Подлежащее и дополнение в древнегрузинском языке, Тбилиси, 1968, §§ 72—75, стр. 128—143; 240—243 (на груз. яз., резюме на русск. и франц. яз.).

такое положение поныне сохранилось в абхазском языке). Неразличением падежных форм в местоимениях 1 и 2-го лица, по-видимому, обусловлено неразличение объектных префиксов (в функции им., эрг. и дат. падежей).

б) Показатели 3-го лица различаются в зависимости от того, относятся они к объекту в дат. или же к объекту в им. падеже.

Объект 3-го лица в дат. падеже обозначается в памятниках древнегрузинского языка префиксом *x-/h-* (> *s-*) : *h-ḳitx-a mas* (дат.) *man* (эрг.) *igi* (им.) «спросил его он о том» (букв. «что-то»)... *s-txov-a mas* (дат.) *man* (*эрг.*) *igi* (им.) «попросил его он что-то» (в ханмэтных текстах префикс *x-* замещал префикс *h-* с его фонетическими вариантами).

Объект 3-го лица в им. падеже в глаголе остается немаркированным: *ḳl-a man* (эрг.) *igi* (им.) «убил он его», *ǫo man* (эрг.) *igi* (им.) «сделал он то», *da-çeraa man* (эрг.) *cerili* (им.) «написал он письмо».

Такое различение синтаксических функций объектов в дат. и им. падежах в древнегрузинском языке установлено А. Г. Шанидзе (в новогрузинском взаимоотношения сложнее) [5].

9. Но различие в синтаксической валентности объектов в им. и дат. падежах этим не исчерпывается: расхождение между последними наблюдается и в согласовании глагола с ними в числе.

В древнегрузинском языке глагол не согласуется во мн. числе с именем в дат. падеже (независимо от смысловой роли дат. падежа), но согласуется с объектом в им. падеже (независимо от смысловой роли им. падежа): объект в дат. падеже: *man h-ḳitx-a mas* (ед. ч.) «он спросил его», *man h-ḳitx-a mat* (мн. ч.) «он спросил их»; инверсивная форма (грамм. объект = = реальный субъект): *mas h-utxovi-e-s igi* «оказывается, он просил то», *mat h-utxovi-e-s igi* «оказывается, они просили то».

В новогрузинском языке с таким дат. падежом во мн. числе глагол согласуется: *mas utxovi-a*, но *mat utxovi-a-t*...

Объект в им. падеже: *da-çer-a man* (эрг.) *çeril-i* (им. ед.) «написал он письмо» — *da-çer-n-a man* (эрг.) *çeril-n-i* (им. мн.) «написал он письма»; *ǫo man sakme-j* (им. ед.) «сделал он дело» — *ǫv-n-a man sakme-n-i* (им. мн.) «сделал он дела». Ср. *v-qav*, *h-qav*, *ǫo* (*q* < *v-a* < *ǫav-a*) *sakme-j* «я сделал, ты сделал, он сделал дело» — *v-ǫv-en*, *h-ǫv-en*, *ǫv-n-a* (< *ǫv-en-a*) *sakmen-i* «я сделал, ты сделал, он сделал дела».

Суффикс *-en-* (> *n*) обозначает мн. число объекта в им. падеже [6]: переходный глагол согласуется в числе с ближайшим («прямым») объектом.

Переходный глагол не согласуется с объектом в им. падеже мн. числа в новогрузинском литературном языке; не наблюдается подобное согласование и в других картвельских языках, в том числе и сванском, для которого характерны архаизмы. Да и в древнегрузинских памятниках такое согласование наблюдается при образовании мн. числа посредством суффикса *-n* (< *-en*), древнего, к тому же основного суффикса мн. числа не только в именах, но и в глаголе [7].

---

[5] А. Шанидзе, Субъектный префикс второго лица и объектный префикс третьего лица в грузинском глаголе, Тбилиси, 1920 (на груз. яз.).

[6] Подробнее см.: Арн. Чикобава, Чем обозначается в древнегрузинском глаголе морфологический объект именительного падежа множественного числа?, «Изв. Тбилисск. ун-та», IX, 1929, стр. 107—119 (на груз. яз.).

[7] Основной показатель мн. числа имен в новогрузинском языке *-eb-* (*ʒm-eb-i* «браться», ср. др.-груз. *ʒma-n-ı*) в древнегрузинском встречается изредка. Глагол не согласуется во мн. числе с именем, образованным при помощи суффикса *-eb-*, не только тогда, когда имя является объектом, но и тогда, когда оно выступает в роли субъекта (см.: Арн. Чикобава, Проблема простого предложения в грузинском языке, §§ 89—90, стр. 204—209).

Согласование глагола с объектом в им. падеже мн. числа представляется бесспорно д р е в н и м явлением. Наблюдается оно в переходных глаголах: постановка объекта в им. падеже, т. е. наличие ближайшего («прямого») объекта считается специфичным для переходного глагола не только в горских иберийско-кавказских языках (здесь переходный глагол во всех временах сочетается с ближайшим объектом в им. падеже!), но и в грузинском языке (А. Шанидзе) во временах *второй серии* — *прошедшего основного* или *аориста*: именно эта серия является в спряжении переходных глаголов наиболее древним образованием и именно во временах этой серии сохранилась в грузинском языке эргативная конструкция, и именно в этой конструкции переходный глагол согласуется во мн. числе с ближайшим объектом в им. падеже (не согласуясь в числе с объектом в дат. падеже).

Объясняется это тем, что переходный глагол в классном спряжении согласуется, как видели выше (§ 4), именно с объектом в им. падеже, обозначая его класс, его число: авар. *v-ecana* «хвалил его», *j-ecana* «хвалил ее», *b-ecana* «хвалил что-то», *r-ecana* «хвалил их»; авар. *vacas r-ačana čujal* и др.-груз. *ʒma-man moiqvan-n-a cxen-n-i* «брат привел лошадей» в обозначении числа ближайшего объекта воплощают одну и ту же синтаксическую модель.

Необычное с точки зрения принципов личного спряжения является закономерным в условиях классного спряжения переходных глаголов.

В согласовании переходного глагола с ближайшим объектом в им. падеже мн. числа в древнегрузинском языке находим проявление в древнегрузинском глаголе принципа классного спряжения, пережиточно сохранившегося в древнегрузинских памятниках: личное спряжение в грузинском и других картвельских языках идет от классного спряжения [8].

Отнюдь не случайно, по-видимому, лицо объекта (3-е л.) в именительном падеже не находит отражения в глаголе, а объект в дательном падеже оказывается маркированным: именительный падеж — это падеж объекта эпохи классного спряжения, появившееся же позднее л и ч н о е спряжение ориентируется на объект в дательном падеже: объекты в грузинском языке обозначались префиксами, и различать падежи к л а с с н о г о объекта и л и ч н о г о объекта представляется естественным [9].

---

[8] То же касается адыгских языков и убыхского: ранний период их спряжения предлежит в классно-личном спряжении абхазского языка. Дагестанские же языки в их современном состоянии демонстрируют все три ступени спряжения глагола: классную, классно-личную и личную (Арн. Ч и к о б а в а, Основные типы спряжения глаголов и их историческое взаимоотношение в иберийско-кавказских языках, «XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР», М., 1960.

[9] Об отдельных явлениях этого ряда см.: Арн. Ч и к о б а в а, Категория грамматических классов и некоторые вопросы спряжения грузинского глагола, ИКЯ, V, 1953, стр. 51—63 (на груз. яз., резюме на русск. яз.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

К. В. ЛОМТАТИДЗЕ

ИЗ ИСТОРИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ ИМЕНИ В АШХАРСКОМ ДИАЛЕКТЕ АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

(К проблеме языковых контактов)

Изучение вопросов языкового влияния связано с большими трудностями, поскольку не всегда удается разграничить явления, возникшие в результате самостоятельного развития языка от появившихся под воздействием другого языка. Особенно сложно установить точную картину развития какого-либо явления в языке, когда влияющими могут оказаться различные языковые единицы.

На исключительные трудности в этом отношении наталкиваемся в иберийско-кавказских языках, которые на пути своего развития имели контакты как с различными неродственными языками, так и между собой. Весьма сложная картина может создаться именно при влиянии родственных языков и диалектов друг на друга. Богатый материал в этом отношении дают абхазско-адыгские языки. Ниже мы остановимся на одном из таких случаев.

Чтобы понять историю определенных (а также неопределенных) форм имени в ашхарском диалекте абазинского языка, необходимо учесть положение вещей в родственных языках и диалектах, контактирующих с ашхарским диалектом.

В тапантском диалекте (и на его основе в литературном абазинском языке) нарицательные имена имеют неопределенную и определенную формы. Слово в функции номинации, взятое в обобщенном, неопределенном смысле, т. е. в «словарной» форме, выступает с чистой основой, без какого-либо показателя, например: *šᵊəla* «мука«, *k°ṭaγ* «яйцо», *tag°žᵒa* «жена», *pha* «дочь» и т. д. В определенной форме к этим же основам добавляется префикс *a-*: *a-šᵊəka*, *a-k°ṭaγ*, *a-tag°žᵒa*, *a-pha* и т. д. [1].

В абхазском языке (как в литературном, так и диалектах) такое противопоставление неопределенных и определенных форм имени не проводится. Связано это с тем, что тот же префикс *a-* (показатель определенной формы имени в тапантском диалекте) здесь уже выступает в качестве префикса обобщенной, «словарной» («неопределенной») формы имени и те же *a-šᵊəla*, *a-k°ṭaγ*, *a-pha* и т. п. обозначают вообще «муку», «яйцо», «дочь» и т. д.

Правда, в абхазском языке слово в словарь включается с префиксом *a-*, и такая форма в отличие от тапантского диалекта является носителем обобщенного («неопределенного») значения, но чистая основа слова (т. е. без префикса *a-*) с обобщенным значением, как в тапантском диалекте, не чужда и абхазскому языку (в частности, во фразах).

Наряду с такими фактами, когда слово в «неопределенном» обобщенном значении выступает с префиксом *a-* (как, например, в пословицах [2]:

[1] К. В. Ломтатидзе, Тапантский диалект абхазского языка. С текстами, Тбилиси, 1944, стр. 69—77 (на груз. яз., резюме на русск. яз.).

[2] Д. И. Гулия, Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омонимов и омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров, Сухуми, 1939 (на абх. яз.). В дальнейшем пословицы и поговорки цитируются по этой книге.

a-rax° *a-γrara* *ad°axʲə jamowp*, *a-waӧ°ə* — *iӧ°nəwçqa* «Скотина пестра снаружи, а человек — изнутри»; *a-məžᵊda a-q°arabžaraǎᵊə jək°x°lejt*. «Неудачника ночь застигла на острове»; *a-čᵊada a-mç azəčhawam* «Осел мух терпеть не может»; *a-ç°-ca a-bžə mgaḳ°a ipčᵊwam* «Стакан не разобьется без звона»; *a-çara sasəwp a-xšᵊəӧ° apš°əmowp* «Образование — гость, ум — хозяин»), нередки случаи, когда в том же значении появляется чистая основа слова, без префикса *a-*, как, например: *r-ax°*, *waӧ°ə*, *zegʲə ejdcalan jaarcalon* [3] «Скота, человека, всех вместе пригоняли»; пословицы: *w aӧ°ə jžabaa zdəw jg°ə azəbəlwejt* «К чему человек труд приложил, то он жалеет»; *čᵊəçga taac°a jrə x°artowp* «Отговорка для семьи пригодится»; *məžᵊ da dərhaӧ°əwp*, *məšᵊ dčaӧ°əwp* «Несчастный зарабатывает, а счастливый пользуется»; *asəšᵊḳ°aḳ°owp ipšᵊzowp*, *axa waӧ°* *dabəlwejt* «Снег бел и красив, но человека морозит (жжет)»; *čəs bzəja açḳəs mg°a c°gʲa pž°aajt* «Лучше плохому брюху лопнуть, чем хорошему кушанью оставаться» и т. д.

Довольно часты такие неоформленные основы в обобщенном значении в поговорках и пословицах, особенно в именах, связанных с глаголом в отрицательной форме: *axʲə napə açam*, *šapə açam*, *axa zegʲə alšᵊojt* «Золото — без рук (без руки), без ног (без ноги), но все сделает»; *c°gʲa zəmbac*, *bzəjara izdəršᵊam* «Кто плохого не видел, тот хорошего не узнает»; *sasra imcac sas diznəq°gom* «Кто сам в гостях не бывал, тот гостей принимать не может»: *iču lγ°ra jbom* «Кто кушает, тот потолка не видит»; *xʲaca fə-aswam*, *xʲzə c°arta ilaxom* «В граб молния не ударяет, слава в постели не остается» и т. п.

При использовании в указанном смысле форм с префиксом *a-* и без него выявляется явный параллелизм (особенно в пословицах и поговорках); такой параллелизм названных форм очевиден при сравнении фраз, имеющих совершенно одинаковую структуру, как, например: *mlašra cəfa azdəram*, *a-c°a* — *a-xčə* «Голод не разбирает пищи, а сон (не ищет) подушки»; *a-mӧ°axqʲaӧ°ə dəqamzar*, *mӧ°ak°çaӧ°ə dqalomzt* «Если бы не было сбившегося с пути, не было бы и направляющего»; *a-ччara čᵊḳəwp* «Смех заразителен», но там же — *čᵊərhasra čᵊḳəwp*. «Зевота заразительна».

В одной и той же поговорке одно и то же слово может предстать перед нами как с префиксом *a-*, так и без него. Например, поговорка «Не столько дождя, сколько грому» в вышеуказанном сборнике Д. И. Гулия приводится так: *jšᵊədəwa ejpšᵊ a-k°a awam*; в другом месте в этой же поговорке слово «дождь» (*a-k°a*) он приводит без префикса *a-*: *jšᵊədəwa ajpš k°a awam* [4]. Или же ср. два варианта поговорки: *a-waӧ°* *imow hatər izak°əm* и *waӧ°* *imow paṭəw izak°əm* «Человек не ценит того, что имеет» и т. д.

Здесь же следует отметить, что в абхазском языке в определенных синтагмах, обычно при клятве, приветствии, прощании и им подобных устойчивых словосочетаниях имена выступают без префикса *a-*: *mšᵊə bzəja*! «Добрый день!», *x°lə bzəja*! «Добрый вечер!», *bzəja wbejt*! «Доброе увидел!» (ответ на приветствие) и т. д.

Факты применения в вышерассмотренных и им подобных случаях чистой основы слова в обобщенном значении приводят к заключению, что подобно тапантскому диалекту в абхазском языке при передаче обобщенного значения слова не было необходимости в префиксе *a-*; что и здесь чистая основа слова могла выполнять эту функцию, но только впоследствии в этой функции начала распространяться форма имени с префиксом *a-*. На ранней ступени развития абхазского языка префикс *a-* должно быть имел функцию определенности.

[3] «Абхазские сказки», Сухуми, 1940, стр. 47 (на абх. яз.).

[4] Д. И. Гулия, Учебник по абхазскому языку для второго класса, Сухуми, 1935, стр. 8 (на абх. яз.).

Помимо вышеуказанных фактов параллельного применения в абхазском языке в одном и том же значении именных форм с префиксом *а-* и без него, привлекают внимание случаи, когда эти две формы (с префиксом *а-* и без него) противопоставляются друг другу по признаку определенности и неопределенности.

Выше было показано, что, например, слово «человек» в абхазском языке может фигурировать как в виде *awaѡ°(ə)*, так и в виде *waѡ°ə* в одном и том же смысле, но когда это слово выступает в функции неопределенного местоимения («кто-то», «некто»; обычно с отрицательной формой глагола в значении «никто»), тогда оно встречается только без префикса *а-*, в виде чистой основы, например, *an lhak waѡ°ə izšᵊom* «Материнскую заботу никто (= «человек») не может оплатить»; *waѡ°ə išᵊj əmbac ala lx°ə dərxəjejt* [5] «Приготовили ей пищу, подобную которой никто («человек») еще не видел»; *aѡ°nk°a jgəlaz waѡ°ə dəѡ°namzt* [6] «В домах («дома, которые стояли») никто не жил» и т. д.

Таким же образом без префикса *а-*, в неопределенном смысле выступают имена прилагательные, когда они выполняют функцию наречий, например, *ax°č̣k°a daara tənč izəžə rѡ°wan* [7] «Дети очень спокойно (тихо) слушали его» (ср. *а-tənč* «спокойный; тихий»); *bzəja dənxojt* «хорошо живет» (ср. *а-bzəja* «хороший») и т. д.

Им же уподобляются основы масдара (без префикса *а-*), когда они представляют обстоятельство цели, например: *wxat°ə žəbnə žəbra wca*! «Сначала осуди себя, а потом иди судить (других)», ср. *а-žbra* (масдарная форма) «судить»; *waga h°ara dəwəməštən*! «Своего дурака просить не посылай!», ср. *а-h°ara* «просить»; *wož°ç°qʲa...aməγ aargojt, ih°an məsa məγaagara dcejt... jaajgejt, aməγ* [8] «„Сейчас же принесу.... колючку", — сказав, Муса пошел принести колючку („колючку-чтобы-принести")... принес колючку» и т. п. В этом случае *məγ-aagara* (глагол *aagara* «принести» вместе с объектом */a/məγ* «колючка») понимается как масдар назначения, обстоятельства цели, чем и обусловлено употребление слова «колючка» *məγ* без префикса *а-*.

С другой стороны, в том же абхазском языке засвидетельствованы случаи, где префикс *а-* явно выступает в функции показателя определенности. Так, например, судя по основе наречия *čᵊnak* «в один день», для слова «день» следовало ожидать *а-čᵊnə* (<**а-čᵊna*), однако «день» по-абхазски *а-mšᵊ*, а слово *а-čᵊnə* обозначает определенный день («тот день» = «в тот день»): *rra irəmgašᵊaz ar ancoz ačᵊnə jarh°on* «В день похода («в поход когда шли в тот день») известили того, кого не хотели с собой брать»; *amšᵊ bzəjan, amra pxon, а-čᵊnə pšara-mšᵊən* [9] «Хороший стоял день, солнце грело, тот день был день отдыха»...

Такая же картина наблюдается и в других именах, обозначающих время и место в определенном значении (в значении наречий): *akolxoz... jalaz anxac°a a-šəək°san daara aarəxra bzəja rowəjt* [10] «Колхозные крестьяне в том году получили очень хороший урожай»; *tamel mkanba dənxon ax°ça h°a jaxʲaštow a-kətan* [11] «Тамел Мканба жил в (том) селении, которое называют Ахуца» ....

Значение определенности у префикса *а-* имеется в порядковых числительных (ср. *а-xpa/а-xpat°i* «третий»). Значение определенности этот пре-

[5] «Абхазские сказки», стр. 46.
[6] Там же, стр. 29.
[7] Д. И. Гулия, Учебник..., стр. 16.
[8] Д. И. Гулия, Сочинения, Сухуми, 1947, стр. 302 (на абх. яз.).
[9] Д. И. Гулия, Учебник..., стр. 16.
[10] И. Г. Папаскири, Женская честь, Сухуми, 1949, стр. 70 (на абх. яз.).
[11] И. Г. Папаскири, У подножия Ерцаху, Сухуми, 1954, стр. 1 (на абх. яз.).

фикс явно привносит и в фамильные имена, ср. *čočua* (фамилия Чочуа) и *a-čᵒčua* (определенное лицо из фамилии Чочуа).

Любопытно в этом смысле и то обстоятельство, что при подчеркивании определенности имени путем применения указательных местоимений или же относительных прилагательных (будут ли они отглагольными или отыменными образованиями) оно обычно оформлено префиксом *a-*, например: *abri a-čḳ°ən* «этот парень»; *ico a-čḳ°ən* «идущий („тот-который-идет“) парень»; *aqᵒa°i a-čḳ°ən* «сухумский парень» и т. д.

Таким образом, префикс *a-*, который в данный момент в абхазском языке выражает обобщенную, словарную форму имени, по происхождению был выразителем о п р е д е л е н н о с т и (подобно тапантскому диалекту абазинского языка).

Форма имени с префиксом *a-* имела широкое применение (такое применение ее наблюдается и сейчас в тапантском диалекте). Она постепенно стала господствующей, обобщенной формой имени и постепенно исчезло противопоставление между определенной и неопределенной формами. Такая тенденция в развитии аналогичных образований нередкое явление в истории и других языков (документально это можно проследить хотя бы на фактах грузинского языка).

Что касается тапантского диалекта, который сохранил исходное противопоставление определенной и неопределенной форм имени (с префиксом *a-* и без этого префикса), то, возможно, сохранению такого противопоставления способствовало влияние адыгских языков, которые четко разграничивают определенные и неопределенные образования имен.

Весьма своеобразно, к тому же сложно обстоит дело в этом отношении в ашхарском диалекте абазинского языка. Ашхарский диалект, как известно, по ряду фонологических и грамматических явлений сближается с абхазскими диалектами [12]. Следует полагать, что и в этом случае в нем также широкое распространение получила форма имени с префиксом *a-* в обобщенном значении, ср. например, загадки: *az° qapšə aṭ°arta h°ra iwam* (*a-mca*) «На месте лежания („сидения“) красной коровы трава не растет (огонь)»; *c°ɔmla-daqa laγ°ra qala* (*a-laω°a*) «Без лестницы залезает на чердак (дым)»; *aca açaqa as' awejṭ* (*a-ləx°ta*) «Под закромом снег выпадает (сито)»; *ah jqamčə amω°a ik°ərs°uṗ* (*a-mat*) «Плеть князя на дороге валяется (змея)» и т. п.

Однако там же весьма часты в этом значении и чистые основы имен (без префикса *a-*), например: *ah jqamča amω°a ik°ərs°u* (*matə*) «Плеть князя на дороге валяется (змея)»; *zə-daqa cha* (*laγ°ra, q°əblə*) «Без реки мост (чердак, балка)»; *dombi-dəw latraa* (*warǯaq*) «Зубр-громадный глаза-вытаращил (камин)»; *zanə wandərk šᵊəla ak°nə aǯ°ə igon* «Однажды кто-то вез муку, нагруженную на арбу» и т. д.

Влияние в таких случаях тапантского диалекта на ашхарский диалект трудно исключить (хотя в отдельных случаях, может быть, проявляется исходное подразделение указанных форм подобно фактам, поныне сохранившимся и в абхазском языке).

Но в ашхарском диалекте (особенно в его апсуйском подговоре) привлекает внимание факт формирования новой о п р е д е л е н н о й формы имени.

В этом диалекте нами были выявлены особые формы именных основ, которые по существу совпадают с инфинитными формами статических глаголов (содержащих именные основы) обычно в прошедшем времени (реже — в настоящем). Эти формы с суффиксом *-z* (а иногда и с суффиксом настоя-

[12] К. В. Л о м т а т и д з е, Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов. С текстами, Тбилиси, 1954 (на груз. языке, резюме на русск. яз.). Загадки и тексты ниже приводятся по этой книге.

щего времени с *-w*) особо подчеркивают «определенность» имени. В таком случае имя может выступать без всякого префикса (или же иметь притяжательный префикс), но, что особенно важно, подобная определенная форма имени обычно снабжена и вышерассмотренным именным префиксом *a-* (чем такое образование и противопоставляется глагольной форме). Например: *x°oʒa-h° a dəqan. ahna dcan, çlaḳ dqalan, amaq° dək°ṭ°an, jpiqa dalagē. aʒ°ə jaadala dəmω°ejsan x°oʒaz dəjbejt* «Был какой-то мулла. Пошел в лес, полез на дерево сел на ветку и начал ее рубить. Проходил мимо него кто-то (один), увидел муллу (= „мулла-что-был“)»; «... *wara hajçba aqabžə, amca hazəqaça! hara šᵊ°arax hšəp̣-šta jωagap̣» rh°an aω°ašc°a abna ilalejṭ, aqabžəz amcag ʾ /i/qajçan dadṭalop̣ ... qabžəz dəg°ag°an dədək°lē...* „... ты, наш младший [брат] плешивый, разводи („сделай нам“) огонь!», сказав, два брата пошли в лес. Плешивый (= „что-был-плешивый“) сделал огонь и сидит около него... плешивый (= «что-был-плешивый“), рассердившись, отправился...» *..aω°nə jnašᵊəlan rəxω̈°axšc°aḳ jω̈°ənaxəmḳ°a jrbejṭ. janərəmbax «art haxšc°a abaca?» rh°ē. qabžəz abna daaləsxən, aω°ənəz dannašᵊəla jašc°ak°a ahbac°a jbejt* «... войдя в дом увидели, что нет их трех сестер. Увидев это („когда они их не увидели“), „эти наши сестры куда ушли?“ сказали. Плешивый выйдя из лесу и войдя („когда вошел“) в дом (= „дом-что-был“), увидел своих старших братьев» и т. п.[13].

Следует полагать, что эта своеобразная определенная форма имени с суффиксом *-z* сформировалась в ашхарском диалекте в результате влияния адыгских языков. Адыгские языки способствовали тому, что ашхарский диалект вновь развил противопоставление определенных и неопределенных форм имени, однако это осуществилось при помощи соответствующих, собственных (абазинских) языковых средств. Следовательно, нужно думать, что это уже имело место тогда, когда в ашхарском диалекте, подобно абхазскому языку, была расшатана категория определенности и префикс *a-* начал выступать в качестве показателя обобщенной, словарной формы имени. Этим же, должно быть, объясняется то обстоятельство, что ашхарскому диалекту понадобилось прибегнуть к отличному от тапантского диалекта способу выражения определенности в данном случае.

Что же касается влияния в этом отношении адыгских языков на тапантский диалект, то это, надо думать, осуществилось тогда, когда еще не было нарушено противопоставление определенной и неопределенной форм (с префиксом *a-* и без него); такое противопоставление указанных форм скорее утвердилось в этом диалекте в результате этого влияния.

На основе проделанного анализа соответствующих данных положение вещей в этом отношении в ашхарском диалекте представляется весьма сложным:

1. Подобно абхазскому языку, кажется нарушенным противопоставление определенной и неопределенной форм (с префиксом *a-* и без него) имени и, следовательно, становится возможным использование форм имени с префиксом *a-* в функции показателя обобщенной формы (хотя некоторые факты этого бывшего противопоставления определенной и неопределенной форм подобно опять-таки абхазскому языку кое-где и здесь могут проявляться).

2. Именно нарушение в прошлом этого противопоставления определенной и неопределенной форм имени стало основой для возникновения заново — под влиянием адыгских языков — определенной и неопределенной форм путем использования суффикса *-z* (для определенной формы имени).

---

[13] Подробнее см.: К. В. Ломтатидзе, Ашхарский диалект..., § 23.

3. Наряду с этим существует (как параллельная разновидность) в т о р и ч н о появившееся — под влиянием тапантского диалекта абазинского языка — противопоставление старого типа определенной и неопределенной форм (с префиксом *а-* и без него).

4. Вместе с тем к новому собственно ашхарскому образованию определенной формы имени — с суффиксом *-z* — присоединилась определенная форма и тапантской системы (с префиксом *а-*), и возникла определенная форма имени с двумя различными показателями (*а-— -z*).

Таким образом, в ашхарском диалакте абазинского языка в результате наслоения фактов различных исторических изменений и различных влияний одновременно можно зафиксировать, с одной стороны, одну и ту же форму имени с противоположной функцией, с другой стороны, различные формы (в том числе и контаминированные) с одинаковой функцией.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

Г. В. РОГАВА

ПСЕВДОПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ В АДЫГСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, в иберийско-кавказских языках переходные и непереходные глаголы различаются как по синтаксическим, так и по морфологическим признакам. В синтаксическом отношении непереходные глаголы имеют номинативную конструкцию, переходные — эргативную, а в морфологическом отношении переходные и непереходные глаголы показывают расхождения в выражении классных и личных показателей.

Оба признака переходности глаголов наблюдаются в большинстве иберийско-кавказских языков — каковы, с одной стороны, нахские, аварско-андийско-дидойские и другие языки, в которых наличны категории падежей в именах и категории грамматических классов в глаголах, а, с другой стороны, картвельские и адыгские языки, в которых классное спряжение глаголов заменено личным спряжением, а именам присуща категория падежей.

Но в некоторых иберийско-кавказских языках переходность глагола выражена только одним признаком. Так, например, в абхазском и абазинском языках при отсутствии в именах категории падежей переходность глаголов выражается морфологическим признаком, и, наоборот, в лезгинском языке в результате утраты категории грамматических классов переходность глаголов выражена только синтаксическим признаком.

Кроме глаголов номинативной (непереходной) и эргативной (переходной) конструкций, в указанных языках наличны также глаголы с одной и той же основой, которые в предложениях выступают как в номинативной конструкции, так и эргативной, так называемые глаголы лабильной (неустойчивой) конструкции. Высказано предположение, что «исторически лабильная конструкция предшествовала стабильной: стабильная эргативная конструкция возникает из лабильной» [1].

В абхазско-адыгской группе иберийско-кавказской семьи языков (как и в ряде других горских иберийско-кавказских языков) сохранилось значительное количество глаголов лабильной конструкции.

В этих же языках при отсутствии категории залогов от переходных глаголов могут образоваться непереходные глаголы и, наоборот, от непереходных глаголов — переходные глаголы; переходные глаголы становятся непереходными в образованиях категорий потенциалиса, взаимности, непроизвольности и др., а непереходные глаголы — переходными в образовании каузатива.

На материале адыгских языков наблюдаются и другие средства транзитивации непереходных глаголов [2].

---

[1] Арн. С. Чикобава, Проблема эргативной конструкции в кавказских языках: стабильный и лабильный варианты этой конструкции, «Изв. ИЯИМК», XII, 1942, стр. 243 (на груз. яз., резюме на русск. и франц. языках).

[2] М. А. Кумахов, Морфология адыгских языков, I, Нальчик, 1964, стр. 157; его же. Словоизменение адыгских языков, М., 1971, стр. 194—209.

Замена глаголов лабильной конструкции стабильной конструкцией в адыгских языках без каких-либо словообразовательных аффиксов, кроме аблаутного образования конечного гласного основы *ă/ə* (глагол адыгских языков «копать»: *ţă* — непереходный, *ţə* — переходный), происходит в результате утраты одного варианта — или переходного, или же непереходного, а также изменения семантики одного варианта, например, в адыгейском языке глагол лабильной конструкции *'°ă* «говорить» сохранил переходный вариант: *aš ar j-ă- '°ă* «тот говорит то», непереходный вариант изменил семантику: *ma- '°ă* «кукарекает (петух)» и др.

В настоящей статье наше внимание уделяется одному из случаев изменения непереходного глагола — без словообразовательных аффиксов — именно переходу инверсивных глаголов в транзитивные глаголы.

В кабардинском языке глагол, выражающий значение «мочь», *l'ă-ç̌ (ə)*, является двухличным непереходным глаголом инверсивного строя: *să ar s-l'-wă-ç̌* «я могу то» (букв. «то можно мне»), *wă ar p-l'-wă-ç̌* «ты можешь то», *abə ar l'-wă-ç̌* «тот может то» ..., т. е. в глаголе реальный субъект выражен личными префиксами косвенного объекта —*s-* (1-е лицо), *p-* < *w-* (2-е лицо), ∅- (3-е лицо), которые занимают место перед префиксом косвенного отношения [3]. В основе *l'-wă-ç̌*; *l'* < *l'ă* — приставочный элемент, *wă (o)* — префикс динамичности, *ç̌ (ə)* — корень.

В адыгейском языке этот же глагол *l'ăç̌ə* является переходным глаголом прямого строя — *să ar s-ă-l'ăç̌ə* «я могу то», *wă ar w-ă-l'ăç̌ə* «ты можешь то», *aš ar j-ă-l'ăç̌ə* «тот может то».

Адыгейский вариант в этом случае вторичное явление: непереходный глагол стал переходным прямого строя: адыг. *s-ă-l'aç̌ə* < **s-l'-ă-ç̌ə* < < **s-l'ă-wă-ç̌ə*. В адыгейской глагольной форме *s-ă-l'ăç̌ə*: *s-* — показатель как реального, так и грамматического субъекта (переходного субъекта), *ă-* < < *wă-* выражает динамичность, *l'ă-* — приставочный элемент (имя — преверб) сращен с корнем *ç̌ə* [4]. Поскольку адыг. *l'ăç̌ə* уже стал цельной, неразложимой основой, в причастии от этого глагола префикс отрицания *mə-*, согласно нормам адыгских языков, ставится перед основой; адыг. *zə-mə-l'ăç̌ə-ră-r* «тот, который не может то», ср. кабард. *zə-l'ă-mə-ç̌ə-r*, где префикс отрицания *mə-* стоит перед простой основой *ç̌ə*.

С другой стороны, в форме наст. времени в адыгейском языке префикс динамичности *ă-* (< *wă-*) ставится перед сложной основой; *l'aç̌ə* — *s-ă-l'ăç̌ə* < **s-wă-l'ăç̌ə* «я могу то», ср. кабард. *s-l'-wă-ç̌* < **s-l'ă-wă-ç̌*, где тот же префикс динамичности *wă-* (*o*) стоит перед корнем *ç̌ə*.

Чем вызвана в адыгейском языке перестройка непереходного инверсивного глагола **s-l'-ă-ç̌ə* в переходный глагол с прямым строем?

Для такой трансформации непереходного инверсивного глагола в адыгских языках имеются определенные условия: наличие сходства между переходными и инверсивными непереходными глаголами.

Основное сходство — это сходство по значению: адыг. *s-ă-l'ăç̌ə* и кабард. *s-l -wă-ç̌* — глагольные формы одинакового значения «я могу то». С аналогичными фактами имеем дело и в картвельских языках, ср. грузинский инверсивный глагол *me še-m-iʒli-a is* «я могу то», с переходным гла-

[3] Глагол «мочь» инверсивного строя и в картвельских языках, ср. груз. *me is še-m-i-ʒlia* «я могу то», *šen is še-g-i-ʒlia* «ты можешь то», *mas is še-u-ʒlia* «тот может то», где личные показатели реального субъекта, как известно, представлены префиксами косвенного объекта: *m-* (1-е лицо), *g-* (2-е лицо), ∅ - (3-е лицо). И в картвельских языках, подобно адыгским языкам, показатели косвенного объекта стоят перед префиксами косвенного отношения (в отличие от префиксов прямого объекта).

[4] Б. Берсиров, О некоторых случаях десемантизации компонентов сложных глаголов в адыгейском языке, ЕИКЯ, I, 1974, стр. 251.

голом *me če-v-ʒleb mas* «я смогу то» (где разница между ними по существу темпоральная).

Между переходными и инверсивными глаголами, кроме сходства по значению, в адыгских языках (а также в убыхском) наблюдаются сходства и по другим признакам—по признакам морфологии и синтаксиса.

В синтаксическом отношении имя — реальный субъект при переходных и инверсивных глаголах выражается одним и те же эргативным падежом, а реальный ближайший объект также одним и тем же именительным падежом, например, адыг. *ɕal' ă-m haɕă-r ə-šă-št* «юноша поведет гостя» — *ə-šă-št* двухличный переходный глагол, реальный и морфологический субъект *ɕal' ă-m* стоит в эрг. падеже, а реальный и морфологический ближайший объект *haɕă-r* в им. падеже, а в инверсивных глаголах *ɕal'ă-m haɕă-r fă-šă-št* «юноша сможет повести гостя» — реальный субъект (в данном случае морфологический косвенный объект) *ɕal'ă-m* стоит в эрг. падеже, а реальный ближайший объект (в данном случае морфологический субъект) в им. падеже.

Во-вторых, показатели реального субъекта переходных и инверсивных глаголов 1 и 2-го лица представлены одними и теми же префиксами (по происхождению местоименными корнями без огласовки), т. е. личными префиксами ряда эргатива — адыг. *s-* > *z-* (1-е лицо), *w-* > *b-*, *p-*, *p-* (2-е лицо), *t-* > *d-*, *ṭ-* (1-е лицо мн. ч.), $s_{,o}$- > $z_{,o}$-, $ṣ_{,o}$- (2-е лицо мн. ч.).

Эти префиксы в переходных глаголах выражают морфологический субъект и стоят всегда перед основой глагола — *s-šaγă* «я повел его», *p-šaγă* «ты повел его», *t-šaγă* «мы повели его», $s_{,o}$ *-šaγă* «вы повели его», а в инверсивных глаголах те же префиксы, показатели морфологического косвенного объекта, стоят перед префиксами косвенного отношения и выражают реальный субъект, адыг. *s-fă-šă-št-ăp* «я не смогу повести того», *p-fă-šă-št-ăp* «ты не сможешь повести его» ...

Расхождения в способе выражения личных префиксов между переходными и инверсивными глаголами наблюдаются в 3-м лице ед. числа: в переходных глаголах субъект в 3-м лице представлен префиксом *jə- /ə-* (< *jə-*), например, адыг. *aš să s-jə-šăšt* «тот меня поведет», а в инверсивных глаголах реальный субъект (resp. морфологически косвенный объект) в ед. числе представлен нулевым префиксом — адыг. *aš ar fă-šă-št* «тот сможет повести его».

При наличии таких сходств между инверсивными и переходными глаголами имеются определенные условия для перестройки инверсивных глаголов в переходные. Решающую роль в процессе транзитивации инверсивных глаголов играет ослабление функции префиксов косвенного отношения (превербов, версии, союзности и т. д.) и сращения их с корнем, в результате чего префиксы реального субъекта (морфологически косвенного объекта) 1 и 2-го лица языковым сознанием были восприняты как показатели морфологического субъекта (переходного субъекта), поскольку эти личные префиксы заняли место переходных личных префиксов — перед «корнем» глагола. Этому процессу способствовала падежная форма имени, общая для субъекта переходного глагола и косвенного объекта непереходного инверсивного глагола — эргативный падеж. В связи с этим в форме 3-го лица ед. числа появляется показатель переходного субъекта — префикс *jə-/ə-*(< *jə-*) — адыг. *aš ar ə-l'ăɕə-γ* (переход.), ср. кабард. *abə ar l'ă-ɕ-a-s*, (инверс.) «тот смог то». С другой стороны, в форме наст. времени в адыгейском языке, как и в других динамических глаголах, между личным префиксом субъекта и основой глагола появляется префикс динамичности *ă-* < *wă-*: адыг. *aš ar j-ă-l'ăɕə* < **jə-* — *wă-l'ăɕə* «тот может то», ср. кабард. *abə ar l'-wă-ɕ* то же.

В кабардинском языке в этом глаголе префикс косвенного отношения *l'ă-* не подвергся сращению с корнем и поэтому инверсивный глагол остался неизменным [5].

Таким образом, адыгейский глагол *aš ar ə-l'ăč̣əγ* «тот смог то» имеет все признаки переходности: а) эргативную конструкцию с прямым личным строем; б) личные префиксы переходного субъекта занимают место перед основой глагола *l'ăč̣ə — s-l'ăč̣ə- γă, p-l'ăč̣ə- γă, ə-l'ăč̣ə-γ...*; в) показатель 3-го лица переходного субъекта *jə-/ə-(< jə-)*. Но такой переходный глагол образовался от непереходных (инверсивных) глаголов не путем словообразования, например, с помощью аффиксов каузатива, фактитива и др., а в результате сходства по значению и по морфологическим и синтаксическим признакам между переходными и инверсивными глаголами. Поэтому такие глаголы следует считать не ординарными переходными глаголами, а псевдопереходными. В адыгских языках (а также в убыхском языке), по нашим наблюдениям, имеются и другие псевдопереходные глаголы.

Как было показано выше, в адыгских языках инверсивный глагол семантики «мочь» (который в адыгейском языке стал переходным) является динамическим глаголом. Но в адыгских языках имеются случаи, когда и статические инверсивные глаголы становятся переходными прямого строя. К числу таких глаголов можно отнести общеадыгский переходный статический глагол значения «держать» — адыг. *aš ar ə-'əγ*, кабард. *abə ar jə-'əγ-s,* «тот держит то», который имеет и динамический вариант — адыг. *aš ar j-ă-'əγə*, кабард. *abə ar j-ă-'əγ* «тот держит (поддерживает) то» [6].

Этимологически адыгский глагол *s-'əγ/ s-'əγ-s,* «я держу то» увязывается с убыхским статическим инверсивным глаголом *a-s-q̣a-γ* «я имею то» [букв. «то (*a-*) + в моей (*s-*) + руке (*q̣a*) + имеется (*γ*)»], ср. адыг. *s-'ə-γ* «я держу то» [букв. «то + в моей (*s-*) + руке (*'ă* < *q̣ă*) + имеется (*γ*)» [7]. Следовательно, судя по структуре убыхского непереходного инверсивного глагола *a-s-q̣a-γ*, адыгский глагол *s-'ə-γ* исторически был непереходным инверсивным, который в результате сращения приставки (*'ă* < *q̣a-*) с корнем *γ*[8] стал переходным. В убыхском языке приставка *q̣a-* не сращена с корнем, ср. убых. *a-s-qa-γ* «я имею то», но *a-s-qa-mə-γ* «я не имею того», вследствие чего указанный глагол остался непереходным инверсивным. Другой случай транзитивации статического инверсивного глагола — глагол «хотеть». Этот глагол в адыгских языках имеет более сложную историю, а изменение его переходности прослеживается только в моздокском говоре кабардинского языка.

Адыг. *să aš sə-fă-f(ă)*, кабард. *să abə-sə-x̥ʿej-s,* «я хочу то»— непереходный двухличный статический глагол с производной основой — адыг. *fă-jă*, кабард. *x̥ʿe-j*. Первый элемент этой основы *fă-/x̥ʿe* < *x̥ʿă-* — префикс объектной версии (ср. груз. *mas is u-n-d-a* «тот хочет то», где *u-* — префикс объектной версии, корневой элемент *jă*, следует полагать, выражает притяжательность [ср. адыг. *să-sə-j(ă)* «тот — мой (есть)», букв. «тот

---

[5] В кубанском диалекте кабардинского языка, а также в речи бесленеевцев аула Уляп в результате влияния адыгейского языка глагол «мочь» стал переходным: куб. *abə-ar j-a-l'ač̣* «тот может то», ср. кабард. *abə ar l'wăč* то же. В убыхском же языке переходный глагол *l' aḳl — a-s-l'aḳl'ən* «я могу то» (H. Vogt, Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo, 1963, стр. 141), вероятно, усвоен из адыгейского языка.

[6] См.: Г. В. Рогава, Об одном переходном статическом глаголе в адыгских языках, «Сообщения АН ГрузССР», XXVIII, 1962, 1, стр. 125—127.

[7] G. Dumézil, La verbe oubykh, Paris, 1975, стр. 119.

[8] Этот общий адыгско-убыхский глагольный корень *γ* выделяется и в других слу-«аях—адыг. *ar aš šə-γ*, кабард. *a'r abə s,ə-γ-s,* «то одето на него», кабард. *ar abə l'ə-γ-s,* тчо надето на него (на ногах)»...

мне принадлежащий есть», ср. также адыг. *mə-jă*, кабард. *me-j* «дикая яблоня», букв. *mə* «кислица» и *jă* «принадлежащий» и т. д.].

В основных диалектах адыгских языков в указанном глаголе, как и в других двухличных глаголах с прямым строем, субъект стоит в им. падеже, а косвенный объект — в эрг. падеже: адыг. *ar aš făj* (*ă*), кабард. *ar abə x'₀ej-s,* «тот хочет то» (букв. «тот нуждается им»).

В других абхазско-адыгских языках глагол «хотеть» имеет инверсивный строй: абх. *jə-s-tax-u-p̣*, убых. *a-s-q̣ašₐa-γ* «я хочу то» (букв. «то мне хочется»).

Как видно, относительно конструкции глагола «хотеть» адыгские языки расходятся с другими близкородственными языками, а также с картвельскими языками, груз. *me is m-i-nd-a*, занск. *ma tina m-o-ko* (*n*), сван. *mi eǯa m-a-ḳu* «я хочу то» (букв. «мне хочется то»)— инверсивные глаголы.

Следует полагать, что и в адыгских языках глагол «хотеть» исторически имел инверсивный строй, т. е. глагол *sə-p-fă-j*(*ă*) означал «я тебе нужен», где показатель грамматического субъекта *sə* выражал реальный объект, а морфологический показатель косвенного объекта *p* (< *w*) — реальный субъект. Как выше было указано, в абхазско-адыгских непереходных двухличных глаголах на первом месте стоит показатель субъекта, а на втором — показатель косвенного объекта, ср. адыг. *să wă sə-w-ă-žₐă* «я тебя жду» и т. д.

Но, как известно из специальной литературы, в адыгейском языке, например, при отсутствии в непереходных глаголах превербов направления *qă-* «сюда», *nă-* «туда» такая последовательность разграничения функций личных аффиксов субъекта и косвенного объекта не является стабильной. Так, двухличный непереходный глагол *sə-wă-žₐă* выражает как «я тебя жду», так и «ты меня ждешь», *sə-wă-pl'ə* «я на тебя смотрю» / «ты на меня смотришь» [9].

Поскольку в статических глаголах обычно не употребляются направительные превербы, то в них последовательность личных аффиксов не могла выполнить функции субъекта и объекта, в результате чего инверсивный строй глагола «хотеть» в основных диалектах адыгских языков изменил конструкцию, стал глаголом прямой конструкции: адыг *sə-p-fă-j*(*ă*) «ты меня хочешь» («я тебе нужен») > «я тебя хочу» («ты мне нужен»).

В моздокском же говоре кабардинского языка Т. Куашевой засвидетельствована особенность выражения функций падежей реального субъекта и реального объекта при глаголе «хотеть». Оказывается, в этом говоре реальный субъект при глаголе «хотеть» выражается эрг. падежом. а реальный объект — им. падежом: *šə-r f-x'₀ejs,*, *g₀ə-r f-x'₀ejs,* «лошадь вам нужна, подвода вам нужна», ср. литер. *šəm fə-x'₀ej-s,*, *g₀ə-m fə-x'₀ej-s,* то же [10].

Очевидно, что в данном случае моздокский говор кабардинского языка сохранил более архаичную, инверсивную конструкцию, но по другим признакам (примеры, приводимые Т. Куашевой) выясняется, что исходный непереходный инверсивный глагол здесь заменен переходным глаголом, поскольку в 3-м лице появился показатель переходного морфологического субъекта префикс *jə-*: *jə-x'₀ejs,* (*sjəpx'₀əm batjənč̣ă çəḳ jəx'₀ejs,* «мо-

---

[9] Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., 1941, стр. 356.

[10] Т. Куашева, Терские говоры, сб. «Очерки кабардино-черкесской диалектологии», Нальчик, 1969, стр. 155.

ей дочери ботиночки нужны» ср. литер. *sjəpx°əm batjənčă x'°ejs*, то же [11].

Таким образом, в моздокском говоре кабардинского языка инверсивный глагол «хотеть» стал переходным, точнее псевдопереходным глаголом, тогда как в других адыгских диалектах тот же инверсивный глагол заменен глаголом номинативной конструкции.

Возможно, моздокский говор кабардинского языка относительно трансформации глагола «хотеть» не стоит особняком. В связи с этим представляет интерес замеченный Т. М. Баговым в кубано-зеленчукских говорах кабардино-черкесского языка (аул Псоуче-Дахе) в глаголе «хотеть» наличие в качестве показателя реального субъекта 2-го лица неогласованного префикса *p-* (< *w-*) в глагольной форме *p-x'°ejmă* «если ты хочешь», ср. литер. *wə-x'°ej-mă* то же [12], ср. также *wă məl'k°* *px'°ej*? «тебе нужно богатство?» [13].

Наконец, еще один особый случай транзитивации двухличного непереходного глагола, но с прямым строем, в результате сращения префикса косвенного отношения с корнем имеет место опять-таки в моздокском говоре кабардинского языка.

Кабардинский двухличный динамический непереходный глагол прямого личного строя *ax'ărabə x'°ăzax'ăs*, «они его встретили» (букв. «они с ним встретились») в предложении *s,al'ăx'ăr k°ăwră zəbl'ă x'°ăzax'ăs*, «юноши, идя, одну змею встретили», как это замечено Т. Куашевой, в моздокском говоре представлен префиксом *jə-/ja-*: *abə ar jə-x'°ăzas*, «он его встретил», *abəx'ăm ar ja- / x'°ăzas*, «они его встретили», *s,al'ăhămă k°ăwră zəbl'ă jax'°ăzas*, «юноши, идя, одну змею встретили» [14].

В этом случае наличие префиксов грамматического субъекта 3-го лица *jə-* (ед. ч.) и *ja-* (мн. ч.) в моздокском варианте указанного глагола — один из морфологических признаков переходности глагола — мозд. *abə ar jə-x°ăza-s*, «тот встретил его». Следовательно, в моздокском говоре кабардинского языка двухличный непереходный глагол «встречать» подвергся транзитивации, хотя этот глагол не был инверсивным.

Но своеобразна вообще семантика глагола «встречать». Встреча субъекта с объектом — обоюдное, взаимное действие: *старик* (*S*) *встретил юношу* (0) = *юноша* (S) *встретил старика* (0). По-видимому, на этой основе произошла в моздокском говоре десемантизация префикса объектной версии *xă°-* и сращение его с корнем, в результате чего префиксы косвенного объекта 1 и 2-го лица перед окаменелым префиксом *x'°ă-* стали выражать переходный субъект (*să wă wə-s-x'°ăzas*, «я встретил тебя», *wă să sə-p-x'°ăzas*, «ты встретил меня») и в 3-м лице как переходном глаголе появился префикс 3-го лица переходного субъекта (*abə ar jə-x'°ăzas*, «он его встретил»).

Нами было приведено четыре примера образования в адыгских языках псевдопереходных глаголов от двухличных непереходных глаголов в результате сращения префикса косвенного отношения с корневым элементом. Из них три псевдопереходных глагола восходят к инверсивным глаголам, а один к двухличному непереходному глаголу прямого строя. Из рассмотренных псевдопереходных глаголов динамические псевдопереходные глаголы (адыг. *aš ar j-ă-l'aç°ə* «тот может то», мозд. *abə ar jə-x'°ăzas*, «тот встретил его») образованы от двухличных динамических непереходных глаголов (ср. кабард. *abə ar l' -wă-ç°* «тот может то», *ar abə x'°ăz-a-s*, «тот встретился с ним»), а статические псевдопереходные глаголы (адыг. *aš ar ə-*

[11] Там же.

[12] П. М. Багов, Кубано-зеленчукские говоры кабардино-черкесского языка, Нальчик, 1968, стр. 71.

[13] Там же, стр. 141.

[14] Т. Куашева, указ. соч., стр. 155.

-'əγ, кабард. *abə ar jə-'əγ-s*, «тот держит то», мозд. *abə ar jə-x̣'ej-s*, «тот хочет то») — от двухличных статических глаголов.

В адыгских языках, следует полагать, число псевдопереходных глаголов не ограничено указанными выше случаями. Ряд переходных глаголов с двухличными основами (общеадыг. *'ătə* «поднять» — адыг. *aš ar ə-'a--tə-γ*, кабард. *abə ar jə-'at-a-s*, «тот поднял то», общеадыг. *l'ăγ°ə* «видеть» — адыг. *aš ar ə-l'ăγ°ə-γ*, кабард. *abə ar jə-l'ăγ°a-s*, «тот увидел то» и др.) дают основание предполагать, что и они по происхождению являются псевдопереходными глаголами, причем первые слоги основ — *'ă-* и *l'ă-* суть окаменелые приставочные элементы — «рука» и «нога» [15].

В нашей статье указаны случаи транзитивации инверсивных глаголов в адыгских языках. Но инверсивные глаголы имеются и в других абхазско-адыгских языках, и надо полагать, что и в них возможен был переход инверсивных глаголов в транзитивные. Такая возможность более ярко прослеживается в убыхском языке, поскольку в этом языке между инверсивными и переходными глаголами наличны все те общие черты, которые были указаны выше между инверсивными и переходными глаголами адыгских языков, т. е., кроме сходства в семантике, также сходство в морфологии и синтаксисе.

В абхазском и абазинском языках при отсутствии категории склонения имен исключается сходство синтаксического порядка. Но и в этих языках инверсивные глаголы выявляют некоторые тенденции к транзитивации.

Так, в абхазско-адыгских языках от статических глаголов нельзя образовать форму повелительного наклонения, но в абхазском языке, как указано в специальной литературе, от инверсивных статических глаголов образуется форма императива, поскольку такие инверсивные глаголы по значению сходятся с переходными глаголами. Например, от инверсивного глагола *a-ha-ra* «понимать» императив *i-b-ahá*! «ты (жен. кл.) слышь!», но здесь, в отличие от переходного глагола, имеется показатель 2-го лица реального субъекта (морфологически косвенного объекта) *b* [16], а в абазинском языке в таких образованиях засвидетельствован один случай отсутствия показателя 2-го лица реального субъекта (морфологически косвенного объекта) — *i-mazla*! «имей то!» [17].

Инверсивные глаголы имеются, как известно, и в картвельских языках: *mas is uqvar-s* «тот любит его», *mas is da-e-çer-a* «оказывается, тот написал то» и т. д.

Но в картвельских языках между переходными и инверсивными глаголами сходство наблюдается только по значению — в синтаксическом и морфологическом отношении они расходятся: а) инверсивные глаголы имеют дативную конструкцию (груз. *mas is uqvar-s* «тот любит его»), тогда как переходные глаголы при наличии ближайшего объекта имеют эргативную конструкцию (*man is daçera* «тот написал то»); б) инверсивные и переходные глаголы расходятся в системе выражения личных аффиксов

---

[15] В адыгских языках имеются и одноличные непереходные глаголы с окаменелыми превербами, например, общеадыг. *l'a °ă* «просить»—*ar mă-l'a'°ă* «тот просится» [букв «вслед за кем-либо» (*l'ă* «нога») + *'°ă* «говорить»], в данном случае *'°ă* непереходный вариант (*ma-'°ă*) глагола лабильной конструкции. В результате сращения *l'ă* с корнем *'°ă* глагол стал одноличным — «просит вообще; просится». Релятивным этот глагол стал опять, но с помощью префикса косвенного отношения *jă-* : адыг. *ar aš jă-l' ă'°a-γ* «тот попросил его» и др.

[16] К. Ломтатидзе, Категория переходности в абхазском глаголе, «Изв. института языка, истории и материальной культуры», XII, Тбилиси, 1942, стр. 17 (на груз. языке, резюме на русск яз.).

[17] К. Ломтатидзе, Тапантский диалект абхазского языка, Тбилиси, 1944, стр. 175 (на груз. языке, резюме на русск. яз.).

реального субъекта во всех трех лицах: в переходных глаголах показатель 1-го лица реального субъекта (resp. показатель морфологического субъекта) представлен префиксом *v-*: *me is da-v-çere* «я то написал», а показатель 1-го же лица реального субъекта инверсивного глагола (resp. показатель морфологического косвенного объекта) — префиксом *m-*: *me is da-m-eçera* «я, оказывается, написал то» и т. д., тогда как в адыгских языках переходные и инверсивные глаголы, как было показано выше, имеют одну и ту же эргативную конструкцию и одни и те же личные показатели 1 и 2-го лица реального субъекта. Поэтому перестройка инверсивного глагола в переходные глаголы в таком виде, как это имеет место в адыгских языках, в картвельских языках не является возможной.

В картвельских языках переходные глаголы в заглавных временах имеют дативную конструкцию (*monadires moeḳla iremi* «охотник, оказывается, убил оленя») и они квалифицируются как переходные глаголы при наличии реального объекта (грамматически субъекта), но по существу эти глаголы сближаются с переходными глаголами только по значению: в структурном отношении они остаются непереходными.

Таким образом, выясняется, что транзитивация инверсивных глаголов из абхазско-адыгских языков прослеживается в адыгских (и убыхском) языках. Все такие глаголы в адыгских языках имеют двухсложные корни следующего состава: окаменелый префикс косвенного отношения + корень непереходного глагола. Как это известно, в абхазско-адыгских языках (как и других иберийско-кавказских языках) глагольные и именные корни исконного происхождения содержат один согласный элемент с огласовкой. Все многосложные корни исторически сложного состава.

В адыгских и убыхском языках в результате анализа многосложных глагольных основ возможно выявить определенное количество основ п с е в д о п е р е х о д н ы х глаголов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

А. П. ЮДАКИН

РОДИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТА В *ta*-ПРИЧАСТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КЛАССИЧЕСКОГО САНСКРИТА

1.1. Стиль кавья, достигший апогея в творчестве Калидасы, отличается исключительной цветистостью. Множество эпитетов, красочных и эмоциональных, служат для того, чтобы поразить воображение читающего, и скорее призваны оттенить внешнюю красоту изображаемого, нежели передать его внутреннее содержание. Внешнее преобладает над внутренним, форма над содержанием. Звуковые элементы часто имеют более важное значение, чем смысл предложения [1]. Правда, в творчестве самого Калидасы чувствуется удивительно рациональное использование поэтических приемов,но в дальнейшем для санскритских поэтов будет характерна погоня за чисто внешним эффектом.

Классический санскрит характеризует строгая нормализованность и регулярность форм, но это вовсе не означает, что язык был законсервирован в его развитии. Постоянное сосуществование литературного санскрита с менее синтетическими среднеиндийскими разговорными языками [2] сказывалось на грамматической системе самого санскрита. Этим, вероятно, объясняется дальнейшая эволюция именных предложений с причастной конструкцией и обилие сложных слов, размеры которых (например, у Дандина) достигают прямо-таки гигантских размеров и при передаче их содержания на другой язык распространяются в целые предложения.

1.2. В классическом санскрите конструкция с *ta*-причастиями одерживает верх над активным строем глагольного предложения; *ta*-причастия занимают прочные позиции в главных сферах языка — синтаксической, морфологической, лексической. Они выполняют функцию предиката; употребляются в качестве определений к существительным; входят в состав сложных слов, привнося в них ярко выраженный глагольный оттенок. Основной, но не единственной моделью именного предложения с предикативным причастием является логический субъект в инструм. падеже [3].

Как показывают наблюдения, процесс становления причастной конструкции сопровождается одновременным значительным распространением инструм. падежа, так что очень часто при глаголах различной семантики в одном и том же предложении могут стоять два инструм. падежа [4], из которых один относится к лицу, а второй к предмету или же оба могут относиться к предмету, причем один из них представляет собой инструментальный rei efficientis (действующего предмета), а второй обозначает причину или другие обстоятельства.

---

[1] L. R e n o u, Histoire de la langue sanskrite, Lyon — Paris, 1956, стр. 180.

[2] В. В. И в а н о в, В. Н. Т о п о р о в, Санскрит, М., 1960, стр. 24—25.

[3] Терминология упорядочена в соответствии с книгой В. З. Панфилова «Взаимоотношение языка и мышления», М., 1971.

[4] В. И. Ш е р ц л ь, Синтаксис древнеиндийского языка, Харьков, 1883, стр. 139.

1. «anena parihâsena vyâkṣiptam me manas tvayâ» H, 1, 3, стр. 24 [5] «Этой своей шуткой ты отвлек меня» (букв. «отвлек мою мысль = ввел в заблуждение»).

2. «talaiççiñjad valayasubhagaiḥ kântayâ nartito me yâm adhyâste divasavigame nîlakanṭhaḥ suhṛd vaḥ» (KM, 78 [6])

«На нем на закате дня сидит павлин, ваш друг, которого моя любимая заставляет плясать, хлопая руками с приятным звяканьем браслетов» (букв. «руками, имеющими приятно позвякивающие браслеты, моей любимой заставляется плясать и т. д.»).

Наибольший интерес представляют активные предложения типа *sprçâdi* (т. е. «подобные глаголу *sparç*») с моделью «объект в инструм. падеже + управляющий глагол + объект в вин. падеже» («касаться чего-либо с помощью чего-либо»). Все это глаголы различной семантики, но обязательно переходные.

3. «evam sannyasya karmâṇi svakâryaparamo 'spṛhaḥ sannyâsenâpahatyainaḥ prâpnoti paramâm gatim» (M, VI, 96 [7])

«Так, оставив дела, преданный исключительно своему делу, свободный от желаний, отречением искупая грехи, он достигает высшей цели»

4. «prâṇî prâpya rujâ punar na çayanam çîghram svayam muñcati» (Bh. Sv., стр. 216 [8]) «К тому же человек, прикованный (букв. „достигнув") к постели болезнью, по своей воле так быстро ее не покидает».

5. «atyutkaṭaiḥ pâpapuṇyair ihaiva phalam açnute» (H, 1, 3, стр. 24) «За очень большие добрые дела или грехи можно получить плату (букв. „плод") уже на этом свете».

6. «ciraprasuptaḥ kâmo me vîṇayâ pratibodhitaḥ» (Bh. Sv., стр. 264) «Флейта пробудила мою давно уснувшую любовь» (букв. «Моя давно уснувшая любовь флейтой пробуждена»).

Предложения с подобными глаголами примечательны тем, что при их обращении в страдательный залог или в *ta*-причастную конструкцию модель их меняется незначительно: падеж прямого дополнения превращается в номинатив, инструм. падеж косвенного дополнения слегка меняет функцию, становясь инструм. падежом логического субъекта (или косвенного дополнения).

Подобные случаи встречаются уже в Ригведе, но предложения с полной моделью там, как и следует ожидать, не столь многочисленны: с одной стороны, логический субъект в инструм. падеже при предикативном причастии встречается крайне редко, значит, на употребление инструменталя накладывает ограничение синтаксис, с другой стороны, эллиптический язык вед с короткими несложными предложениями не дает возможности для распространения модели с инструм. падежом в активном предложении.

Большое число глаголов типа *sprçâdi* полной модели встречается в эпосе. И это вполне понятно, потому что в этот период широко распространяется *ta*-причастная конструкция, симметричная данной активной модели, с тем же самым инструм. падежом (пример 6).

[5] H=Hitopadeça by Vishnu Sarma, Calcutta, 1872.
[6] KM=Kâlidâsa, Meghadûtam, London, 1911.
[7] M = Mânavadharmaçâstra, ed. by J. Jolly, London, 1877.
[8] Bh. Sv.= B h â s a, Svapnavâsavadattâ, Benares, 1936.

Как свидетельствуют факты живых языков, причастие может быть безразличным к залогу, одной и той же формой обозначая действие как активное, так и пассивное [9]. Так, например, в талышском: *hånda kitob* «прочитанная книга» и *hånda kas* «читавший человек». Примерно то же явление мы, вероятно, наблюдаем и в санскрите. Нечеткое противопоставление глаголов по принципу переходность — непереходность (см. ниже) и по преимуществу безлично-пассивный строй языка создавали благоприятные условия для внедрения *ta*-причастий в качестве предиката именного предложения для обозначения безлично-пассивного состояния. Очень важным представляется последнее утверждение, ибо от безлично-пассивного состояния возможен переход как к активной конструкции, так и к эргативной и пассивной [10]. В силу сказанного выше не представляется правомерным распространенное мнение, что *ta*-причастные конструкции, построенные по полной модели типа: *mayâ kanyâ dṛṣṭâ* «я (у)видел девушку» (букв. «мной (у)видена девушка»), имеют пассивное значение [11], но едва ли правомерной является и противоположная точка зрения [12].

1.3. С распространением причастной конструкции в классическом санскрите происходит сокращение активной конструкции с глаголами типа *sṛṛçâdi*. Так, во всей драме Бхасы Svapnavâsavadattâ («Увиденная во сне Васавадатта») встречается всего лишь несколько примеров. Несомненно, частота употребительности активной модели меняется от произведения к произведению, но основная тенденция заметна во всей классической литературе.

Вполне понятно, что каузативные глаголы как глаголы переходные реализуют свое значение в предложении по этой же модели типа *sṛṛçâdi* [13] (пример 6).

7. «tanme prâṇavyayenâpi jîvayaitân mamâçritân» (H, 1, 1, стр. 15) «А потому даже ценой жизни спаси жизнь их, моих подчиненных».

8. «samyagdarçanasaṁpannaḥ — «Наделенный надлежащим познанием,
karmabhir na nibadhyate — не связывается делами,
darçanena vihînas tu — а лишенный познания
saṁsâram pratipadyate» — подвергается сансаре».
(M, VI, 74)

И здесь мы сталкиваемся с интересным явлением: эту же активную модель переходных глаголов используют и непереходные глаголы (например, глагол *gam* «ходить, идти», *viç* «входить» и некот. др. Ср. с безлично-пассивными выражениями в латинском языке типа *itur* «они идут» — 3 л. мн. ч. от глагола *eo* «я иду»). Это явление, довольно распространенное в ведийском языке, менее частое в классическом санскрите.

9. «priyeṣu sveṣu sukṛtam — «Плоды добрых дел друзьям,
apriyeṣu ca duṣkṛtam — а злых — недругам
visṛjya dhyânayogena — оставив, он путем размышления
brahmâbhyeti sanâtanam» — достигает вечной брахмы».
(M, VI, 79)

[9] Л. А. Пирейко, Талышский язык, «Языки народов СССР», I, М., 1966. Для неиндоевропейских языков см.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. II, М.—Л., 1965, стр. 63—64, § 37.

[10] Ср. иную точку зрения: Г. А. Климов, Очерк общей теории эргативности, М., 1973 (особенно гл. 5).

[11] W. K. Matthews, The ergative construction in modern Indo-Aryan, «Lingua», III, 4, 1953.

[12] Т. Я. Елизаренкова, Эргативная конструкция в новоиндийских языках, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967.

[13] W. D. Whitney, Sanskrit grammar, London, 1955, § 282, b.

10. «atha vâyasas tena mitreṇa saha vicitrâlapaiḥ sukheṇa tasya sarasaḥ samîpam yayau» (H, 1, 3, стр. 28) «И ворон вместе со своим другом за различными разговорами (букв. „различными разговорами, с помощью различных разговоров") и не заметили, как подошли к озеру».

По всей видимости, даже в классический период в санскрите еще отсутствует четкое противопоставление глаголов по признаку переходность — непереходность. Поэтому некоторые глаголы могут употребляться то как переходные, то как непереходные и поэтому возможно употребление этих амбивалентных глаголов в неактивном (безлично-пассивном) значении, что и наблюдается в санскрите, хотя и не столь часто.

Инструм. падеж становится столь распространенным, что употребляется во всех случаях, когда формами глагола со страдательным значением нужно выразить агент или предметное подлежащее. Оставляя в стороне второстепенные случаи, следует особо упомянуть о страдательном причастии будущего времени (participium futuri passivi) на *-ya* и *-tavya*, используемом для передачи различных модальных нюансов: необходимости или возможности совершения действия, желания, вероятного предположения и т. д. Причастие на *-ya* и *-tavya*, соответствующее примерно латинскому герундиву на *-ndus*, *-endus* и греческому отглагольному прилагательному на -τέος, α, ον, отличаются от последних большей семантической насыщенностью. Употребляются они обыкновенно предикативно, и логическое подлежащее при них стоит в инструментале даже тогда, когда причастие употреблено безлично (примеры 13, 14). В этом случае причастие стоит неизменно в форме ср. рода ед. числа. При личном употреблении причастие согласуется со своим объектом (примеры 11, 12), и тогда его модель ничем не отличается от модели *ta*-причастной конструкции.

11. «nanvâsanasthenaiva bhavatâ çrotavyo mahasenasya saṅdeçaḥ» (Bh, Sv., стр. 279) «Право, ты можешь выслушать это послание Махасены сидя».

12. «caturbhir api caivaitair
nityam âçramibhir dvijaiḥ
daçalakṣaṇako dharmaḥ
sevitavyaḥ prayatnataḥ»
(M, VI, 91)

«Дваждырожденными, находящимися в четырех ашрамах,
дхарма, имеющая 10 признаков,
должна всегда исполняться усердно».

13. «abhitas tapovanena bhavitavyam» (Bh. Sv., стр. 44) «Где-то рядом должна быть святая обитель».

14. «anâgatayâ bhavitavyam (Bh. Sv., стр. 214) «Она, должно быть, и не приходила».

15. «na ceddhantavyo 'si mayâ (H, 1, 3, стр. 19) «А не то я тебя убью» (= «а не то я могу тебя убить»; букв. «а не то ты мной будешь убит»).

Последний пример — причастие со вспомогательным глаголом, указывающим на лицо, еще раз свидетельствует о таком большом распространении аналитических форм, что этот процесс захватывает и второстепенные грамматические явления.

1.4. Вышеизложенные частные, но довольно интересные явления, сопутствующие становлению *ta*-причастной конструкции, позволяют судить о ее полной победе над активным строем предложения. Видимо, правомерно виделять в санскрите классического периода три типа конструкций: активную глагольную, пассивную глагольную и активно-пассивную (быть может, лучше нейтральную) конструкцию *ta*-причастий, пришедшую на смену безлично-пассивной конструкции ведического и эпического периодов за счет ее распространения производителем действия

в инструм. падеже и соответствующих трансформаций в значении. Ориентировочно можно говорить, что ее развитие достигает апогея в творениях Калидасы.

С этого времени *ta*-причастная конструкция должна медленно, но неуклонно трансформироваться. Об этом сигнализирует прежде всего употребление *ta*-причастий в функции вспомогательного глагола (пример 16), точно так же как в эпическом санскрите обеднение семантики глагола приводило к использованию пассивного глагола на *-ya* в качестве вспомогательного. Встречаются подобные глаголы и в классическом санскрите: *yatra na vidyante* «где нет» (от глагола 6-го класса *vid* с основой презенса *vind*).

16. aramaṇîyaḥ saṁvṛttaḥ sa grâmaḥ (Bh. Sv., стр. 66) «В деревне стало неинтересно» (букв. «Непривлекательной стала эта деревня»).

17. tûṣṇîkaḥ saṁvṛttaḥ (Bh. Sv., стр. 141) «Он замолчал» (букв. «Он сделался молчалив»).

Первое, что бросается в глаза при исследовании санскритских текстов (ср., например, Махабхарату и Хитопадешу), это замена стандартной активной эпической конструкции типа *markaṇḍeya uvâca* («Маркандея сказал») симметричной ей причастной конструкцией с агентом в инструментале: *uktam mayâ* «я сказал», *kâkenoktam* (= *kâkena uktam*) «ворон промолвил» и т. д., нетрудно заметить, что непассивная глагольная конструкция противопоставлена причастной. В драме Бхасы Svapnavâsavadattâ встречается довольно много глаголов в страдательном залоге. Их отношение к *ta*-причастной конструкции составляет примерно 1 : 2, и, значит, они как будто могут включиться в противопоставление к ним, но из этого списка сразу же следует исключить пассивные глаголы в 3-м лице повелительного наклонения: все они используются безлично для передачи всевозможных модальных оттенков, в том числе они иногда выполняют функцию герундива (страдательного причастия будущего времени). Число глаголов в страдательном залоге уменьшится более чем в два раза. В числе оставшихся глаголов есть формы, повторяющиеся много раз (типа *ucyate*, *çrûyate* «он говорит», «он слушает»). К тому же многие из этих глаголов употреблены безлично и только пять примеров построено по типичной модели страдательного глагола: с агентом в инструментале и объектом в номинативе. И этим возрождением страдательный залог, по-видимому, обязан все той же причастной конструкции.

1.5. Обращают на себя внимание предложения с предикативными *ta*-причастиями, построенные по другой модели, а именно: с логическим субъектом не в инструм. падеже, а в род.[14]. Быть может потому, что подобных примеров немного, в учебниках грамматики о предложениях с агентом в род. падеже говорится вскользь, иногда вовсе на них не останавливаются. Но если учесть, что в грамматике Панини (например, II, 3, 67) такое употребление род. падежа предлагается как норма, станет понятной важность этой конструкции в санскрите.

18. «tatrabhavatî vâsavadattâ me bahumatâ» (Bh. Sv., стр. 177) «Я обожал г-жу Васавадатту» (букв. «г-жа Васавадатта мной очень чтима»).

19. «padmâvatî bahumatâ mama yadyapi rûpaçîlamâdhuryaiḥ» (Bh. Sv., стр. 171) «Хотя Падмавати я очень чту за кротость, красоту и прелесть».

20. «pûrvam tvayâpyabhimatam (= tvayâ api abhimatam) gatam evam âsît (Bh. Sv., стр. 11) «Такое обращение ты тоже одобряла прежде» (объяснение примера дано ниже).

[14] Ср. включение род. падежа в число падежей подлежащего эргативной конструкции предложения в эскимосском, лакском, алеутском и других языках. См.: И. И. Мещанинов, Эргативная конструкция в языках различных типов, Л., 1967, гл. V и VI, стр. 105, 113, 120 и сл.

21. «tasya bhartṛdârikâ pratîṣṭâ ca» (Bh. Sv., стр. 94) «И принцесса была принята им».

К сожалению, малое число примеров, которыми мы располагаем, не позволяет с уверенностью делать те или иные выводы. Казалось бы, можно согласиться с точкой зрения Уитни [15] и принять род. падеж за посессивный (притяжательный) при абстрактном существительном, но это опровергают последующие примеры. Рену тоже объясняет род. падеж субстантивацией и адъективацией причастия, с которым этот падеж соотносится [16].

Ближе всего к решению данного вопроса стоит Бенвенист [17]. Отвергая взгляд на западнодревнеперсидский перфект переходного глагола как пассивный по значению, он на основе лингвистических данных нескольких языков делает вывод о посессивном характере перфекта с субъектом в генитиве.

Сравним примеры 19 и 20, в которых местоимение сочетается с причастием от одного и того же глагольного корня, но стоит в различных падежах: в первом случае в род. падеже по полной модели *ta*-причастной конструкции со вспомогательным глаголом (им. падеж + инструм. падеж + причастие + вспомогательный глагол). В обоих случаях мы имеем дело с логическим субъектом *ta*-причастной конструкции. В примере 21 действующее лицо также выражено род. падежом. Но это только начало дифференциации данных двух типов конструкций: и в том, и в другом случае организующим центром предложения является грамматическое подлежащее, что и проявляется в согласовании последнего со сказуемым-причастием. Таким образом, перестройка на логическом уровне еще не находит адекватного выражения в грамматике.

Во всех имеющихся примерах с *ta*-причастием соотносится действующее лицо в род. падеже (чаще выраженное местоимением, реже существительным), а не предмет. Это дает основание предположить, что классический санскрит данного периода вырабатывает особую конструкцию с агентом в род. падеже для личных имен в качестве противопоставления *ta*-причастной конструкции с логическим субъектом в инструментальном rei efficientis для имен неодушевленных.

Обратим внимание на особенности эргативной конструкции в дардских языках [18]. Так, например, в языке тирахи эргативная конструкция при подлежащем-существительном часто отсутствует, в то время как подлежащее-местоимение ставится в косв. падеже. В некоторых других языках этого же языкового массива (пашаи, майян) наблюдаются два типа эргативной конструкции: один для подлежащего-существительного, другой для подлежащего-местоимения. Санскрит классического периода также создает две параллельные конструкции для местоимений при *ta*-причастиях: в одной из них, подобно существительным, агент стоит в инструм. падеже, в другой — в род.[19]: *mayâ kanyâ dṛṣṭâ* «Я (у)видел девушку», *tasya bhartṛdârikâ... pratîṣṭâ ca* «И он принял принцессу».

Нужно, однако, отметить, что второй процесс не смог пробить себе дорогу, распространиться в широком масштабе и на существительные. Конструкция с субъектом в генитиве вырождается, передав свои функции конструкции с субъектом в инструм. падеже. И таким образом, конструкция в инструм. падеже является вторым этапом на пути становления эрга-

[15] W. D. Whitney, указ. соч., § 297.
[16] L. Renou, Grammaire sanskrite, 1—2 , Paris, 1930, § 153.
[17] Э. Бенвенист, Пассивное оформление перфекта переходного глагола, сб. «Общая лингвистика», М., 1974.
[18] Д. И. Эдельман, Дардские языки, М., 1965, стр. 32.
[19] Т. Я. Елизаренкова, указ. соч., стр. 116.

тивного строя предложения, полное развитие которого мы наблюдаем в западных новоиндийских языках (панджаби, хинди и др.).

1.6. В ведийском языке глагол-связка в именном предложении употребляется для более точного указания на время протекания действия или для подчеркивания тех или иных модальных оттенков, причем безотносительно к лицу, о чем свидетельствует частое употребление вспомогательного глагола в 3-м (нейтральном) лице. Происходит разложение синтетического перфекта [20], который начинает употребляться для обозначения прошлых действий настоящего, а также для выражения некоторых модальных оттенков, чаще потенциальности, возможности совершить действие [21].

Классический санскрит вырабатывает аналитические формы с *ta*-причастиями, симметричные перфекту для обозначения результата действия. Трудно сказать, насколько справедливо для данного периода называть описательные формы из *ta*-причастий со вспомогательным глаголом «быть, становиться» в презенсе или перфекте аналитическим перфектом и плюсквамперфектом [22], но несомненно то, что распространение вспомогательного глагола связано с необходимостью обозначить действующее лицо, если вспомогательный глагол сочетается с причастием от непереходного глагола, или уточнить объект, на который направлено действие, выраженное причастием от переходного глагола. Таким образом, вспомогательный глагол скорее служит как бы флексией глагола, нежели является собственно глаголом-связкой. В классических текстах очевиден опережающий рост вспомогательного глагола в первых двух лицах по сравнению с 3-м лицом. По-видимому, только в эпоху расцвета классического санскрита мы можем говорить о более или менее четком противопоставлении личного и безличного глагольных значений; формы последнего не менее часты и разнообразны, чем формы первого.

Что касается временного плана, то его обозначение является для вспомогательного глагола второстепенным, что можно проиллюстрировать примерами.

22. «tato 'ham api nirgato 'smi» (Bh. Sv., стр. 66) «Поэтому я и ушел».

23. «âryaputreṇa virahitotkaṇṭhitâ bhavâmi» (Bh. Sv., стр. 135) «С царем (букв. „сыном почтенного арийца“) в разлуке я тоскую».

24. «vayasyabhâvena çâpito 'si» (Bh. Sv., стр. 170) «Во имя дружбы я тебя прошу (заклинаю)».

25. «sâ tvayâ dṛṣṭâ bhavet» (Bh. Sv., стр. 244) «Быть может, видел ты ее?» (букв. «она тобой видена, быть может»).

26. «grâmas tatroṣitavân asmi» (Bh. Sv., стр. 49) «Я жил там в деревне».

27. «anantaram sarve jâlanibaddhâ babhûvuḥ» (H, 1, 1, стр. 12) «Тотчас же все они попали в сеть» (букв. «были пойманы сетью»).

В примере 22 причастие со вспомогательным глаголом обозначает результат прошлого действия, т. е. употреблено в своем оригинальном значении результативного перфекта. А вот в следующих двух примерах (23 и 24) причастие, как показывает контекст, обозначает одно и то же время — настоящее. Разница между этими двумя предложениями заключается в производителе действия, что и отражено во вспомогательном глаголе. Назвать данные аналитические формы описательным перфектом было бы крайне неверно; в противном случае нам пришлось бы для примера 27, где аорист передается перфектным причастием в соединении со

[20] L. R e n o u, Grammaire sanskrite, § 278.

[21] В. И. К а л ь я н о в, Средства выражения прошедшего времени в эпическом санскрите, «Уч. зап. ин-та востоковедения», 1958, 13, стр. 25.

[22] Там же, стр. 38—40.

вспомогательным глаголом в перфекте, ввести понятие плюсквамперфекта в квадрате [23]. Примеры 25 и 26 иллюстрируют употребление *ta*-причастий со вспомогательным глаголом в функции имперфекта. В первом случае вспомогательный глагол уточняет лицо логического объекта, вспомогательный глагол второго примера указывает на действующее лицо.

Из всего вышесказанного следует, что классический санскрит дает образец временной дифференциации *ta*-причастной конструкции, обозначавшей одно — наличие в настоящем результата прошлого действия. Совершенно так же в свое время в эпическом санскрите происходила дифференциация семантики активного перфекта.

1.7. Таким образом, прилагательные на **-to*, унаследованные многими индоевропейскими языками от более древнего состояния и находившиеся на периферии системы имени, постепенно втягиваются в глагольную парадигму и выступают в новом значении — в качестве причастий прошедшего совершенного времени.

Санскрит уже очень древнего периода использует эти причастия для обозначения состояния параллельно перфекту, издавна употреблявшемуся в этой функции. Утверждению причастий с этим значением благоприятствуют: склонность еще индоевропейского глагола к безличному обозначению действия, изменения, происходящие в грамматической системе языка (разложение медиума и появление пассива) [24], а также отсутствие симметрии в системе перфекта, который не смог выработать страдательного залога.

Появление страдательного залога, свидетельствующее о дальнейшей дифференциации глагола по признаку переходность — непереходность, способствует установлению в системе предикативных причастий на **-to* (выступающих эквивалентом перфекта для обозначения состояния) противопоставления действительного и активно-пассивного залогов симметрично системе презенса. Таким образом, предикативные причастия оказываются более приспособленными для передачи значения состояния, нежели перфект. К тому же последний подвергается все большему влиянию систем презенса и аориста, начинает служить не только для обозначения состояния, но и действия в его развитии. С течением времени древний синтетический перфект в его первоначальном значении оказывается аналитической формой (предикативные причастия на **-to* + вспомогательный глагол *bhû*, *as* «быть, становиться»).

Одновременно с процессом втягивания перфекта в систему презенса и аориста происходит вербализация причастных форм, так что к концу классического периода в истории санскрита уже можно говорить о становлении в нем аналитического перфекта на основе предикативных причастий.

Но этим роль предикативных причастий в системе санскрита не ограничивается. Параллельно основной модели (логический субъект в инструм. падеже + объект в им. падеже + предикативное причастие) язык создает еще одну модель (агенс в род. падеже + объект в им. падеже + предикативное причастие) — модель с той же функцией, что и основная, но используется она по отношению к действующему лицу. По-видимому, вторая модель послужила в новоиндийском языке основой для развития эргативной конструкции, имеющей большое значение в построении предложения.

[23] Ср. там же, стр. 40.

[24] А. Н. Савченко, Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке, ВЯ, 1955, 4; его же, Происхождение среднего залога в индоевропейском языке, Ростов-на-Дону, 1960.

Такова эволюция предикативных причастий в санскрите. В латинском языке индоевропейские отглагольные прилагательные на **-to* тоже втягиваются в глагольную парадигму, но значительно быстрее, нежели в санскрите, и к тому же пути развития причастий на **-to* в этих языках не совпадают.

В латинском языке причастия на **-to* очень рано используются для образования пассивных форм времени и наклонения в системе перфекта. Для развития эргативной конструкции в латинском языке не было предпосылок, так как причастия на **-to* сразу вошли в глагольную парадигму, в то время как в санскрите они входили в состав именных предложений, чему, вероятно, способствовали местные разговорные языки, и только значительно позже в санскрите происходит трансформация предложений с *ta*-причастиями в глагольные.

Совершенно иные процессы протекают в древнегреческом языке. Распространение страдательного залога в греческом происходит в то время, когда в системе перфекта установилось противопоставление актива и медиума, и с самого начала не было условий и необходимости для использования причастий на -τός в системе перфекта. В качестве предикативных причастий в греческом языке используются медиальные причастия на -μένος и не в таком масштабе, как *ta*-причастия в санскрите. Правда, в конце классического и в постклассический период наблюдается значительное распространение отглагольных прилагательных на -τός и -τέος, но все же не в такой степени, чтобы эти прилагательные могли успешно конкурировать с медиальными причастиями. В греческом, так же как и в латинском, распространению отглагольных прилагательных на *-to* в предикативной функции препятствовал грамматический строй языка, в котором удельный вес именных предложений был невелик [25].

---

[25] A. M e i l l e t, La phrase nominale en indo-européen, MSL, 14, 1901, стр. 6—7.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

Б. И. СКУПСКИЙ

К ВОПРОСУ О ГРЕЧЕСКИХ ОРИГИНАЛАХ ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ

Как известно, греческими оригиналами древнейших славянских переводов мы не располагаем. Тем не менее исследователи языка старославянских памятников руководствуются определенными греческими текстами. С этой целью (как правило, без особых объяснений) обычно привлекаются тексты, содержащиеся в различных критических изданиях. Каждый из таких текстов представляет собою, в лучшем случае, более или менее удачную реконструкцию соответствующего первоначального текста (чаще — определенной его редакции), но он не воспроизводит подлинные рукописи, которые могли быть или же послужили действительными оригиналами первоначальных славянских переводов. Естественно, что такие греческие тексты не могут быть эквивалентами оригиналов первых славянских переводов, и ориентация на них неизменно чревата существенными ошибками.

На это в свое время обратил внимание еще М. Вейнгарт, рекомендовавший руководствоваться не подобного рода реконструированными текстами, а оригинальными греческими памятниками, такими, которые по своему возрасту и редакции могли бы быть очень близкими к вероятным оригиналам славянских переводов; в частности, возможным образцом такой рукописи евангелия он считает e61 (по классификации Г. Зодена) — рукопись Константинопольской редакции VIII в.[1]. Однако его рекомендации не были реализованы в практике последующих исследований языка старославянских памятников. Другим свидетельством озабоченности ученых проблемой греческих оригиналов является попытка Й. Вайса реконструировать так называемую Константинопольскую редакцию евангелия — предполагаемый оригинал первоначального славянского перевода этого богослужебного текста [2]. В последующей практике исследований языка старославянских памятников на текст этой реконструкции обычно ориентируются именно как на оригинал первоначального славянского перевода евангелия или по крайней мере как на наиболее близкий к такому оригиналу текст. Так как, однако, этот текст был встречен с большим недоверием (притом вполне оправданным), а также в связи с тем, что как в первоначальном славянском переводе евангелия, так и в позднейших его списках в известной степени отражаются явления не только предполагаемого оригинала, но и рукописей других (кроме Константинопольской) редакций, то ученые — исследователи языка старославянских памятников — часто не ограничиваются одним текстом, а стараются привлекать еще и греческий текст иной («западной») редакции, содержащийся

[1] См.: M. Weingart, [рец. на кн.:] V. Jagić, Zum altkirchenslavischen Apostolus..., «Slavia», I, 2—3, 1922.

[2] J. Vajs, Evangelium sv. Matouše, Praha, 1935; его же, Evangelium sv. Marka, Praha, 1935; его же, Evangelium sv. Lukaše, Praha, 1936; его же, Evangelium sv. Jana, Praha, 1936.

в различных других критических изданиях. Кроме того, многие исследователи пытаются учитывать и отдельные свидетельства оригинальных рукописей, руководствуясь при этом теми разночтениями, которые отражаются в критических аппаратах используемых изданий. Все же неудовлетворенность существующим положением продолжает ощущаться, и А. С. Львов, подобно М. Вейнгарту (однако лишь в самой общей форме), тоже высказывается за ориентацию на оригинальные греческие рукописи [3].

Вопросу о греческих оригиналах специально посвящена статья К. И. Логачева «О языке и тексте оригиналов древнейших славянских переводов» (ВЯ, 1976, 2). Подобно М. Вейнгарту, К. И. Логачев подверг, как нам кажется, вполне обоснованной критике установившуюся практику, согласно которой слависты редко обращаются к оригинальным греческим рукописям, а обычно руководствуются текстами различных печатных изданий (стр. 95). Однако он, в отличие от М. Вейнгарта, ориентирует ученых не на оригинальные греческие рукописи. По его мнению, исследователям можно было бы опираться лишь на определенные греческие типы «книга-текст», под которыми, согласно его представлениям, следует понимать реконструированные тексты двух различных греческих редакций Нового завета, явившиеся оригиналами первоначальных славянских переводов (стр. 97, 98). Это, однако, К. И. Логачев считает нереальным, ибо «до сих пор не существует отвечающих современным требованиям изданий тех двух греческих типов „книга-текст", к которым относились переведенные первыми славянскими переводчиками греческие рукописи» (стр. 97). В связи с этим (видимо, временно, до тех пор, пока такие издания еще отсутствуют) можно было бы, по мнению автора, видеть выход в учете тех ссылок, которые отражаются в аппаратах существующих критических изданий. Подобные примеры в практике исследований языка старославянских памятников известны. Однако и это невозможно, так как, по его утверждению, указанные «ссылки даются не всюду, а лишь в тех местах, которые имеют, с точки зрения издателей, экзегетическую значимость» (стр. 97). Таким образом, согласно К. И. Логачеву, в распоряжении исследователей языка старославянских памятников нет ни греческих оригиналов славянских переводов, ни тех греческих памятников, явления которых могли отразиться в этих оригиналах. Дело, по мнению автора, существенно усугубляется еще и тем, что мы не располагаем достоверными реконструкциями текстов первоначальных славянских переводов (по автору, славянскими типами «книга-текст»). Правда, «обычно слависты при изучении древнейших славянских переводов... обращаются к так называемому синодальному русскому переводу» (стр. 98), но такая ориентация, по мнению автора статьи, невозможна (там же). В результате «славистам, изучающим древнейшие славянские переводы, приходится заниматься решением уравнения с двумя неизвестными» (стр. 97), одним из которых являются греческие оригиналы, а другим — тексты первоначальных славянских переводов. В связи с этим слависты пытаются найти выход в соотнесении «данных древнейших славянских рукописей с отдельными ссылками в критических аппаратах научных изданий» соответствующих греческих текстов (стр. 98). Однако «подобное соотнесение никогда не даст ответа на важнейший вопрос: является ли то или иное соответствие... результатом деятельности переводчика/корректора по греческим рукописям или же... результатом параллельного автономного развития греческого и славянского текстов» (там же). Другими словами, выходит, что и п р и

[3] См.: А. С. Л ь в о в, Варьирование средств выражения в памятниках старославянской письменности, ВЯ, 1974, 6, стр. 90.

указанной практике явления древнейших славянских текстов тоже не могут получить объективно достоверных объяснений.

На наш взгляд, поставленные в статье К. И. Логачева вопросы греческих и славянских источников актуальны, а связанная с ними критика современного состояния исследований языка старославянских памятников является в целом справедливой. Следует сожалеть только, что автор ограничился лишь самой общей характеристикой положения дел в современной славистике и не счел возможным (в отличие от М. Вейнгарта) подкрепить свою критику конкретными примерами таких результатов исследований, ненадежность и недостаточность которых связана с ориентацией на недоброкачественные греческие (и славянские) источники, и совершенно не принял во внимание уже известных из литературы рекомендаций. В связи с этим критика К. И. Логачева не всегда достаточно убедительна, а надежность предлагаемых рекомендаций не может быть признана совершенно бесспорной.

Сказанное в первую очередь относится к вопросу о текстах первоначальных славянских переводов. Совершенно невозможно согласиться с автором, утверждающим, будто слависты обычно опираются на синодальный русский перевод как на эквивалент первоначального славянского: заслуживающие внимания такого рода исследования по языку старославянских памятников нам не известны. Сам же автор это высказывание не подтверждает примерами. Оговорка, согласно которой к синодальному русскому переводу обращаются «в частности, для уяснения текста в используемых научных изданиях греческого Нового Завета» (стр. 98), вызывает законное недоумение. Все такие реконструкции, насколько нам известно, осуществлялись до сих пор только специалистами-теологами, притом только в плане текстологическом, с целью в конечном счете реконструировать соответствующие (с точки зрения христианской церкви, некогда существовавшие) первоначальные тексты Нового завета (естественно, что нам, в частности, ничего не известно о том, чтобы такой проблематикой когда-либо занимались советские слависты, и, как результат этого, о соответствующих советских научных изданиях Нового завета); закономерно, никаких задач лингвистического характера такие реконструкции (даже самые удачные) никогда не решали. И у нас, и за рубежом обычными в практике являются попытки реконструкций положения, бывшего в текстах первоначальных славянских переводов, с учетом свидетельств древнейших — старославянских — памятников, в известной степени также церковнославянских. Правда, осуществляется это разными учеными не одинаково успешно, и потому такие реконструкции оказываются далеко не всегда достаточно достоверными; однако в целом прогресс в этом отношении достигнут немалый. Это свидетельствует о том, что работа по изучению языка старославянских памятников, вопреки мнению К. И. Логачева, может плодотворно продолжаться даже при отсутствии в непосредственном распоряжении славистов достоверно реконструированных текстов первоначальных славянских переводов.

Значительно сложнее представляется нам вопрос о греческих оригиналах первоначальных славянских переводов. Следует полностью согласиться и с М. Вейнгартом, и с К. И. Логачевым, что практика ориентации славистов (языковедов) на искусственно реконструированные греческие тексты, представленные в различных изданиях, является невозможной. Все такие тексты действительно не тождественны потенциальным греческим оригиналам первоначальных славянских переводов. Однако невозможно согласиться с мнением К. И. Логачева, согласно которому ученый может опираться только на один источник —

«книги-тексты», т. е. лишь на достоверно реконструированные тексты оригиналов первоначальных славянских переводов. Нам представляется такая рекомендация невозможной хотя бы уже потому, что такие оригиналы еще не известны и, тем более, не изданы. Если согласиться (в этом отношении) с К. И. Логачевым, то следовало бы всю ведущуюся в настоящее время работу по изучению языка старославянских памятников приостановить до реконструкции всех греческих оригиналов первоначальных славянских переводов (точнее — до выхода в свет научных изданий этих оригиналов). Едва ли можно сомневаться в том, что такая рекомендация не принесла бы видимой пользы науке и не содействовала бы прогрессу в исследовании языка старославянских памятников. К тому же (и это особенно отрадно) она явно противоречит реальному положению дел, не опирается на имеющиеся у нас достижения и не вытекает из уже известных из литературы рекомендаций.

В этой связи заслуживает самого пристального внимания отмеченное выше требование М. Вейнгарта опираться на свидетельства определенных оригинальных греческих рукописей: хотя такие источники и не могут быть безусловно отождествлены с текстами действительных греческих оригиналов, близость их к вероятным оригиналам не подлежит сомнению. Но эту рекомендацию, верную в принципе, следует считать недостаточной. Дело в том, что ни одна из известных нам рукописей так называемой Константинопольской редакции все же не может быть безусловно отождествлена с текстом вероятного греческого оригинала. Кроме того, давно установлено, что еще в первоначальных славянских переводах отразились (местами довольно значительные) следы влияния других (кроме Константинопольской) редакций. Поэтому полагаем, что при изучении языка старославянских памятников следовало бы учитывать свидетельства не одной, а целого ряда, возможно, самого большого числа рукописей различных редакций определенного возраста, потому что каждая из них могла бы быть или потенциальным оригиналом первоначального перевода, или же относиться к тем подлинным рукописям, которые оказали влияние на этот перевод. Поскольку первоначальные славянские переводы были осуществлены во второй половине IX в., а дошли до нас в списках, старшие из которых датируются концом X—XI вв., то полагаем, что следует непременно учитывать все известные греческие рукописи соответствующих текстуальных типов, хронологически относящиеся ко времени до XI в. включительно. Поскольку же исследователь языка старославянских памятников часто обращается и к показаниям широкого круга более поздних церковнославянских памятников, то в определенных случаях полезно было бы привлекать в качестве источников и более поздние греческие памятники, потому что не исключена также вероятность прямого или косвенного отражения в славянских памятниках и таких явлений, которые возникли под влиянием лишь позднейших греческих рукописей [4]. Следует с большим удовлетворением отметить, что необходимость ориентации на оригинальные греческие источники не только логически вытекает из известных нам рекомендаций, но и подтверждена практикой (примеры этого показал еще И. Добровский; в наше время эпизодический учет показаний оригинальных греческих источников является общим правилом).

Что же касается т е х н и ч е с к о й стороны дела, то здесь, на наш взгляд, нет существенных затруднений. Многие из тех рукописей, которые

[4] Вопрос об оригинале одного из новозаветных текстов — славянского перевода евангелия,— помимо изложенного, существенно осложнен и очень актуальной проблемой апракоса. Этого специального вопроса, имеющего отношение только к истории славянского перевода евангелия, в данной статье не рассматриваем.

представляли бы для нас определенный интерес, изданы и потому вполне доступны для самого широкого круга ученых. Однако изданных памятников все же не так много (в частности, по наведенным справкам, не издана и упомянутая выше рукопись ε61, которую так ценил М. Вейнгарт), да и работа с отдельными опубликованными текстами не всегда себя полностью оправдывает. Видимо, не случайно ученые, которые стараются учитывать показания оригинальных греческих рукописей, как правило, имеют дело не с отдельными (изданными) памятниками, а обычно судят о положении в греческих рукописях по тем разночтениям, которые содержатся в аппаратах привлекаемых исследователями критических изданий. К. И. Логачев, разумеется, в основном прав, говоря, что учет этих разночтений не может дать полного и исчерпывающего представления о положении в оригинальных греческих рукописях, потому что такие разночтения оговариваются не регулярно, а эпизодически. Однако он заблуждается, утверждая, что указанной чертой характеризуются в с е имеющиеся критические издания греческих новозаветных текстов; исключение составляет издание: H. v. Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt.., II, Göttingen, 1913 [5]. Это издание имеет одно очень важное преимущество перед другими: в его критическом аппарате последовательно оговорены в с е я в л е н и я текста, лексики, синтаксиса, морфологии и даже фонетики, орфографии и графики, содержащиеся в к а ж д о й из и с п о л ь з о в а н н ы х з д е с ь р у к о п и с е й (включая и все привлекаемые фрагменты). Поэтому указанное издание представляет особую ценность специально для исследователей языка старославянских памятников [6]. Умелое пользование им, как нам кажется, могло бы открыть огромные возможности для пересмотра ряда общепринятых положений, основанных на свидетельствах недоброкачественных греческих источников, и утверждения совершенно новых, объективно достоверных выводов.

В заключение заметим, что затронутые здесь (как и в статье К. И. Логачева) вопросы греческих оригиналов, а также ряд других непосредственно связанных с ними вопросов истории славянских переводов (особенно евангелия) более подробно изложены в одной из статей автора настоящих строк [7]. Известны также и п р и м е р ы привлечения свидетельств (по изложенным выше рекомендациям) оригинальных греческих рукописей по тексту и критическому аппарату издания Г. Зодена [8]. С учетом всего этого находим достаточным ограничиться здесь лишь приведенными выше самыми общими замечаниями.

[5] Здесь следует заметить, что К. И. Логачев ограничился в своей статье лишь самой общей характеристикой известных нам критических изданий греческих новозаветных текстов, не анализируя их. Издания Г. Зодена он совсем не упоминает.

[6] Вопросов о п р и з н а н и и текста Г. Зодена и других изданий, их а в т о р и т е т а или п о п у л я р н о с т и мы не касаемся, так как эти вопросы определяются критериями, не имеющими никакого отношения к языку.

[7] См.: Б. И. С к у п с к и й, Вопросы источников реконструкции синтаксиса первоначального славянского перевода евангелия, «Wiener Slavistisches Jahrbuch» (в печати).

[8] См., в частности: Б. И. С к у п с к и й, Об одном спорном случае дательного самостоятельного, «Дагест. гос. ун-та им. В. И. Ленина. Сборник научных сообщений. (Филология)», Махачкала, 1971; е г о ж е, Причастие в именительном на месте предиката дательного самостоятельного в славянских евангельских текстах, сб. «Studia palaeoslovenica. Josepho Kurz septuagenario dedicatum», Praha, 1971; е г о ж е, Об одном греческом соответствии славянского дательного самостоятельного, ФН, 1973, 4; е г о ж е, Славянский перевод Л. XXIII, 45, «Slovo», 23, Zagreb, 1973; е г о ж е, К вопросу о качестве первоначального славянского перевода евангелия, сб. «Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von Josip Hamm», Wien, 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

М. Ф. МУРЬЯНОВ

К СЕМАНТИКЕ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Опубликованная в разделе «Дискуссии и обсуждения» (ВЯ, 1976,2) статья А. С. Львова «Праславянский слой старославянской лексики» существенно уточняет сложившиеся представления о своем предмете, заменяя по ряду показателей субъективные впечатления предшественников достаточно надежными статистическими подсчетами фактического материала, лексики древнейших рукописей. Можно только пожелать большей определенности позиции автора в трактовке ключевых понятий, обозначенных им терминами «калька» и «искусственно (или: вновь) созданное слово». Здесь вкрались противоречия: констатируется, что в памятниках старославянской письменности «зарегистрированы кальки и, видимо, искусственно созданные слова, количество которых (*которых* относится к сумме или второму слагаемому? — *М. М.*) не менее 30%» (стр. 74), но далее об этих же памятниках сказано, что здесь «искусственно возникшая лексика (кальки и вновь созданные слова, которых не менее $^1/_3$ к общему словарному составу) наслоилась на обычный, или существовавший естественно, словарь...» (стр. 77).

В первом подсчете — кальки + искусственно созданные слова $\geqslant$ 30% словаря; а во втором подсчете — искусственно возникшая лексика = кальки + вновь созданные слова $\geqslant$ $^1/_3$ словаря.

Первый подсчет возражений не вызывает, но во втором подсчете некоторая величина *a* («искусственно возникшая лексика») оказывается больше или равной сумме величины *b* («кальки») и опять же величины *a* («вновь созданные слова»).

В качестве примера к искусственно созданным словам отнесено *подобиѥ* (стр. 75), греч. ὁμοιότης < ὅμοῖος „подобный“ < ὁμός „один и тот же“ [1].

Разве это слово является исключительно христианским [2]? Или настолько теоретическим, что нужды в нем дописьменная культура не ощущала? Не следует полагать ее слишком примитивной, не развившей более сложных, абстрагированных представлений, чем обмен каменными наконечниками стрел в пределах счета на пальцах одной руки. *Подобиѥ* производно от индоевропейского корня *dhabh-* «соответствовать» [3] и поэтому входило в праславянский словарь. В гнезде родственных слов находим *добь*, *добль* «доблестный», *бездобь* «напрасно», *неудобиѥ*; аналогиями аффиксаль-

[1] P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 3, Paris, 1974, стр. 300.

[2] Сомнителен уникальный пример из народного героического эпоса: «Игорь къ Дону вои ведетъ: уже бо бѣды его пасетъ птиць; *подобію* влъци грозу въсрожатъ, по яругамъ», что считают ошибкой первопечатного текста. Современный перевод: «Игорь к Дону войско ведет. Уже беды его подстерегают птицы по дубравам, волки грозу накликают по яругам» («Слово о полку Игореве», Л., 1967, стр. 58. Пер. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева и О. В. Творогова).

[3] J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 3, Bern, 1949, стр. 233—234.

ного оформления являются *подалиѥ* «расстояние», *подѣлиѥ* «добавление», *порѦдиѥ* «очередность», *пособиѥ* «союз в борьбе».

А. С. Львов справедливо считает неологизмом, созданным первыми славянскими переводчиками христианских текстов, префиксальное образование *прѣподобиѥ*. Однако нельзя согласиться, будто «употребление в этом слове суффикса *-иѥ*, конечно, искусственно, потому что отсутствует понятие собирательности» (стр. 76). Ведь суффиксом *-иѥ* выражалась не обязательно собирательность, он мог придавать слову отвлеченное значение действия, состояния, качества: *веселиѥ*, *зачѦтиѥ*, *наводиѥ* «наводок», *насилиѥ*, *отрочиѥ* «детство», *плодоносиѥ*, *съдравиѥ*. Ничего специфически христианского в этих словах нет, в древнейшие памятники церковной литературы они попали из существовавшего естественно словаря, как это было и во фразе *слоужити емоу прѣподобьемь и правъдоѭ* (Лк I, 75), по поводу которой А. С. Львов отмечает, что «еще более искусственно употребление *прѣ-* даже в значении усилительности, так как служить „с чрезмерным подобием“ едва ли естественно» (там же) [4].

Возразим, что в таких случаях лучше говорить о мере н а ш е г о понимания или непонимания древних сакральных текстов, где тщательность выбора слов и значений была предметом особой заботы эрудированных переводчиков, какими были Кирилл и Мефодий. От ошибок не были гарантированы и они, но факты говорят о том, что в данном случае ошибки не было. Эти факты находятся в области семантики слова *прѣподобиѥ*, о которой необходимо сказать следующее.

Прѣподобьемь передавалось греч. ὁσιότης, сакральный термин, отнюдь не замыкающийся в значениях «почтительность, уважение», которыми ограничивается разбираемая статья. Платон понимал ὁσιότης как умение человека правильно вести себя по отношению к богам; Новый завет употребляет это слово как обозначение благочестия человека, возрожденного христианской верой. В последующем термин многократно встречается в апокрифах как определение совершенного, «божеского» поведения [5].

До славянской миссии Кирилла и Мефодия при переводе Библии не раз возникала необходимость выразить ὁσιότης на других языках. Вульфила передал его через *sunja*, готское слово, которым он пользовался во всех случаях перевода греческого ἀλήθεια «истина» [6]. Иероним применил латинский сакральный термин *sanctitas* «святость» (букв. «огражденность»), грузинские переводчики употребили для этой цели в Лк I, 75 *гирсеба* «достоинство» и в Еф 4, 24 *сиѫмиде* «святость» (букв. «чистота»); армянские переводчики выбрали слово *србутюн* «святость» (букв. «чистота») [7].

В греческой Псалтыри 24 раза употреблено прилагательное ὅσιος — свойство человека, ощущающего внутренний страх перед божеством и вечными законами, действующего сообразно с этим чувством [8]. Славянская Псалтырь передает ὅσιος во всех случаях прилагательным *прѣподобьный* (латинская Псалтырь — через *sanctus* «святой», грузинская — через *ѫмида* «святой, чистый»). Если учесть исключительно большую роль цитат и реми-

[4] Ср. Еф 4, 24: *и облѣщисѧ въ новаго ѥловѣка създанаго на божию правьдоу и прѣподобьемь истинѣ* (Г. В о с к р е с е н с к и й, Послания святого апостола Павла к Коринфянам II-е, к Галатам и к Ефесянам..., Сергиев Посад, 1908, стр. 292).

[5] «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», hrsg. von G. Friedrich, 5, Stuttgart, 1954, стр. 492; W. B a u e r, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin, 1963, стлб. 1161.

[6] «Die gotische Bibel», hrsg. von W. Streitberg, 2, Heidelberg, 1928.

[7] За консультацию по кавказской филологии выражаем благодарность С. С. Какабадзе и К. Н. Юзбашьяну (ЛО ИВАН СССР).

[8] «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», 5, стр. 488—491.

висценций из Псалтыри в богослужебных текстах и вообще в средневековой литературе, то отпадут подозрения в том, будто славяне эпохи Кирилла и Мефодия, присутствуя на богослужениях, могли воспринимать *прѣподобиѥ* как случайное слово, лишь по недоразумению выражающее какое-то «чрезмерное подобие». [Художественно наиболее впечатляющий момент звучания этого слова — прокимен *Честна пред Господем смерть преподобных Его* (Пс 115, 6), подхватываемый обоими полухориями.]

Какова же смысловая основа этого странного религиозного словоупотребления, впоследствии привившегося и в народном языке [по Далю, в диалектах встречались *преподобный топор*, *преподобное долото*. Уже в Изборнике 1073 г. читаем: «Слава бо отцемъ прѣподобиѥ сновьнѥ» (л. 28 об.), т. е. речь идет о не имеющем никакого отношения к религии сходстве отцов и сыновей]? Почему славянское мышление пошло в этом случае по семантическому пути, столь разительно отличающемуся от выбранных готским, латинским, грузинскими, армянскими переводчиками Библии и впоследствии давшему ясно выраженное преобладание значению «похожесть» (ср. геометрическое *подобие* разных по величине, но одинаковых по форме фигур)?

Выбор пути был обусловлен тем, что хронологически между прежними переводами и переводом славянским находится эпоха, выработавшая теоретические основы византийского иконопочитания. Иконоборческое движение VIII в.— первой половины IX в. имело последствием двукратное изменение внутреннего убранства византийского храма: вначале в нем были истреблены живописные изображения событий и лиц священной истории, а затем они были восстановлены с еще большим размахом и блеском; эти изображения превратились в объект культа. К моменту славянской миссии получила окончательное оформление идея подобия между изображением и изображаемым на иконе, между человеком и его творцом [9], между литургиями, совершаемыми в храмах, и вечной небесной литургией, совершаемой ангелами (ср. пение на великом входе византийской литургии преждеосвященных даров: «Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо сл8жатъ» — и средневековую живопись на сюжет небесной литургии [10]). Принцип литургического подобия отразился в «Корсунской легенде», сочинении просветителя славян Кирилла, где читаем: «Славѡсловіе Божіе непрестанно бы всю нощь до пѡдобнаго часа бескверныя жертвы и прѣношения Христа Бога нашего, мало етерѡмь безмолвьствовавшимъ за подобіе такоѧ слоужбы» [11]. Латинскому переводчику удалось выразить семантику подобия только в первой половине фразы: «Collaudatio Dei incessabilis per totam noctem ad horam convenientem immaculati sacrificii et oblationis Christi Dei nostri, paullulum quibusdam silentibus propter reverentiam talis officii» [12]. Прилагательное *conveniens*, выражающее понятие «сходства», буквально передает смысл славянского оригинала, тогда как *reverentia* означает нечто совсем иное — «робость, внушенную (религиозным) благоговением».

Византийская религиозность мыслила степень подобия как величину подвижную, зависящую от образа действий и мыслей индивида [13] (ср. у

[9] В. В. Бычков, Образ как категория византийской эстетики, «Византийский временник», 34, М., 1973; J. Meyendorff, Le Christ dans la théologie byzantine, Paris, 1969, стр. 235—263.

[10] K. Wessel, Himmlische Liturgie, «Reallexikon zur byzantinischen Kunst», 17, Stuttgart, 1972, стлб. 119—131.

[11] «Die Korsuner Legende von der Überführung der Reliquien des heiligen Clemens», hrsg. von J. Vašica, München, 1965, стр. 77.

[12] Там же, стр. 68.

[13] Исходное положение — Быт 1, 26: *И рече богъ: сътворимъ человѣка по ѡбразѣ нашемоу и по подобію* (А. Михайлов, Книга Бытия пророка Моисея в древнесла-

Даля: *человек подобен Богу и подобен скоту*), т. е. значение имела не только наличная реальность в нравственной жизни человека, но и направленность намерений, воля. Отсюда — смысл древней молитвенной формулы *сподоби, господи*; отсюда — возможность превосходной степени, *прѣподобиѥ* [14], которой издревле титуловалось духовенство. По-гречески этому соответствовал титул ὁσιότης (в текстах Нила Анкирского, Феодорита Киррского, Филоксена). В силу сакральной природы верховной государственной власти византийская титулатура ὁσιότης применялась в обращении к императору [15]. В рукописи Оттона III (около 990 г.) монарх изображен на миниатюре вместо Христа, в мандорле и на троне [16]. Для Илариона, автора «Слова о законе и благодати» (1049), первого дошедшего до нас произведения древнерусской литературы, креститель Руси князь Владимир Святославич — *подобникъ* императора Константина, учредителя христианской государственной религии [17]. При воссоздании языкового колорита эпохи Ивана Грозного монарх и монашество как носители идеи богоподобия поставлены Пушкиным в один контекст слов Пимена о царях:

Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Царь Иоанн искал успокоенья
В *подобии* монашеских трудов.
Его дворец, любимцев гордых полный,
Монастыря вид новый принимал:
Кромешники в тафьях и власяницах
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь игуменом смиренным

(А. С. Пушкин, Борис Годунов)

Поэт употреблял слово *подобие* и в ином контексте:

В лета юности безумной
Поэтической Аи
Нравился мне пеной шумной,
Сим *подобием* любви!

(А. С. Пушкин Послание к Л. Пушкину)

вянском переводе, I, Варшава, 1900, стр. 6). Ср.: «Der Mensch als Bild Gottes», hrsg. von L. Scheffczyck, Darmstadt, 1969; P. Schwanz, Imago Dei als christologisch-anthropologiesches Problem in der Geschichte der Alten Kirche von Paulus bis Clemens von Alexandrien, Halle, 1970.

[14] Ср. латинские степени сравнения *conveniens — convenientior — convenientissimus* («Thesaurus linguae latinae», 4, Leipzig, 1909, стр. 840). Не все ясно в старославянском переводе доиконоборческого гимна «Свете тихий» (не позже V в.): *Достоинъ еси во вся времена пѣть быти гласы прѣподобными*, вместо < αισιαις<αισα «причитающееся по праву». По К. Т. Никольскому, это значит «гласами преподобных» («Пособие к изучению Устава богослужения...», СПб., 1907, стр. 208), по М. Н. Скабаллановичу — гласами «более наших подходящими» («Толковый типикон», 2, Киев, 1913, стр. 132—133). Эти толкования несостоятельны — ведь прилагательное является определением для голоса, а не для лица; сравнения с «нашими голосами» в тексте нет. Сам по себе *гласъ* способен обладать признаком святости, а следовательно, и подобия в религиозном значении этого слова, ср.: *иже трисвятымь гласомь ѡтъ серафимъ въспѣваемыи* («Slovník jazyka staroslověnského», 8, Praha, 1964, стр. 401), но не подразумевался ли создателями славянской литургии чисто художественный смысл подобия, созвучия голосов хора?

[15] «A patristic Greek lexicon», ed. by G. Lampe, 4, Oxford, 1965, стр. 976.

[16] W. Messerer, Zum Kaiserbild des Aachener Ottonenkodex, «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse», Nr. 2, Göttingen, 1959.

[17] Н. Н. Розов, Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в., «Slavia», XXXII, 2, 1963, стр. 167—168.

У лексикографов оба примера поставлены рядом, без какого-либо смыслоразличения [18], а между тем разница здесь огромна. Во втором примере перед нами факт нейтральной лексики, в первом — высокий церковнославянизм, не зарегистрированный в специальной монографии о пушкинских славянизмах [19]. В цитате из «Бориса Годунова» соотношение подобия поставлено отнюдь не между поведением царя и монахов, как это может показаться на неискушенный взгляд. *Подобие монашеских трудов* — это самодовлеющее целое, заключающее в себе скрытое художественное сравнение между землей и небом.

Разобранный пример с лексемой *подобиѥ* — *прѣподобиѥ* показывает правомерность выводов А. С. Львова: картина становления старославянского письменного языка может проясниться только после весьма тщательного анализа конкретных фактов. Умение находить семантические границы церковнославянизмов, немыслимое без привлечения содержания средневековой литературы, а не только ее лексико-грамматических форм, является актуальной задачей славянской исторической лексикологии.

---

[18] «Словарь языка Пушкина», 3., М., 1959, стр. 437.

[19] И. С. Ильинская, Лексика стихотворной речи Пушкина, «Высокие» и поэтические славянизмы, М., 1970.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «РУССКАЯ РЕЧЬ»

Исполнилось десять лет со времени выхода первого номера научно-популярного журнала «Русская речь» [1]. Потребность в подобном издании ощущалась уже давно. Еще в двадцатые годы по инициативе акад. Л. В. Щербы у нас выходили непериодические сборники под таким же названием («Русская речь»), а в пятидесятые и шестидесятые годы по инициативе акад. В. В. Виноградова и проф. С. И. Ожегова — тоже непериодические публикации под названием «Вопросы культуры речи». Наш современный журнал «Русская речь», завоевавший достаточно широкую популярность (его нынешний тираж — семьдесят тысяч экземпляров) и выходящий уже периодически, посвящается культуре русского языка в самом широком смысле [2]. Главный редактор акад. В. И. Борковский руководит журналом на протяжении всех десяти лет его существования.

В течение этих лет в журнале обсуждались вопросы, относящиеся к норме русской речи, к орфографии и орфоэпии, к особенностям современного литературного языка, к новым словам, возникшим в результате социальных движений современности, в результате научно-технической революции, к фразеологии, к истории отдельных слов и выражений, к истолкованию связанных друг с другом различных категорий в фонетике, грамматике и лексике, наконец, к тому, что может быть названо «правильно ли мы говорим?». Журнал широко отмечал различные знаменательные даты — филологические, исторические, политические,— прямо или косвенно связанные с жизнью языка, с его прошлым и настоящим. На страницах «Русской речи» выступали и выступают видные филологи, иногда и писатели, сами читатели журнала, все, кому дороги судьбы русского языка, сила и выразительность русской речи.

С позиции «культуры языка» всех людей можно условно подразделить на две категории: на тех, кто не обращает никакого внимания, ка́к они говорят и ка́к пишут, и на тех, которые следят за своей речью и которым совсем не безразличен способ передачи их мыслей и чувств. К сожалению, первая группа людей обычно гораздо более многочисленна, чем вторая. Поэтому, как нам представляется, одна из центральных задач журнала «Русская речь» заключается в том, чтобы по возможности расширить вторую группу людей и соответственно уменьшить первую. Чем больше мы будем следить за своим языком, тем выше станет его культура, а вместе с культурой языка и культура нашего поведения в обществе. Взаимозависимость этих двух понятий несомненна, хотя она не всегда осознается говорящими.

Нередко приходится слышать: «Не все ли равно, как сказать или написать, лишь бы тебя поняли». Между тем показать и доказать «почему не все равно», в подобных случаях необходимо, хотя сделать это не всегда просто. Одна из задач культуры языка и заключается в том, чтобы посто-

[1] Орган Института русского языка АН СССР, изд-во «Наука», шесть номеров в год, общий объем — 58 печатных листов.

[2] В дальнейшем изложении словосочетание *культура языка* понимается и как культура устной (в том числе разговорной), и как культура письменной речи, а словосочетание *культура речи* — лишь как культура устной речи.

янно обращать внимание говорящих и пишущих на аналогичные вопросы и предлагать посильные ответы. До сих пор журнал «Русская речь» и стремился к этому.

Как только что было отмечено, на вопрос о том, что такое «культура языка», можно ответить так: культура языка — это сознательное отношение говорящих и пишущих людей к тому, как они говорят и как пишут. Если у человека обнаруживается подобное отношение к языку, то даже независимо от того, ошибается ли он или не ошибается в отдельных трудных случаях, такому человеку близка культура языка. Если же аналогичного отношения у него нет, то и он сам оказывается далеким от понимания культуры языка и культуры речи. Это последнее положение хотелось бы особенно подчеркнуть: проблема не сводится к отдельным возможным лингвистическим промахам (контекстные нарушения нормы языка, вызванные теми или иными, не всегда простыми, причинами, встречаются, как известно, и у выдающихся писателей). Проблема заключается в том, чтобы воспитать с о з н а т е л ь н о е о т н о ш е н и е к р о д н о м у я з ы к у, к его возможностям и ресурсам. С первого взгляда подобная проблема кажется несложной. В действительности она сложна и многоаспектна.

Один из старейших советских писателей Ф. Гладков в свое время заметил: «Для нас, писателей, язык — это живая жизнь, это человек в его деяниях, в его душевных бурях и глубоких раздумьях» [3]. Язык — это не только «внешняя оболочка» мысли, но и как бы часть самой мысли, самого чувства. Позднее сходные суждения развивал один из наших замечательных стилистов К. Паустовский. В очерке «Поэзия прозы» он подчеркивал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку,— дикарь... безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа» [4].

Культуру языка Паустовский прямо связывает не только с общим уровнем образования каждого человека, но и его «гражданской ценностью». И это глубоко справедливо. Поэтому все, что способствует повышению уровня культуры языка широких кругов нашего общества, следует всячески поддерживать и развивать. Вот почему так значительны и задачи, которые стояли и стоят, в частности, и перед журналом «Русская речь». Разумеется, сформулированная Паустовским проблема — это проблема всей нашей литературы, всей нашей печати, радио и телевидения. Но и «Русской речи» здесь должно принадлежать одно из заметных мест.

Л. В. Щерба был глубоко прав, подчеркивая: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных хороших писателей» [5]. При этом Щерба считал, что у незрелых писателей подобные отступления могут быть недостаточно вдумчиво мотивированы контекстом. Возникает большая проблема о норме литературного языка и о возможных — допустимых или недопустимых — отступлениях от нее. На все эти вопросы и обращает внимание журнал «Русская речь».

С позиции теории вопрос не сводится к директивным указаниям— «так можно сказать (написать), так нельзя сказать (написать)». Гораздо важнее и труднее объяснить, п о ч е м у так сказать (написать) допусти-

[3] Журн. «Октябрь», 1954, 9, стр. 191.
[4] К. П а у с т о в с к и й, Собр. соч. в шести томах, 6, М., 1958, стр. 636—637.
[5] Л. В. Щ е р б а, Спорные вопросы русской грамматики, «Р. яз. в шк.», 1939, 1, стр. 10.

мо, а иначе сказать (написать) недопустимо или нежелательно. При этом необходимо считаться с постоянным развитием языка и его литературной нормы. Легко, например, запретить не говорить неправильно о ком-либо, что «он с 1930 года рождения» (вместо правильного без предлога *с*: «он 1930 года рождения»). Гораздо важнее о б ъ я с н и т ь, почему появившаяся в подобных случаях ошибочная конструкция с предлогом *с* противоречит грамматической семантике самого предлога *с* и почему новая конструкция не обогащает язык, а лишь затемняет его выразительные возможности. Как общий постулат: новое «разумное» обычно принимается языком, новое же «неразумное», мешающее языку в его коммуникативной и смыслоразличительной функциях, языком, литературной нормой обычно не принимается. Разумеется, отступления от этого общего правила (и они нередки) осложняют всю проблему. «Русская речь» и стремится обращать внимание своих читателей и на подобные явления.

Когда дело идет о культуре языка, то здесь нет мелочей. Как нам представляется, большие вопросы теории литературного языка научно-популярный журнал должен освещать на конкретном языковом материале, на языке, который мы постоянно слышим, постоянно «ощущаем», привлекая в необходимых случаях и факты, относящиеся к истории языка. Следует всегда помнить знаменитый девиз Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости...» [6].

Разумеется, литературная норма языка подвижна и динамична. То, что еще вчера не было нормой, сегодня может стать нормой. Поэтому и «Русская речь» должна чутко реагировать на самый процесс развития языка и считаться с ним в своих необходимых рекомендациях: «это допустимо, а вот это пока не принято или вообще не может быть принято» (подобные случаи тоже не редкость). Разграничение целесообразных и нецелесообразных изменений в литературной норме языка следует проводить неуклонно, но всегда с большим тактом. Подобное «вмешательство» в объективный ход развития языка никогда не может стать опасным для языка, если сами рекомендации опираются на строгий учет закономерностей его развития. Недаром интерес к проблеме «планирования литературного языка» сейчас возрос во всем мире.

Перед культурой языка возникают важные задачи. Известно, какое большое значение всегда придавали культуре языка В. И. Ленин и А. М. Горький. В нашу эпоху, эпоху великих социальных движений, в эпоху науки и техники, язык стал развиваться особенно интенсивно. По новейшим данным, лексика наиболее известных европейских языков во второй половине нашего века каждые десять лет изменяется почти на 25 процентов. И дело здесь не только в новых словах, но и в новых значениях старых слов, в новых словосочетаниях, а за пределами лексики — в новых синтаксических конструкциях, в новом соотношении между разными стилями языка, в новых стилистических осмыслениях. Все это находит и должно находить свое отражение и на страницах «Русской речи».

За истекшие десять лет журнал «Русская речь» сделал много нужного и полезного в пропаганде культуры русского языка среди широких кругов нашего общества. Хотелось бы пожелать редакции журнала, чтобы в ближайшие годы на его страницах чаще выступали не только филологи, но и выдающиеся писатели, мастера художественного слова (среди которых немало прекрасных знатоков родного языка), ученые-нефилологи, учителя русского языка, наиболее вдумчивые читатели журнала. Желательно расширить разделы журнала — особенности языка современной науки, художественной прозы и поэзии, различные стили литературного языка,

[6] А. С. П у ш к и н, Полн. собр. соч. в 10 томах, VII, М.—Л., 1949, стр. 225.

своеобразие интонаций современной песни, современной рекламы, языка массовой коммуникации (газеты, радио, кино, телевидение). Как нам представляется, желательно также расширить и раздел, условно названный здесь «так можно сказать (написать), а вот так нельзя сказать (написать)» с обоснованием подобных «можно» и подобных «нельзя». Все это следует излагать, разумеется, просто и ясно, с большим количеством примеров и иллюстраций. Важную роль в журнале играет и «Почта „Русской речи“», ответы на вопросы читателей, живое общение с ними, возможные дискуссии по спорным вопросам орфографии и орфоэпии с последующими резюме от редакции.

Нет никаких сомнений, что журнал «Русская речь» в ближайшее же время станет еще более популярным, еще более массовым. В нашу эпоху, когда интерес к русскому языку стремительно возрастает во всем мире, «Русская речь» должна сделать все от нее зависящее, чтобы поддержать и развить дальше подобный интерес. Можно также пожелать редакции журнала установить более прочные контакты между содержанием каждого его выпуска и систематическими передачами о русском языке по радио и по телевидению («В мире слов», «Русская речь»). Журнал «Русская речь» уже сделал много. Еще больше ему предстоит сделать в ближайшее время.

Р. А. Будагов, А. А. Брагина

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

И. И. Мещанинов. **Проблемы развития языка.** — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1975. 351 стр.

Едва ли можно назвать какую-либо другую тему, столь волновавшую акад. И. И. Мещанинова, как развитие языка. Не будет преувеличением сказать, что эта проблема красной нитью проходит через все творческое наследие выдающегося советского лингвиста. В том или ином виде она присутствует как в его общелингвистических монографиях, так и в многочисленных статьях, достаточно отчетливо проступая и в его наиболее поздних исследованиях, посвященных решению вопросов системного анализа языков различной типологии. Причина этого — постоянное стремление ученого, независимо от синхронного или диахронического способа рассмотрения языкового материала, понять его как определенный исторический этап в жизни того или иного языка. Представляется поэтому вполне логичным, что переиздание избранных лингвистических работ И. И. Мещанинова начато серией исследований, непосредственно посвященных проблематике языкового развития. В то же время публикация в первом выпуске его трудов ранних лет (не издававшаяся ранее статья «О стадиальности в развитии предложения» написана в конце 30-х годов, монография «Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии строя предложения» вышла в свет в 1940 г., а статьи «Проблема стадиальности в развитии языка» и «Новое учение о языке на современном этапе развития» были впервые напечатаны в 1947 г. [1]) дает возможность увидеть и определенную эволюцию взглядов языковеда на поставленную проблему.

Думается, что переиздание избранных работ И. И. Мещанинова — вполне назревшая задача. И дело, конечно, не только в том, что, по-видимому, наступает время объективно оценить идейное содержание оставленного им наследия и основательнее познакомить с ним молодое поколение наших языковедов. Вероятно, более существенно то обстоятельство, что, как показывает современное состояние языкознания (особенно — отечественного), эта наука и поныне сохраняет с ним довольно прочный идейный контакт, продолжая черпать из него все новые резервы.

Перечитывая труды И. И. Мещанинова, вновь живо ощущаешь необычайную широту творческих замыслов ученого, требовавших от него как обращения к типологически самому разнообразному языковому материалу, так и постановки последнего в определенную историческую перспективу. В этой связи достаточно, например, сослаться на стремление ученого показать в монографии, включенной в рецензируемый сборник, диалектику взаимоотношения слова и предложения в разные эпохи развития языка — от постулировавшегося им древнейшего синкретизма слова и предложения через инкорпоративные построения к посессивному, эргативному и, наконец, номинативному строю. Вместе с тем, при решении задачи определения закономерностей исторического развития языка, которое не мыслилось И. И. Мещанинову вне учета его тесной связи с эволюцией мышления, он неизменно пользовался таким мощным оружием, как системный подход к языковым явлениям, с одной стороны, и принцип историзма, с другой, составившим неотъемлемые черты творческого почерка исследователя.

Внутреннее единство публикуемых в книге работ составляет не только то, что все они посвящены проблеме языкового развития, но и то, что они лежат в плане содержательной (контенсивной) типологической схемы, которая разрабатывалась И. И. Мещаниновым еще с середины 30-х годов и находит свое непосредственное продолжение в некоторых современ-

[1] Первая из этих статей опубликована в ИАН ОЛЯ (1947, 3), вторая — в «Вестнике ЛГУ» (1947, 1).

ных исследованиях отечественных лингвистов. Как известно, в ее основу положены существующие между языками мира различия в способах передачи субъектно-объектных отношений действительности. Этим способам здесь придается определенная историческая перспектива, более гибкая по сравнению со схемой, намеченной в предшествовавшей монографии ученого [2] (в частности, сравнение вновь публикуемых работ с последней отчетливо обнаруживает линию освобождения их автора от некорректной, но пользовавшейся в то время популярностью идеи Л. Леви-Брюля, согласно которой логическому мышлению современного человечества должен был предшествовать длительный период так называемого «дологического мышления»).

Вместе с тем, думается, что распространенная в литературе квалификация этой типологической схемы как синтаксической несколько неточна, так как фактически она имеет более широкое основание. Хотя и сам ее автор, вероятно, в соответствии с его тезисом о зависимом положении морфологии от синтаксиса, неоднократно характеризовал данную схему как синтаксическую, должно быть достаточно очевидным, что постулированные в ее рамках типологические комплексы построены на базе координации взаимно необходимых морфологических и синтаксических признаков. Более того, во многих работах ученого отчетливо заявляет о себе поиск определенных соответствий этим признакам и на уровне лексики. Так, И. И. Мещанинов близко подошел к популярной в современном языкознании мысли о существовании определенного соответствия между определенными лексическими группами глаголов и определенными синтаксическими конструкциями предложения. «По семантике глагол, в известном периоде развития речи,— писал он,— относится к определенной группе, используемой лишь в определенном строе предложения. И сам строй предложения закрепляется за определенным значением фразы... В итоге получается разнообразие в структуре предложений данного языка, причем это разнообразие оказывается точно регламентированным. Предложение строится совершенно иначе, если в нем передается действие, переходящее на объект, и если в нем выражается безобъектное действие или передающее восприятие субъектом действие аффекта и т. д. Каждое из них имеет свою структуру и каждое использует глаголы к нему относящейся группы» (стр. 213).

Теперь, на расстоянии нескольких десятилетий от первой публикации этих работ, все более отчетливым образом вырисовывается и то, что, прокладывая новые пути в развитии отечественного языкознания, сохранило свою актуальность в нашу эпоху, и то, что составило неизбежные издержки роста науки.

Это новое прежде всего состояло в утверждении в повестке дня лингвистики историко-типологической проблематики, в настойчивых поисках соответствующей исследовательской методики. В этих работах можно, в частности, усмотреть первую серьезную постановку и опыт решения вопросов типологической реконструкции. Как показало последующее развитие науки, именно из них исходили стимулы к разработке целого ряда направлений в рамках конкретных отраслей языкознания, что не могло не способствовать в последних общему прогрессу грамматической мысли. Среди этих направлений — изучение процесса номинативизации исторически неноминативной структуры картвельских языков, углубленный анализ инкорпоративных построений в различных палеоазиатских языках, рассмотрение принципов эргативного строя на материале севернокавказских (абхазско-адыгских и нахско-дагестанских) языков и т. п. Так, например, несколько сделанных ученым наблюдений над картвельской языковой структурой еще по сей день заставляют картвелистов задумываться самым серьезным образом. Ср. в этой связи его замечания о том, что эргативность проводится здесь в конструкциях предложения с глаголом-сказуемым в формах как аористной, так и результативной серии времен, о существенных отклонениях от норм эргативности в структуре глагольных словоформ аористных времен (стр. 232—233), о «специальном эргативе» картвельских языков как некотором приближении к номинативу (стр. 201), о возможности квалификации мегрельской падежной флексии *-k*, оформляющей подлежащее как при транзитивных, так и интранзитивных глаголах, как номинатива (стр. 245) и т. п. Наконец, до настоящего времени в высшей степени актуальным остается предостережение И. И. Мещанинова от навязываемого лингвистической традицией отождествления структур разнотипных языков мира с типологической схемой номинативного строя. Действительно, не представляет труда убедиться в том, что целый ряд понятий грамматической теории (переходный/непереходный глагол, залог, именительный падеж и т. п.) все еще обнаруживает тенденцию служить едва ли не универсальными компонентами лингвистического описания.

Большое место занимает в переиздаваемых работах рассмотрение проблемы универсальных констант языкового развития, интересовавшей лингвистов с самого возникновения научного языкознания и направлявшей в прошлом усилия

[2] И. И. Мещанинов, Новое учение о языке. Стадиальная типология, Л., 1936.

целой группы советских языковедов. Как известно, И. И. Мещанинов подходил к ее решению в полемике с распространенным в то время пониманием процесса языкового развития, рассматривавшегося как простой рост, не ведущий к каким-либо качественным изменениям в структуре языка (ср. стр. 126). По этим работам можно отчетливо увидеть и вклад, внесенный в разработку этой проблемы ученым, заключающийся, на наш взгляд, прежде всего в перенесении акцента ее исследования из русла формально-типологического анализа в план контенсивной (содержательной) типологии, к которой его привели настойчивые поиски взаимосвязи формы и содержания в языке. Не менее важно отметить здесь и его очевидную неудовлетворенность достигнутыми в этом направлении результатами. Последнее обстоятельство особенно заметно по включенным в настоящее издание статьям 1947 г., отражающим определенный кризис в разработке этой проблематики, обусловленный, как можно думать, главным образом трудностями адекватной трактовки в рамках намеченной классификационной схемы структур множества вовлеченных в орбиту исследований языков смешанной типологии. В частности, И. И. Мещанинов подчеркивал в это время, что усмотреть в построенной им классификации, включавшей такие языковые типы, как аморфность, посессивность, эргативность и номинативность, «кроме схемы типологических различий, также схему стадиальной периодизации в значительной мере прежде временно» (стр. 295). Вместе с тем, как справедливо отмечается в вводной статье к рецензируемому изданию, признание неудовлетворительности конкретной схемы стадиального развития языков не свидетельствовало об отказе от самой идеи их стадиального развития и наличия общих закономерностей в их развитии (единства глоттогонического процесса).[1] Разработка этой проблемы остается актуальной до настоящего времени, и в модифицированном виде идея наличия общих закономерностей пронизывает типологические исследования на их современном этапе (выявление универсальных свойств языка, использование типологических сопоставлений, ведущихся в синхронном плане, в целях диахронических и т. п.)» (стр. 8).

Несмотря на очевидную теперь недостаточность обоснования ряда положений, встречающихся в трудах И. И. Мещанинова, в целом трудно избавиться от впечатления о серьезной недооценке в последискуссионный период его конкретной концепции поэтапного развития языка, равно как и историко-типологических построений некоторых других отечественных лингвистов, относящихся к 30—40-м годам. В его подкрепление следует заметить, например, что до сих пор не приведено сколько-нибудь корректных доказательств возможности преобразования номинативного строя в эргативный или активный и, наоборот, как отмечается в специальной литературе, можно привести большое число свидетельств обратного процесса (в частности, последующие кавказоведческие исследования полностью подтвердили выводы И. И. Мещанинова об интенсивной номинативизации картвельских языков, а также о наличии в зародыше аналогичной тенденции в нахско-дагестанских языках). Обращает на себя внимание и тот факт, что в выдвигавшихся в адрес этих построений критических замечаниях, как правило, не различались даже понятия языкового типа (строя) и определенной синтаксической конструкции предложения. Едва ли поэтому случайно, что в настоящее время ряд видных отечественных и зарубежных языковедов по крайней мере считаются с возможностью более строгого обоснования подобных построений в будущем.

Для объективной оценки роли стадиальных исследований в истории лингвистической науки целесообразно подчеркнуть следующее обычно ускользающее из поля зрения обстоятельство. Разумеется, невозможно отрицать тот общеизвестный факт, что несовершенство методики, а также нередкая ненадежность самой дескриптивной базы исследования, приводили к тому, что соответствующие гипотезы ни в одном случае не получили достаточно строгой аргументации. Вместе с тем, не менее очевидным представляется и то, что методическая невыдержанность предпринимавшихся опытов общей периодизации языкового развития ни в коей мере не может обозначать обоснованность тех лингвистических концепций, которые молчаливо исходят из альтернативной точки зрения об отсутствии определенной последовательности в эволюции языка. Более того, первые оказываются в некотором смысле в более выгодном положении, поскольку в их распоряжении имеется известная традиция исследовательской разработки, в то время как вторая точка зрения не только не получила в науке какого-либо обоснования, но и вообще, как известно, не была даже сформулирована в виде сколько-нибудь конкретной гипотезы.

Едва ли возможно признать утратившими свою актуальность и настойчивые поиски определенных корреляций между языковой типологией и некоторыми внеязыковыми стимулами и прежде всего потребностями развивающегося мышления, отчетливо отразившиеся в исследованиях И. И. Мещанинова. Как известно, подобные опыты не прекращаются и в современной лингвистике. В связи с ними здесь уместно привести следующую осторожную констатацию В. Скалички: «Сход-

ства и различия языковых явлений в большинстве случаев не удалось поставить в связь с явлениями иного порядка. Мы не утверждаем, что подобных связей вообще не существует, а констатируем только, что они пока неизвестны»[3].

Естественно, что с течением времени более отчетливым образом обозначились и спорные или ошибочные тезисы переизданных работ. Конечно, не могли не наложить на них своей печати те более или менее общие для отечественного языкознания прошлого положения, которые были оставлены после лингвистической дискуссии 1950 года. Не получили в дальнейшем поддержки и некоторые конкретные идеи И. И. Мещанинова (в частности, соображения о характере древнейшего слова-предложения, опиравшиеся на структурный анализ отдельных языков современного человечества). Нельзя не учитывать, впрочем, что известная часть содержавшихся в его работах спорных положений была позднее так или иначе преодолена самим автором. Среди последних следует упомянуть недооценку места морфологии в структурном механизме языка, сказавшуюся в его острой полемике с господствовавшим в тот период морфологизмом в подходе к решению собственно синтаксических проблем (постепенный отход от нее намечается уже в следующей большой монографии автора, посвященной рассмотрению взаимоотношения членов предложения и частей речи [4]), а также трактовку посессивности в качестве особого типологического состояния языка (впоследствии И. И. Мещанинов пришел к выводу, что намечавшиеся его структурные характеристики в принципе укладываются в рамки норм эргативного строя [5]). В этом контексте нельзя пройти мимо тех неизбежных ограничений, которые накладывались на историко-типологическую концепцию ученого общим уровнем современной ему науки и, в частности, недостаточной адекватностью имевшихся дескриптивных исследований. Достаточно, например, подчеркнуть важную роль, отводившуюся в его построениях свидетельствам целого ряда языков, имевших в то время все основания считаться экзотическими (юкагирский, нивхский, алеутский). Нередко уже по ходу своих рассуждений автор был вынужден заниматься структурной реинтерпретацией находившихся в его распоряжении описаний (ср. стр. 78—79, 92—93, 147—151, 179, 184, 197—199 и др.). В интересах типологического сопоставления И. И. Мещаниновым было проведено и первичное обследование североамериканского языка немепу (Nez Percés), монографическое описание которого вышло в свет только в 1970 г.

В заключение приходится упомянуть некоторые досадные недочеты издания, которых было бы, по-видимому, нетрудно избежать. В нем сохранились отдельные неточности в транскрипции иллюстративного материала по ряду языков. Огорчает появление ряда опечаток, отсутствовавших в первой публикации монографии «Общее языкознание» (ср. французский пример на стр. 112, примеч. 7 на стр. 123, некоторые словоформы языка немепу на стр. 158—159 и 162—163, отдельные абхазские примеры на стр. 165, 166, 168—169, некоторые грузинские и чанские формы на стр. 242).

Нет необходимости обосновывать, что фундаментальные работы И. И. Мещанинова оказывали и продолжают оказывать существенное воздействие на типологические исследования в советском языкознании, в значительной мере определяя само их содержание. Думается, что предпринимаемая теперь их вторичная публикация особенно усилит их воздействие на активизировавшиеся в последнее время штудии в области диахронической типологии.

Хочется надеяться, что не заставят себя долго ждать и последующие выпуски переиздаваемых работ. Вместе с тем, особый интерес должна представить намеченная публикация ранее не печатавшейся монографии «Типологические сопоставления языков с эргативной и номинативной конструкцией предложения», которая была завершена ученым за несколько дней до его кончины. Трудно сомневаться в том, что творческое наследие И. И. Мещанинова еще долго будет служить делу дальнейшего развития науки о языке.

Г. А. Климов

[3] В. Скаличка, О современном состоянии типологии, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 24—25.

[4] См.: И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.— Л., 1945, стр. 10—11.

[5] См.: И. И. Мещанинов, Эргативная конструкция в языках различных типов, Л., 1967, стр. 111—113.

Н. З. Котелова. **Значение слова и его сочетаемость.** — ЛО изд-ва «Наука», 1975. 163 стр.

Книга Н. З. Котеловой посвящена критике теоретических постулатов так называемого алгоритма «смысл — текст», которые на протяжении последних десяти лет развиваются в целом ряде опубликованных трудов Ю. Д. Апресяна, И. А. Мельчука и А. К. Жолковского (перечень этих работ дается на стр. 162—163 рецензируемой монографии). В предисловии Н. З. Котелова пишет о том, что она хотела «разобраться только в одной теории, причисляющей себя к структурализму, проверить соответствие содержащихся в ней утверждений о языке самой языковой действительности, установить справедливость оценок авторами положения дел в лексикографии, продуктивность выдвинутых ими идей и определить возможность использования предложенного исследовательского аппарата» (стр. 4). Казалось бы, автор поставил перед собою весьма ограниченные и узко специальные прагматические цели, которые связаны с тщательным изучением и критической оценкой одной лишь теории, активно популяризируемой ее создателями. Однако значение труда Н. З. Котеловой не исчерпывается очерченной ею проблематикой. И не только потому, что в книге затрагиваются важнейшие для современного языкознания вопросы методологии исследования лексики, значения слова, соотношения семантики слова в языке и речи, лексико-синтаксической сочетаемости слов, общетеоретических основ лингвистического описания и языка лексикографии, лексической «членимости мира» и др. Главное достоинство и научная ценность книги Н. З. Котеловой заключены прежде всего в доказательной и бескомпромиссной критике идей сплошной формализации лингвистических исследований и языковых описаний — своеобразной разновидности лингвистического мифотворчества, вот уже два десятка лет занимающего некоторых ученых. В рецензируемой книге антиформалистические суждения высказываются не в общей форме, а в виде компетентного анализа конкретных ошибок и неточностей метаязыка модели «смысл — текст» и столь же зримых фактов наивной формализации лексикографических дефиниций (автор тщательно изучил 29 работ своих оппонентов и около 60 опубликованных ими словарных статей), обедняющей лексическое богатство языка и искажающей содержание, связи и взаимозависимость единиц лексической системы. Столь убедительная критика не была бы возможной, если бы ее автор не обладал точным знанием идей своих научных противников, широкой лингвистической осведомленностью, высоким лексикографическим профессионализмом и логикой опирающихся на факты доказательств. Н. З. Котелова пишет строго академически. Даже откровенные искажения словарных текстов и намеренные недомолвки (см. стр. 14—15) она называет «некорректным оперированием словарным материалом». Однако за научной трезвостью умозаключений кроется темперамент полемиста. Поэтому, на мой взгляд, книга Н. З. Котеловой не только серьезный научный труд, но и своеобразный лингвистический памфлет, направленный против искажения гуманитарной сущности и самого языка, и традиций отечественного языкознания.

Построение рецензируемой работы определено ее полемической заостренностью. Составители проекта так называемого толково-комбинаторного словаря, утверждая свое понимание принципов словарной работы, стремились доказать несостоятельность существующей лексикографической теории и практики и предлагали в качестве панацеи искусственный метаязык, якобы позволяющий «экономно и красиво» описать семантику естественного языка. Но нужен ли особый искусственный метаязык для семантических описаний? Что собой представляет предлагаемый метаязык? Возможно ли с его помощью адекватно описать лексическую систему языка? Ответы на эти вопросы читатель находит в первой главе рецензируемой книги.

Конечно, семантическая характеристика лексики нуждается в постоянном совершенствовании. Н. З. Котелова вполне объективно перечисляет существующие в лексикографии недостатки (см. стр. 7). Но ее критика далека от голословного отрицания всего, ранее сделанного. Н. З. Котелова понимает, сколь кропотлива и сложна работа лексикографа, как важны преемственность и традиции в составлении словарей. Автор видит не только недочеты, но и значительные успехи нашей лексикографии.

Составители же проекта толково-комбинаторного словаря предлагают свой метаязык. Они вообще считают, что лингвистам необходим искусственный язык для описания естественного языка. Иначе будто бы произойдет смешение языка-объекта и языка-субъекта. Н. З. Котелова последовательно опровергает доводы о необходимости такого языка-дескриптора. Она показывает, что в действительности совпадения объекта и субъекта описания в лексикографии не происходит. Неверно утверждение о том, что заглавные слова и их толкования — это один и тот же язык. Вводит в заблуждение и полисемия слова «язык». Толкуемые слова — это действительно элементы языка-системы, языка в статике, а их дефиниции — это речь, это язык в динамике. Он порожден языком-системой, но не тождествен ему. У языка две цели:

одна — быть средством, системой общения; другая — выступать в процессе функционирования самой системы. «Лексикограф толкует слова не путем их соотнесения с такими же словами, а, пользуясь речью, выражает каждый раз разные содержания, которые уточняются разной степенью отнесенности к денотатам и ситуациям, терминам и (научным) знаниям» (стр. 11). Иначе говоря, речь, являясь дескриптором, выполняет функции метаязыка. Приемы организации материала и оформления словарных статей, пометы, символика, ремарки и т. п.— тоже «метаязыковые» средства. Не следует забывать и о развитой системе лексикографической терминологии. Таким образом, у лексикографов есть свой выработанный естественным путем метаязык.

Искусственный метаязык для словарных описаний не может оказаться точнее и корректнее естественного языка — речи, ибо язык человека уникален по своей неисчерпаемой смысловой содержательности, по степени организованности, по социальной и исторической неповторимости развития. Это естественно сложившаяся система, с описательными потенциями которой не может конкурировать ни одна из искусственных систем. Искусственные семантические языки всегда будут вторичны и даже «третичны» по отношению к естественному языку. С возрастанием порядкового номера степень их содержательности будет убывать, а описательные возможности сужаться. «Таким образом, язык — это такой объект, который не может охватить ни одна искусственно созданная система; можно было бы говорить лишь об использовании в качестве технического приема некоторых искусственных метаязыковых компонентов, помогающих описывать отдельные участки языковой системы» (стр. 19). Добавим, что есть еще одно общефилософское возражение против принципа глобальной формализации лингвистических исследований. Критикуемые Н. З. Котеловой методы лексикографического описания, равно как и некоторые другие структурные доктрины, заимствованы из естественно-научных и математических теорий, обслуживаемых математическим языком или другими формализованными дескрипторами. Эти теории объясняют факты и законы материального мира и связаны с изучением конкретных форм материи. Их нельзя некритически транспонировать на совершенно особый уникальный объект исследования, каковым является человеческий язык, материальный по своей форме и идеальный по содержанию в том смысле, в котором идеально наше сознание, отражающее материальную действительность. Диалектический материализм учит, что язык неразрывно связан с мышлением и что мысль, будучи отражением материального мира, вторична по отношению к нему и имеет идеальный характер. Исследователь, анализирующий смысловое содержание слов, не должен игнорировать специфику объекта исследования и забывать о его идеальной и материальной стороне. Формализованный аппарат, выражающий и закрепляющий в формулах и моделях процессы и результаты исследования предметов и явлений материального мира и их взаимосвязей, не может служить средством адекватного описания содержательных компонентов слова, в которых отражены реальная действительность и результаты познавательной деятельности человека. В связи с этим нужно признать глубоко ошибочной гипотезу авторов алгоритма «смысл — текст» о существовании особого «языка мысли», будто бы находящегося в психике человека. Эта гипотеза противоречит известному материалистическому принципу нерасторжимости языка и мысли, пониманию языка как практического действительного сознания.

Приведенные выше общетеоретические посылки Н. З. Котелова проверяет путем изучения модели предлагаемого метаязыка и его конкретных реализаций. Проверка убеждает читателя в том, что этот метаязык при всей своей нарочитой сложности и громоздкости оказывается эклектичным, семантически бедным, одномерным и неудобным для пользования. «Фактически метаязык представляет собой,—пишет Н. З. Котелова,—набор естественных и искусственных, прямых и символических, языковых и речевых, языковых и внеязыковых, а также неизвестного происхождения знаковых компонентов (инвентаря и правил)» (стр. 21). Авторы не следят за способом выражения дефиниций, толкования слов становятся двусмысленными, некорректными и непонятными. Подтвердим сказанное несколькими примерами из статей к толково-комбинаторному словарю. **Стрелять**— «X стреляет Y-м в Z-устройство, X посредством освобождения потенциальной энергии каузирует предмет Y лететь из X в Z так, чтобы Y пришел в контакт с Z—обычно с целью поразить Z»; **Кипятить** — «каузировать кипеть»; **Дать** — «каузировать кого-то иметь»; **Предлагать** — 1а «X сообщает Z-у, что, если Z хочет, чтобы X производил действия Y, то X будет производить действия Y»; 2а. «X сообщает Z-у, что X считает, что будет хорошо, если будет иметь место ситуация Y, осуществление которой зависит от Z»; **Пятно** — 2а «в моральной сфере, т. е. пятно от аморального поступка на моральном облике». И все это пишут языковеды, знатоки и хранители родной речи! Подобные дефиниции (в книге Н. З. Котеловой приводится их немало, и они должным образом комментируются) со всей очевидностью свидетельствуют, что неоднократные высказывания составителей комбинаторного словаря по поводу практиче-

ской ценности их труда по меньшей мере проблематичны.

Заманчивая идея свести все лексико-семантическое богатство языка к ограниченному набору абстрактных параметров и описать его с помощью искусственного метаязыка обнаруживает на поверку свою утопичность, представляется с теоретической точки зрения несостоятельной и практически невыполнимой.

Во второй главе рецензируемой книги рассматривается концепция значения. Как и в предыдущем разделе, анализ начинается с изложения точки зрения оппонентов, которые полагают, что проблема лексического значения является производной от способа описания лексики. Семантика объявляется наукой о семантических метаязыках, а не о значениях слова. Исходя из этого, авторы проекта толково-комбинаторного словаря вносят свои коррективы в традиционные представления о лексических значениях. Они сводятся к следующему: определенные слои лексики, во-первых, требуют маркировки с точки зрения их относительности и модальности, например, указания о положении наблюдателя; во-вторых, указания на характер семантических ассоциаций; в-третьих, выдвигается требование о разграничении лексического значения и логического понятия; в-четвертых, постулируется возможность описывать смыслы то как содержательную, то как сочетаемостную категорию. Н. З. Котелова подробно анализирует каждый из выдвинутых тезисов и показывает, что первый из них вовсе не новшество: в необходимых случаях модальность и относительность семантического содержания слов давно учитывается лексикографами. К тому же постулат оказывается неточным при конкретной интерпретации материала, а утверждение, что он будто бы вытекает из операционных требований к толкованиям, остается необъясненным. Второе уточнение тоже не представляется чем-то новым, так как семантические ассоциации либо закреплены в метафорических значениях слова и традиционно учитываются словарями, либо порождаются в речи на базе основного значения слова. Что касается третьего тезиса, то он сводится к давно уже существующим проблемам взаимоотношения лексического значения и понятия, к определению характера научных и логических понятий. Не приносит положительных результатов и четвертое «уточнение» в понимании лексического значения, приводящее к смешению лексических и грамматических элементов в слове.

В критикуемых Н. З. Котеловой работах лексическое значение трактуется столь противоречиво, что практически оно оказывается не нужным лексикографу. «Лексическое значение,— пишет она по этому поводу,— понимается то как набор семантических компонентов, то как внеязыковая ситуация, то как „смысл“, проецирующийся на уровень мышления, то как функция контекста, то как какое-то явление, целиком зависящее от инструмента анализа и потому имеющее лишь относительные характеристики» (стр. 40—41).

Н. З. Котелова безусловно права, утверждая, что все вопросы лексической семантики могут решаться лишь на основе теории лексического значения, опирающейся на законы марксистско-ленинской гносеологии. Именно с таких позиций она проводит в третьей главе анализ лексической сочетаемости слова. Эта категория, обладая относительной самостоятельностью, зависит от лексического значения, взаимосвязана с ним, определяется его характером. Лексическая сочетаемость — одна из труднейших, теоретически мало разработанных проблем лексикографии. Под лексической сочетаемостью Н. З. Котелова понимает «способность слова как лексемы сочетаться с другими словами (как лексемами), совокупность его лексических валентностей» (стр. 48). Она пишет о трудностях, которые испытывали составители семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» и о путях их преодоления. Для авторов модели «смысл — текст» вопросы лексической сочетаемости имеют первостепенное значение и рассматриваются ими в терминах параметров и функций. Многочисленные примеры подтверждают узость понятия параметрической сочетаемости. Н. З. Котелова неоднократно подчеркивает необходимость выделения абсолютных и относительных сочетаемостных свойств слова. «Абсолютная сочетаемость — сочетаемость, свойственная слову как таковому, независимо от условий его реализации... Относительная сочетаемость отражает реляционные свойства слова, это сочетаемость, реализующаяся при том или ином условии...» (стр. 53). Указанные виды сочетаемости учитываются и в «Словаре современного русского литературного языка».

Один за другим рассматривает Н. З. Котелова параметрические смыслы и приходит к выводу о том, что параметры, предлагаемые ее оппонентами, не отражают внутрисистемных языковых явлений, что они связаны с внеязыковыми уровнями и имеют неясный статус.

В статьях толково-комбинаторного словаря совмещаются разноплановые, неоднородные по своей природе и функциям словосочетания, свободные и неустойчивые, несвободные и устойчивые, неразложимые, стилистически окрашенные и нейтральные, речевые штампы, метафоры и частотные сочетания. Неравноценность таких словосочетаний учитывается и маркируется в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка».

В конце главы Н. З. Котелова обращается к критике «наиболее уязвимой стороны теории параметрических сочетаний, приводящей к чрезвычайно оторванным от реальности следствиям,— это утверждение о равнозначности выражений одной и той же функции при разных словах, тождестве лексических значений сочетающихся с разными словами слов» (стр. 64). Очевидно, что критикуемое утверждение приводит к отрицанию лексического значения в конкретных словах, к выделению субъективно подобранных абстрактных лексических параметров, вокруг которых произвольно группируется множество слов с выхолощенным собственным значением, лишенных индивидуального, выработанного в них веками семантического содержания. Выделение абстрактных параметров, т. е. создание гипотетической системы «смыслов — примитивов языка», будто составляющих его глубинную семантическую модель, его тайную мудрость, ведет теорию в тупик. Н. З. Котелова подробно анализирует одну из работ Ю. Д. Апресяна и убеждает читателя в ошибочности и непоследовательности его суждений о синонимах и лексической сочетаемости в языке. Оперируя фактами, она развеивает миф о распространенности в языке равнозначных слов с разной сочетаемостью: «Нет в языке тысяч слов со значением „каузировать", все слова этого ряда имеют свое, конкретное лексическое значение и способны проявить его вне значения сочетающихся слов» (стр. 69).

Синтаксическая сочетаемость слова (см. гл. IV) интерпретируется названными авторами весьма противоречиво. Она определяется то как распространение слова синтаксическими формами, то как абсолютные свойства слова, заданные в синтаксических формах, то выводится из обобщенных значений синтаксических форм, из значений искусственного языка, то понимается как морфологические способы выражения синтаксических валентностей. Причем «формальный аспект в описании синтаксической сочетаемости оказывается то исходным, то вторичным» (стр. 89).

Определяя синтаксическую сочетаемость слова как «совокупность и свойства потенциально возможных при нем синтаксических связей, набор и условия реализации синтаксических связей» (стр. 81), Н. З. Котелова дает обзор противоречивых формулировок и лексикографических решений своих оппонентов.

Авторы модели «смысл — текст» рассматривают трансформации и преобразования «а) как компонент смыслоразличительных синтаксических признаков слова; б) как самостоятельные характеристики слова или текста. . .; в) как правила преобразования текста...» (стр. 104). Н. З. Котелова анализирует эту тройную заданность трансформаций и корректность их практического осуществления. Оказывается, что трансформация как синтаксическая характеристика слова может быть корректной только в том случае, если исследователь теоретически и фактически разграничивает эквивалентность и деривацию и если соотносимые трансформы будут действительно эквивалентны. Однако научного определения тождества или эквивалентности трансформ упомянутыми авторами не дано. Утверждается лишь, что равенство трансформ определено равенством ситуации: значение, смысл фраз отождествляется с выражаемой ими ситуацией. Например, считаются равнозначными фразы типа *сажать огурцы в огороде — засаживать огород огурцами*, *кидать землю в канаву — закидывать канаву землей*, *налить бак водой — налить воду в бак*, *складывать песню из слов — складывать слова в песню* и т. п. В подобных утверждениях без труда обнаруживаются неточности. Во-первых, что понимается под ситуацией? Это слово трактуется слишком разноречиво. Во-вторых, смысл фразы в каждой «паре» словосочетаний неодинаков. Кроме разнообразной семантической (экстралингвистической) информации, в любой фразе содержится определенная лингвистическая информация, пренебрегать которой нельзя. В-третьих, даже если выражаемое трансформами экстралингвистическое содержание фраз принять за тождественное, все-таки лексико-грамматическое содержание фраз будет разным, и это различие следует не замалчивать, а, наоборот, раскрывать в словарях. К тому же, как справедливо замечает Н. З. Котелова, «тождество ситуации не только не критерий синтаксических значений, но и языковых значений вообще...» (стр. 105). Вдумаемся в приведенные выше фразы, и в каждой из них обнаружатся не только грамматические различия (они очевидны), но и смысловые. Например, *закидывать канаву землей* значит «зарывать ее», а *кидать землю в канаву* просто «бросать землю в канаву». В трансформах реализован не только различный смысл, но и разные значения глаголов.

На стр. 105—106 Н. З. Котелова приводит много примеров ложных трансформаций, в отношении которых вообще нельзя говорить о каком-либо тождестве или эквивалентности (ср.: *он здоровается с отцом — отец здоровается с ним*, *он завещает ученикам бороться — ученики борются по его завещанию*, *он шутит с детьми — дети шутят с ним*, *он болтает ногами — у него болтаются ноги* и т. п.).

При сопоставлении фраз критикуемые авторы то забывают о синтаксических трансформациях и фактически производят лексические замены и морфологические перестройки, то подвергают трансформации фразеологические сращения и един-

ства (по терминологии акад. В. В. Виноградова). Одна и та же модель без каких бы то ни было оговорок приписывается совершенно разным словосочетаниям: чистым идиоматизмам, фразеологическим сочетаниям, в которых реализуется фразеологически связанное значение одного из слов-компонентов, и аналитическим свободным сочетаниям.

Серьезный недостаток толково-комбинаторного словаря заключается и в том, что трансформации придумываются самими составителями. Это порождает пренебрежительное отношение к документированным материалам, «к утрате значения материалов вообще» (стр. 110). Чрезмерное доверие к собственному «чутью» языка может подвести лексикографа. В лексикографическом деле, призванном «подсчитать и взвесить» огромное и бесценное лексическое богатство языка, подобная самонадеянность плохой советчик. Она-то и привела к появлению в статьях толково-комбинаторного словаря недопустимых и сомнительных с точки зрения языковой нормы фраз (ср.: *у него жмут губы, он клокочет радостью, бранить лень в сыне, ругать трусость в сыне, долбить кого-либо по колену, складывать слова в песню, морать приятелю на дверь глазами, залезть в дупло на дерево* и т. п.).

Подводя итоги этому разделу, Н. З. Котелова пишет, что в действительности трансформационные признаки не являются признаками слова и что у ее оппонентов «предметом описания является не слово и его свойства, а набор эквивалентных, близких и производных фраз с однокоренными словами. Слово служит лишь поводом для обращения к фразовым преобразованиям, а фраза не дает в результате возможности описать ни лексику, ни синтаксис. Такая неотчлененность проблемы слова и структуры и значения целой единицы связана также с требованиями авторов в области семантики — всегда описывать не слово, которое как будто бы невозможно истолковать иначе, а фразу» (стр. 113). И далее: «Трансформации не только отрываются от слова, но и теряют языковые ориентиры, проецируясь на уровень мышления или во внеязыковую действительность, с одной стороны, и с другой — попадая из системы (статики) в речь (динамику), где переплетены реализации целого ряда семиотических систем (языка, мышления, знания и др.)» (стр. 114).

В толковых словарях фиксируются также определенные парадигматические связи слова в системе языка (производные слова, синонимы, антонимы и т. п.). В анализируемых Н. З. Котеловой работах есть два вида описания парадигматических связей слова: это описание его «лексического мира» и «сопоставлений» (стр. 116). Информация о «лексическом мире» заглавного слова — это прежде всего комментирование лексики, «характерной для ситуации», с которой связано данное слово. Таким образом, «опора на систематизацию действительности приводит к тому, что предмет словаря становится неопределенным, словарные статьи напоминают во второй их части статьи из энциклопедий. Информация словарной статьи к ее концу удаляется от языка и от слова» (стр. 117).

Книга Н. З. Котеловой, первые главы которой были посвящены последовательному анализу теоретических концепций и их связи с практикой, завершается рассмотрением нескольких полных словарных статей указанных авторов (гл. VII) и проверкой научной состоятельности словарных материалов и методологии исследования (гл. VIII). Многочисленные ошибки, погрешности, неточности, нечеткости, опущения и прочие дефекты словарных статей, на которые указывает Н. З. Котелова, наглядно свидетельствуют о том, что статьи эти не могут служить надежным лексикографическим пособием и не соответствуют современному уровню развития отечественной лексикографии. Что же касается материалов— основу их, как уже говорилось, составляют придуманные авторами фразы, призванные, по их мнению, «украсить словарную статью или продемонстрировать собственную общую культуру»,— то Н. З. Котелова подсчитала (см. стр. 138), что приблизительно 178 000 языковых фактов, нуждающихся в документировании, подтверждены материалами из расчета 0,11 примера на один языковой факт. К тому же это скудное материальное обеспечение обесценивается вольным обращением с документированными текстами.

Интересна и содержательна критика методологических основ алгоритма «смысл — текст». Н. З. Котелова показывает несостоятельность позитивистских постулатов этой теории. Неправильное понимание взаимосвязи объекта и метода науки обнаружилось во всех анализируемых ею работах. «Опустошенный, отвлеченный от особенностей изучаемого объекта метод, его абсолютизация, подмена изучения объекта модификациями аппарата исследования служат причиной невыясненности или искаженного представления онтологической стороны объекта, его объективных свойств и закономерностей» (стр. 146). Предлагаемый метод не обладает свойством системности, в нем не отражена система самого языка; формализация абсолютизируется, применение математических терминов и понятий оказывается некорректным и только дезориентирует читателя.

В заключение своей работы Н. З. Котелова систематизирует высказанные ею в ходе критического разбора собственные воззрения на значение слова, задачи лексикографического описания, способы

раскрытия значения слова, требования к толкованию слов, внутриязыковые семантические связи лексических единиц, характер сочетаемости слов, возможную степень формализации языковых описаний.

В книге Н. З. Котеловой имеются спорные положения, дискуссионные суждения, например, без достаточных оговорок язык непосредственно соотносится с другими знаковыми системами и понимается как формализация мышления, не определяется понятие валентности (коррелируется ли оно с парадигматикой или с синтагматическим уровнем). Требует уточнений теория лексической и синтаксической сочетаемости слов и некоторые другие положения. В целом критические разделы работы Н. З. Котеловой все же значительно сильнее ее позитивной части. И это не случайно, ибо суть и основная цель ее исследования заключается в научно-обоснованном отрицании ложных постулатов и ошибочной лексикографической практики авторов модели «смысл — текст».

В. С. Виноградов

«Flexion und Wortbildung. Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Regensburg, 9—14. September 1973», hrsg. von H. Rix.— Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1975. 389 стр.

В рецензируемой книге опубликованы материалы V съезда Индоевропейского Общества [1], состоявшегося в Регенсбурге (ФРГ), в сентябре 1973 г. Среди 24 авторов — ведущие исследователи и начинающие ученые из Польши, Болгарии, ФРГ, США, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Италии и Испании. Статьям предпослано краткое информационное введение М. Майрхофера, сложившего с себя обязанности президента Индоевропейского Общества на этом съезде [2].

Тематика сборника включает наиболее актуальные вопросы индоевропеистики. Попытку определить основные методологические принципы реконструкции в области словоизменения и словообразования предпринял О. Семереньи («Rekonstruktion in der indogermanischen Flexion — Prinzipien und Probleme», стр. 325—345), развивающий свою теорию принципов этимологических исследований [3]. Им выдвигаются следующие шесть положений: 1) реконструкция должна основываться на очевидных соответствиях форм в различных языках; 2) сопоставлять следует не изолированные формы, а целостные парадигмы; 3) исключения, присущие лишь одному языку или одной ветви, не могут служить основанием для реконструкции праязыковых фактов; 4) при реконструкции необходимо учитывать место восстанавливаемых форм в системе, причем — для всех этапов; 5) реконструкция должна вести к установлению точного праязыкового слова, нельзя ограничиваться перечислением сходных форм; 6) следует типологически осмыслять восстанавливаемые диахронические процессы. В статье О. Семереньи содержится также несколько новых эти-

[1] Индоевропейское Общество было основано в 1913 г. Одним из важнейших проявлений его деятельности было издание систематической библиографии «Indogermanisches Jahrbuch» (1913—1956); участники его встречались на немецких филологических конференциях (Йена, 1921; Гёттинген, 1927; Зальцбург, 1929) и на международных съездах лингвистов (Женева, 1931; Копенгаген, 1936). После второй мировой войны деятельность Общества возобновилась в 1953 г., когда по инициативе Г. Краэ, А. Дебруннера, М. Лоймана и А. Шерера был созван I съезд (Берн), имевший организационный характер. Деятельность остальных съездов отражена в трудах: «II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft, Innsbruck, 10—15. Oktober 1961», Innsbruck, 1962; (3.) «Neue und alte Methoden in der historischen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Vorträge auf der Fachtagung in Münster/Westfalen, 13—17.9.1965», «Kratylos», X, 1965, стр. 121 и сл.; XI, 1966, стр. 1 и сл.; «Indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft, Akten der IV. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Bern, 28.VII — 1.VIII 1969», Wiesbaden, 1973. Кроме того, состоялись коллоквиумы, посвященные анатолийским языкам (Бонн, 1970), методике, дидактике, теории (Кёльн, 1971; см.: «Theorie, Methode und Didaktik der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, Wiesbaden 1973»), аблауту (Эрланген, 1972) и албанистике (Инсбрук, 1973).

[2] Президенты: К. Бругман (1913—1919), Р. Турнайзен (1919—1927), П. Кречмер (1927—1945), М. Лойман (1953—1961), А. Шерер (1961—1965), Ж. Редар (1965—1969), М. Майрхофер (1969—1973), Г. Рикс.

[3] См.: О. Семереньи, Славянская этимология на индоевропейском фоне, ВЯ, 1967, 4.

мологических предложений. Наиболее важным среди них является опыт реконструкции системы личных местоимений: в **eĝhom* выявляется усилительная частица **eĝh-* и собственно местоименный компонент* *-(o)m*; **n̥smes* в 1-м лице мн. числа возводится к ***m̥s-mes*, удвоенному множественному числу от того же **me-*, которое известно в 1-м лице ед. числа; **uswes* < ***weswes*, из претерпевшей удвоение формы **wes*, возводимой путем принятия сандхпального переразложения к ***twes*, мн. число от **tu-* [4]; интересна лежащая за этими преобразованиями концепция хронологии аблаута. Существенны, хотя и конспективны, возражения Семереньи против реконструкции эргативного строя индоевропейского праязыка [5].

По своему методологическому характеру к статье О. Семереньи приближается статья К. Штрунка («Horizontale Verkettung und vertikale Flexion in indogermanischen Sprachen», стр. 296—324), в которой рассматривается действие внутрипарадигматической и межпарадигмальной аналогии, преимущественно на материале индоиранских и италийских языков. Оригинальна реконструкция тонических и энклитических форм для личных местоимений в именительном падеже. Центральное место в сборнике занимают две темы: 1) полемика с «хеттоцентрической» концепцией восстановления строя индоевропейского праязыка; 2) исследование акцентно-аблаутных отношений как важнейшего средства объективной реконструкции.

Рассматривая факты фонетики анатолийских языков, К. Уоткинз («Die Vertretung der Laryngale in gewissen morphologischen Kategorien in den indogermanischen Sprachen Anatoliens», стр. 358—378) пытается определить косвенные рефлексы праязыковых ларингалов в таких явлениях, как палайское вариантное написание *ták-ku-wa-a-ti*/*ták-ku-wa-ga-ti* (3-е лицо ед. числа наст. времени) или сходные графические чередования *a.a-*/*-a.ga-* в им. падеже мн. числа ср. рода и в ряде глагольных и именных суффиксов, а также в различии старохеттских написаний *ú-ug-ga* «и я»/*ú-ga* «но я». В последнем случае удвоение возникает перед частицей с ларингалом (**ḫa*), другая же частица («но») — без ларингала. Уоткинз приводит немало других хеттских свидетельств в пользу соображения о происхождении «геминат» из сочетания согласной и ларингала: *šarra-* «ломать» — др.-греч. *ῥῶγαι*, *marra-* «распадаться» — вед. *mr̥ṇīhi*, *iškalla-* «разрезать» — литов. *skelti* и т. п. Это открытие созвучно результатам разысканий Т. Гамкрелидзе в области анатолийских отражений индоевропейских глухих придыхательных [6] и дополняет теорию Розенкранца — Эйхнера о связи графических «геминат» с древним словесным ударением [7]. Очень важно и наблюдение Уоткинза о соответствии старохеттских scriptio plena подвижному ударению в случаях типа вин. падеж *ḫa-a-aš-ša-an*/род. падеж *ḫa-aš-ša-a-aš*. Содержательная статья Уоткинза изобилует многими ценными наблюдениями и остроумными сопоставлениями фактов.

Происхождению анатолийской системы глагольных основ посвящены статьи Г. Эйхнера («Die Vorgeschichte des hethitischen Verbalsystems», стр. 71—103) и Э. Риша («Zur Entstehung des hethitischen Verbalparadigmas», стр. 247—258).

Г. Эйхнер и Э. Риш в своих статьях рассматривают вопрос о происхождении хеттского (и, шире, анатолийского) спряжения на *-ḫi*, справедливо указывая на то, что наряду с ясностью в предыстории окончаний существует полнейшая неясность в другом: отчего корни и основы, обычно употребляющиеся в перфекте в других индоевропейских языках, не относятся к *-ḫi*-спряжению, и, напротив, почему глаголы анатолийского *-ḫi*-класса в других индоевропейских языках не выступают в качестве типично перфектных? В основе предлагаемого решения лежит учение К. Гофмана об индоевропейском глаголе, согласно которому аспектные значения длительности, однократности и предельности выражаются либо корнями — лексически, либо основами, содержащими, кроме корня, суффикс или редупликацию, а окончания обозначают действие (активные), процесс (медиальные) или состояние (перфектные) [8]. От корня со значением длительности образуется корневой презенс, но производные аорист и перфект; при зна-

[4] Ср.: В. Я. Мыркин, Типология личного местоимения и вопросы реконструкции его в индоевропейском аспекте, ВЯ, 1964, 5.

[5] Ср.: А. Н. Савченко, Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 76.

[6] Т. В. Гамкрелидзе, Передвижение согласных в хеттском (неситском) языке, «Переднеазиатский сборник», М., 1961.

[7] H. Eichner, Die Etymologie von heth. *mehur*, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft» (далее—MSS), XXXI, 1972, стр. 83, 100, примеч. 88. Ср. также G. Jucquois, Aspects du consonantisme hittite, в кн.: «Hethitica I» («Travaux de la faculté de philosophie et lettres de l'Université Catholique de Louvain», VII), Louvain, 1972, стр. 59—128.

[8] K. Hoffmann, Das Kategoriensystem des indogermanischen Verbums, MSS, XXVIII, 1970.

чении однократности — корневой аорист, но производные презенс и перфект; для образования перфекта требуется корень или основа со значением предельности, в данном случае основообразующим средством служит удвоение. Из этой исходной системы развивались временные противопоставления: по теории Эйхнера — Риша в хеттском, как и в других индоевропейских, прежде всего, европейских языках, перфект перешел в разряд средств, формировавших состав прошедшего времени. Когда формы инъюнктивного и перфектного происхождения утратили в составе единого претерита собственные категориальные значения, «деградировав» до уровня «спряжений», то и для форм перфектного происхождения (с -*ḫ*-) было сформировано новое настоящее время по аналогии с инъюнктивными глаголами, имевшими древний презенс и древний имперфект (и аорист).

Кроме общетипологических. Эйхнер и Риш приводят ряд специальных доводов, подтверждающих переход праязыковых перфектных форм в претеритальные. В частности, Эйхнер указывает на одновременное наличие в хеттском двух рефлексов и.-е. корня **dhē-* : *dai-* < **dh˙-mi* и *te-* «говорить» (ср. ст.-слав. *дѣ*) < **dha-i-ha*. Риш указывает на то, что окончание **-(e)r-* могло перейти в *-mi*-спряжение лишь в условиях сближения значений после закономерного фонетического сокращения праязыкового **-(o)nt-*, подобно тому как в древнегреческом вместо архаических εβαν, ελαβον возникли ион.-атт. εβησαν, койне ελαβοσαν. Превращение древнейших перфектных форм в претеритальные объясняет и состав -*ḫi*-спряжения. Оно складывается из трех групп глаголов. Первичную группу образуют индоевропейские предельные глаголы, например, *šagg-* «знать», аналог корня **u̯ei̯d*, или *akk-* «умереть»; эти глаголы подобны германским Perfectopraesentia. Вторичную группу составляют непредельные (прежде всего, однократные) глаголы, образовывавшие наряду с аористом перфект: *da-* «брать», *šāi-* «сажать (в землю); стрелять», *pa˘-* «глотать, глотнуть», *wāk-* «кусать, укусить» и т. п. По поводу этого построения Эйхнера и Риша можно заметить, что здесь речь идет, в сущности, о перегруппировке признаков: в инъюнктивной группе были объединены непредельные глаголы, в новой претеритальной группировке соединились недуративные глаголы, возможно, в силу экономии, потому что дуративные глаголы сформировали свою сложную систему с противопоставлениями по времени (имперфект), очевидности (± **-i*), модальности и т. п. В анатолийском у этих глаголов сохранялось преимущественно одно из двух претеритальных времен — перфект, становившийся основой всей претеритально-презентной парадигмы, но сохранявший некоторые формальные черты аориста (**-s-* > *-š-* в 3-м лице ед. числа прош. времени и др.). К глаголам, образующим первичные или вторичные перфекты, Эйхнер добавляет «третичную» группу глаголов, перешедших в -*ḫi*-спряжение в силу различных, в основном, фонетических причин — корней с исходом на ларингал и с носовым суффиксом (*tarna-* «отпускать», *ḫanna-* «решать» и др.), на зубной (*išpart* «спасаться»), с другими суффиксами. Сохранение *-mi*-спряжения характеризовало глаголы с лексическим противопоставлением двух претеритов, глаголы, для которых переход в другой тип был неудобен фонетически, и большинство отыменных глаголов.

Теория Эйхнера—Риша не только вполне раскрывает индоевропейскую базу анатолийского глагола, близкую к реконструируемой на основе индоиранского и греческого, но и показывает, что хеттские инновации — того же типа, что и те, которые свойственны «европейским» языкам. Для доказательства этого положения важны следы разных характерных индоевропейских глагольных признаков, таких, как реликты аугмента или остатки типичных медиальных форм: хет. *u̯eššanta* — др.-инд. вед. *vásata*, др.-греч. εἵατο (и.-е. **u̯ésn̥to*). Эта теория показывает также плодотворность тернарного подхода к системе индоевропейского глагола. Интересны замечания Эйхнера о тенденции хеттского языка к установлению однозначных отношений между планом выражения и планом содержания и к максимальному упрощению грамматических категорий, к сведению их к двухкомпонентному составу. Эти тенденции могли бы найти экстралингвистическое объяснение в распространении анатолийских языков за счет других на значительной территории.

Анализ парадигм склонения значительного числа хеттских слов проведен в статье В. Георгиева («Die Eigentümlichkeiten der hethitischen Nominalflexion», стр. 104—119); этимологические соображения побуждают автора видеть за гетерограммами *SAL* и *ŠÂ-ir* фонетические формы **kwena-* и **keer* («жена», «сердце»).

К статьям об анатолийском примыкают три статьи о тохарском. Г. Клингеншмидт уделяет основное внимание реконструкции грамматических формантов и их акцентно-аблаутных свойств («Tocharisch und Urindogermanisch», стр. 148—163). Его разыскания ведут, например, к восстановлению суффикса медиальных причастий в форме **-mə₁no-* и двух парадигм: с подвижным ударением и с постоянным ударением на тематической гласной. Особое значение имеет анализ композитов иранского происхождения. Ю. Маргграф разбирает перераспределение праязыковых типов именных основ в кучанском («Bemerkungen zur historischen Phonologie und Morphologie eini-

ger „primärer" Kasusmorpheme in Tocharisch B», стр. 138—203). В статье К. Т. Шмидта («Zu einigen Problemen der tocharischen Verbal und Nominalflexion», стр. 287—295) путем анализа контекста определяется грамматическое значение нескольких глагольных форм и предлагается этимология для слова *preṃtsa* «беременная» < **bherontiā*, ср.др.-греч. φέρουσα.

Второй важной проблеме — реконструкции праязыковых акцентно-аблаутных типов — посвящены статьи Е. Шиндлера («Zum Ablaut der neutralen *s*-Stämme des Indogermanischen», стр. 259—267) и Р. С. Бекеса («Two notes on PIE stems in dentals», стр. 9—14), а также упоминавшаяся статья Г. Клингеншмидта. Инициатива разработки данной проблемы принадлежит К. Гофману. О необходимости пересмотра реконструкции типов словоизменения писал Эйхнер, указывавший, что было бы, например, неправомерно восстанавливать типы, исходя из представленных в живых славянских и германских языках классов, распределенных по грамматическому роду [9]. Первые шаги на пути определения точного акцентного и аблаутного рисунка праязыковых парадигм и выявления различающихся акцентно-аблаутных парадигм были сделаны Педерсеном и Кейпером [10]. Подытоживая труд нескольких поколений индоевропеистов, Шиндлер описывает четыре типа акцентно-аблаутных парадигм для слов, состоящих из корня (*R*), суффикса (*S*) и окончания (*D*), с разными ступенями количественного и качественного аблаута. Эти типы характеризуются, прежде всего, соотношением им. и род. падежей (как представителей сильных и слабых падежей):

1. N. *R*(ó)*S*(ø) или *R*(é)*S*(ø)//G. *R*(é)*S*(ø)·*D*(ø)
2. N. *R*(é)*S*(ṓ)//*G*. *R*(ø)*S*(ø)*D*(é/ó)
3. N. *R*(ø)*S*(é)//*G*. *R*(ø)*S*(ø)*D*(é)
4. N. *R*(ê)*S*(ø)//*G*. *R*(ô)*S*(e/o)*D*(ø) [11].

Различные типы основ неодинаково распределяются между акцентно-аблаутными типами, однако обследованный материал свидетельствует о том, что каждый отдельный тип основы представлен не более, чем двумя акцентно-аблаутными разновидностями [12]. Это наводит на мысль о том, что для суффиксальных и корневых морфем, а также окончаний необходимо восстанавливать два имманентных качества или «состояния», сочетания которых и обуславливали различный акцентно-аблаутный характер слова. К такому же выводу на материале древнеиндийского, древнегреческого и литовского ударения пришел П. Кипарский в докладе, прочитанном на том же съезде, но не вошедшем в рецензируемый сборник [13]. Это в свою очередь согласуется с выкладками В. А. Дыбо, который, исследуя происхождение акцентной структуры славянского и балтийского словообразования, разделил взаимодействующие морфемы на сильные и слабые и с полным основанием предположил, что это различие объясняется тонами [14]. Подобной же проблематике посвящена статья Бекеса. Одна из проблем, к которой он обращается не в первый раз, — вопрос о двояком отражении и.-е. **R̄* (или **Rə*) в древнегреческом *Rᾱ* и α*R*α [15]. Он предлагает возводить α*R*α к **Rəə*, например, θάνατος < < **dhnəə-etos*. Этому противоречили бы, однако, регулярное в таких формах несовпадение ударения с полной ступенью аблаута и необходимость восстанавливать специальные суффиксы, начинающиеся с **-e-*.

К этой же проблематике относится статья Е. Куриловича о различных видах двусложных стоп и об условиях их чередований («Phonetisches und Metrisches im Indogermanischen», стр. 164—174) [16].

Из частных замечаний автора привлекает внимание соображение о том, что «деформация» слова в стихе строится по подобию «деформации» слова, возникающей при вхождении в композит.

Среди других важных проблем — вопрос о характере распадения праязыка, рассмотренный в статьях А. Товара («Die

---

[9] H. Eichner, Zu Etymologie und Flexion von Vedisch *stṛ́* und *pū́mān*, «Die Sprache», XX, 1, 1974, стр. 27, примеч. 2.

[10] H. Pedersen, La cinquième déclinaison latine, København, 1926; F. B. J. Kuiper, Notes on Vedic noun-inflexion, 's-Gravenhage, 1942.

[11] Когда в слове лишь корень и окончание, возможны только два типа (ср.: J. Schindler, L'apophonie des noms-racines indoeuropéens, BSLP, 67, 1, 1972, стр. 31 и сл.).

[12] H. Eichner, Zu Etymologie... примеч. 1.

[13] P. Kiparsky, The inflectional accent in Indo-European, «Language», 49, 4, 1973.

[14] В. А. Дыбо, Балтославянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента, «Кузнецовские чтения», М., 1973, стр. 8 — 10; ср.: В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитыч, К истории славянской системы акцентуационных парадигм, «Славянское языкознание», М., 1963.

[15] Ср.: R. S. P. Beekes, The development of the Proto-Indo-European laryngeals in Greek, The Hague — Paris, 1969, стр. 186—237.

[16] Ср. теперь: J. Kuryłowicz, Metrik und Sprachgeschichte, Wrocław, 1975.

späte Bildung des Germanischen», стр. 346—357) и В. Майда («Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermanischen», стр. 204—219). А. Товар со свойственной ему акрибией рассматривает античные свидетельства о германцах и приходит к заключению о том, что германцы отделились позднее кельтов от того общеиндоевропейского «ствола», который сохранялся в Европе после раннего отделения индоиранского, греческого и анатолийского [17]. В. Майд, развивая свою теорию происхождения индоевропейских глагольных форм [18], показывает важность учета различных хронологических уровней праязыка и его географической неоднородности [19].

Индоевропейская тематика представлена еще в трех статьях. У. Каугилл объясняет происхождение кельтских абсолютных окончаний присоединением к окончанию частицы **(e)s*. («The origins of the insular Celtic conjunct and absolute verbal endings», стр. 40—70). Как явствует из примечания (стр. 68), эта гипотеза нашла поддержку у П. Тиме, О. Семереньи, Э. Рипа; Тиме предложил видеть в этой частице форму глагола-связки. К. Г. Шмидт, индоевропеист и кавказовед, исследует диахроническую типологию развития праязыковой падежной системы в разных языковых ветвях («Das indogermanische Kasusmorphem und seine Substituenten», стр. 268—286). В выделяемой им системе семантических множителей особенно перспективным представляется «транслятивность»— значение, характерное для картвельской грамматики и не свойственное индоевропейской грамматике. А. Лейкарт возводит греческий суффикс **-tās* к преимущественно испытавшему морфологическое переразложение второму компоненту сложного слова **stās* («Zur Herkunft der griechischen Nomina vom Typus πολίτης, οἰκέτης und περι-κτίτης, κυν-ηγέτης», стр. 175—191).

Статьи Б. Лефстедта («Augustin als Zeuge der lateinischen Umgangssprache», стр. 192—197), А. Рамата («Probleme der lateinischen Wortbildung: Das Suffix *-tura*», стр. 120—129), А. Климаса («Wordformation in Lithuanian», стр. 130—147) содержат синхронический анализ данных отдельных языков.

Идеи Ингве, Хомского, Филлмора развиваются в не имеющих отношения к индоевропеистике статьях Г. Э. Брекле («Zur Stellung der Wortbildung in der Grammatik», стр. 26—39), Г. Е. Нейгауса («Morphotaktische Zyklen», стр. 220—231) и О. Панагля («Kasustheorie und Nomina agentis», стр. 232—246).

Особое место в сборнике занимает статья Г. Бергенгольца, предлагающего новую методику сопоставительного исследования («Vergleichende Morphologie des Dänischen und des Deutschen», стр. 15—25). Сущность ее — в детальном исследовании всех контекстных различий употребления «однозначных» морфем (например, нем. *schwer* — дат. *svaer* или нем. Holz — дат. *trae*). Такие исследования, при всей их трудоемкости, несомненно ведут к объективному выделению семантических множителей и инвариантов.

Сборник хорошо издан. Ценность его существенно повышается подробным предметным указателем (стр. 379—386); указатель слов (стр. 387—389) — ключ к этимологическому богатству книги. Ее украшает и прекрасный греческий набор, выгодно отличающий ее от изданий, в которых греческий материал приводится в транслитерации. К сожалению, в сборник не вошел доклад И. Пудича, посвященный индоевропейскому местоименному склонению (ср. стр. 5 предисловия); ничего не опубликовал и сам издатель, нынешний президент Индоевропейского Общества, Г. Рикс, автор новейшей исторической грамматики греческого языка [20], написанной с позиций сторонника ларингальной гипотезы, с учетом акцентно-аблаутных типов, использующей и достижения микенологии.

Л. Г. Герценберг

[17] Ср.: W. P. Schmid, Alteuropäisch und Indogermanisch, Mainz, 1968.

[18] W. Meid, Indogermanisch und Keltisch, Innsbruck, 1966.

[19] Здесь уместно привести метафорическое высказывание И. М. Тронского, сравнивавшего реконструируемый праязык со звездным небом на том основании, что звезды, находящиеся от нас на различном расстоянии, представляются расположенными на одной, хотя и сферической поверхности.

[20] H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen, Darmstadt, 1976, стр. 297.

А. С. Львов. Лексика «Повести временных лет». — М., «Наука», 1975. 368 стр.

Вопрос об истоках русского литературного языка, о взаимоотношении восточнославянских и церковнославянских элементов в нем имеет длительную историю и далек от окончательного решения (если таковое вообще возможно). Эта проблема нуждается прежде всего в глубоких специальных исследованиях языка памятников древнерусской письменности. К сожалению, таких работ пока еще

немного. К числу их относится исследование А. С. Львова «Лексика „Повести временных лет“», вышедшее в свет в конце 1975 г.

«Повесть временных лет» (в дальнейшем —«Повесть») — выдающийся памятник письменности древнекиевской эпохи, имеющий поистине неоценимое значение для изучения древнерусского языка. В лаконичном образном и «энергичном» языке «Повести» отразились и нормы устной речи, и особенности устной поэзии, и книжная традиция. Не случайно многие исследователи русского литературного языка старшей поры обращались к этому памятнику. В их работах были поставлены вопросы, касающиеся истории создания древнерусского литературного языка, его генетических основ, исследовались тематические и лексико-семантические группы, относящиеся к церковнославянской или восточнославянской лексике, изучались стилистические и семантические функции церковнославянизмов [1].

Однако нельзя сказать, что лексика *«Повести» изучена полностью и всесторонне*. Предстоит сделать еще очень много, в частности, в установлении соотношения восточнославянских и церковнославянских элементов в языке этого выдающегося памятника древнерусской письменности.

А. С. Львов стремится рассмотреть лексику «Повести» в плане ее соотношений с лексикой памятников старославянской письменности и словарным составом восточнославянской речи. Автор анализирует лексику, связанную с человеком, его характером и отношением к другим (I гл.); бытовую лексику (II гл.); лексику, обозначающую жилье и постройки (III гл.); лексику, обозначающую земледелие, охоту, рыболовство и продукты питания (IV гл.); общественно-политическую лексику (V гл.); лексику, обозначающую торговлю (VI гл.); военную лексику (VII гл.); лексику, связанную с обозначением понятий грамотности (VIII гл.).

Написанию рецензируемой книги предшествовал ряд статей А. С. Львова, посвященных историко-этимологическому анализу отдельных слов памятника. Результаты этого анализа учитываются автором в рассматриваемой нами работе.

Перед исследователем лексики «Повести» возникают значительные трудности, связанные прежде всего с характером этого памятника, с особенностями его содержания и языка. Как уже отмечалось ранее, в «Повести» представлены самые разнообразные по содержанию и по языковой форме стили древнерусской письменности. Она содержит в своем составе большое количество цитат, включает целые произведения, написанные старославянским языком. Восточнославянские и церковнославянские элементы в лексике памятника настолько тесно переплетены и органически слиты, что не всегда возможно определить источник происхождения того или иного слова (восточнославянская речь, церковные книги или какой-либо иной источник). В языке «Повести» обнаруживается целый «ряд мнимых церковнославянизмов, вроде *влатъ*, *клаколъ*, представляющих такие же переделки русских *волотъ*, *колоколъ*, как и русские *сорочининъ*, *мороморъ*, *скорпия* — церковнославянских *сраценинъ*, *мраморъ*, *скорпия*,— выделение которых из массы действительных церковнославянизмов необходимо для лингвистики и археологии» [2].

Лексика «Повести временных лет», таким образом, представляет собой весьма сложное и противоречивое явление, требующее вследствие этого исключительно внимательного и пристального изучения; по существу каждое слово памятника требует тщательного и всестороннего анализа.

Отнесение того или иного слова к старо- и церковнославянским или к исконно восточнославянским элементам оказывается нелегким делом. Как отметил Ф. П. Филин, еще далеко не решен вопрос о том, «что нужно считать церковнославянизмами на всех уровнях языка и каков был их удельный вес в разные исторические эпохи как в определенных жанрах письменности, так и в языке обиходном» [3]. Трудность, как указывает А. С. Львов, усугубляется еще и тем, что «не всегда можно бесспорно решить, книжное или старославянское слово перед нами или это — искусственно окнижненное восточнославянское слово» (стр. 13). Принципиальное значение здесь имеют способы и приемы выделения общеславянских, церковнославянских и восточнославянских элементов. Основываясь на общеизвестных формальных и семантических признаках, А. С. Львов учитывает также характер и содержание контекста, в котором употреблено слово (в цитатах из памятников старо- и церковнославянской письменности или в оригинальном тексте), наличие или отсутствие слова в памятниках старосла-

[1] См., например: Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей), «Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена», 80, 1949.

[2] А. И. Соболевский, [рец. на кн. :] С. Булич, Церковнославянские элементы в современном литературном и народном языке, ч. 1, СПб., 1893, ЖМНП, CCXCIII (293), 1894, май, стр. 215.

[3] Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 639.

вянской письменности, возможность калькирования слова и, наконец, возможность употребления мнимых церковнославянизмов или мнимых восточнославянизмов в тексте памятника. Такой многоаспектный подход к определению характера слова позволяет автору в большинстве случаев правильно относить слово к тому или иному пласту (восточнославянская, общеславянская, церковнославянская лексика). Необходимо, однако, заметить, что употребление слова в памятниках старо- и церковнославянской письменности не всегда обязательно свидетельствует о его принадлежности к общеславянскому или церковнославянскому фонду.

Центральное место в книге А. С. Львова занимает этимологический анализ лексики. Именно вскрытие этимологически первичного значения чаще всего является основанием для решения вопроса о статусе слова (книжное — восточнославянское). Этимологический аспект в книге составляет основную ее задачу, а этимологический анализ становится основным методом исследования. Лексика «Повести временных лет» дала А. С. Львову повод проанализировать в этимологическом плане значительное количество слов, что позволило высказать более или менее обоснованные предположения относительно источника происхождения этих слов.

Однако, не умаляя важности этимологически первичного значения слова при определении источника его появления в тексте «Повести», вместе с тем необходимо иметь в виду, что нельзя переоценивать этот фактор. Этимологические разыскания не всегда могут служить достаточно веским основанием при решении этого вопроса. Чтобы с уверенностью установить принадлежность слова только древнерусскому языку и отсутствие его в других славянских языках или, наоборот, утверждать, что слово было общеславянским или старославянским, необходимо исчерпывающее сравнительно-историческое исследование лексики всех славянских языков и их диалектов. Основываться только на показаниях письменных памятников или словарей в этом случае совершенно недостаточно. Предварительная работа по сравнительно-историческому описанию лексики славянских языков должна быть обязательно выполнена: в противном случае исследователя ждут различного рода ошибки и разочарования. Примером может служить полемика, развернувшаяся вокруг национальной принадлежности переводчика «Хроники Георгия Амартола». Издатель памятника В. М. Истрин на основании установленных им «восточнославянизмов» в тексте «Хроники» утверждал, что перевод памятника был сделан древнерусским книжником. Однако П. А. Лавров и Н. Н. Дурново убедительно показали, что полагаться при определении специфических черт лексики древнерусского языка только на показания словарей Миклошича и Срезневского явно недостаточно.

В результате анализа ряда тематических групп лексики, нашедших отражение в «Повести», А. С. Львов приходит к выводу о том, что подавляющее большинство слов памятника составляют слова восточно- и общеславянские.

Восточнославянскими оказываются слова, обозначающие: а) особенности характера человека, его поведения и отношения к другим людям: *вабити*, *перевабити*, *водити*, *водимаѧ* «жена», *везти*, *залечи*, *зарѣзати*, *именины*, *клюка*, *переклюкати*, *кърста*, *могыла*, *навье*, *норов*, *хоронити*, *русалья*, *скоморох*, *оумыкати* и т. п.; б) названия предметов одежды, утвари: *пърты*, *пъртище*, *сорочька*, *луда*, *приполъ*, *сустугъ*, *наволокы*, *батогъ*, *вѣникъ*, *соудина*, *веретено* и т. п.; в) жилые и другие постройки (эти названия имеют соответствия в южнославянских языках): *хоромъ*, *колодязь*, *порогъ*, *ворота*, *печь*, *печера*; г) орудия производства, земледелия, рыболовства, продукты питания: *плугъ*, *цѣжь*, *кысель*, *мытель*, *коврижекъ*, *оужинъ*, *кърмъ* и т. п.; д) общественно-политические понятия: *боярinъ*, *вира*, *вирникъ*, *володѣти*, *волость*, *дѣтьскыи*, *земля*, *моужь*, *наимитъ*, *отрокъ*, *староста*, *тиоунъ* и т. п.; е) понятия, связанные с торговлей: *торгъ*, *торговище*, *гость*, *крьноути*, *продати*, *мыто*, *мытьникъ*, *золото*, *сребро*, *гривна*, *куна*, *вѣверица* и т. п.; ж) военные понятия обозначались в основном восточнославянскими словами; з) ряд слов, связанных с понятиями письма, грамотности, книжности: *письць*, *азъбоукы*, *азъбоуковьныи*, *грамота*, *лѣтописьць*, *харътиа*, которые возникли под влиянием греческих слов, но независимо от текстов церковных книг.

Эти же тематические разряды лексики представлены значительным количеством слов общеславянских (преимущественно праславянских по происхождению): *вѣно*, *веселье*, *гърдъ*, *женитися*, *радость*; *смыслъ*, *тѣло*, *посъ*, *вълна*, *лънъ*, *скора*, *мѣхъ*, *чаша*, *орати*, *рало*, *ролья*, *нива*, *жито*, *сѣдъ*, *дань*, *законъ*, *колѣно*, *кънѧзь*, *племя*, *родъ*, *чельдь*, *чядь* и др.

Восточнославянские и общеславянские слова составляют не менее двух третей общего количества проанализированных в работе слов. Вместе с тем в языке «Повести» выделяется значительный пласт книжной, старославянской лексики. Эта лексика попала в язык «Повести» из церковных книг или употребляется в цитатах: *блудъ*, *блудити*, *бракъ*, *браченье*, *възмужати*, *извѣтъ*, *клевета*, *обрученье*, *посягати*, *оусѣпенье*, *уснути*; *жилище*, *капище*, *монастырь*; *брашьно*, *вино*, *виноградъ*, *вькоусити*, *изобилье*, *овощь*, *пища*; *богатъ*, *богатьство*, *боляринъ*, *власть*, *служьба*, *служити* и

т. п. «Старославянский язык играл существенную роль в возникновении и развитии русского (древнерусского) литературного языка во все эпохи» [4]. Другой вопрос — что было ведущим, определяющим в развитии русского языка. Вся история русского литературного языка свидетельствует, что главным началом в нем была восточнославянская народная речь, которая усваивала и приспосабливала к себе все заимствованные иноязычные элементы, видоизменяясь при этом сама.

Изучение лексики такого памятника, как «Повесть», имеет большое значение для решения проблемы об основе русского литературного языка. Выполненное А. С. Львовым исследование позволило ему высказать определенные соображения по этому вопросу и присоединиться к мнению других исследователей о том, что летописи написаны в основном на восточнославянском языке, что в «Повести» «гораздо меньше церковнославянских элементов, нежели в других памятниках, как в фонетике, так и в морфологии, и построение предложений гораздо проще и ближе к разговорной речи» [5]. Разделяя эту точку зрения, А. С. Львов констатирует, что во многих случаях «летописец писал так, как говорят, но при этом стараясь своей письменной речи внешне придать книжный, старославянский вид» (стр. 345), что эта восточнославянская речь «внешне» облечена в «книжные формы», с включением в повествование книжных, старославянских элементов. В других случаях процесс «окнижнения» был глубже и повествование принимало характер, свойственный памятникам старославянской письменности.

А. С. Львов не упрощает языковой ситуации, подчеркивая ее сложность и противоречивость, отмечая, что в тексте «Повести» легко вскрывается (говоря словами М. И. Сухомлинова) «сложная мозаика» восточнославянизмов и старославянизмов на фоне общей обоим языкам лексики, т. е. на фоне общеславянской лексики.

Два способа изложения в «Повести» А. С. Львов связывает с двумя типами древнерусского литературного языка — народным и книжно-славянским (по Л. В. Щербе и В. В. Виноградову).

Идея о существовании двух типов литературного языка в Древней Руси приобретает все более широкое признание (Ф. П. Филин предпочитает говорить о двух близкородственных языках — церковнославянском и собственно древнерусском или, учитывая отсутствие «стройной системы стилистической дифференциации», о трех типах языка: книжно-славянском, «повествовательном», или среднем, и деловом) [6]. Однако при этом необходимо иметь в виду, что благодаря близости систем старославянского и восточнославянского (древнерусского) языков они не были обособлены друг от друга, а находились в состоянии взаимодействия, и поэтому влияние старославянского языка распространялось на все сферы древнерусского языка и не только письменного. Вследствие этого проблема происхождения и развития древнерусского литературного языка гораздо сложнее. Она не может быть решена без специальных исследований всей совокупности письменных памятников во всем их жанровом разнообразии. Ее решение предполагает также всестороннее использование данных диалектного характера.

В работе, по преимуществу этимологической, трудно ждать бесспорных решений по всем вопросам. Здесь возможны и вполне оправданы доказательства разной степени надежности — от верных (бесспорных) до гипотетических, неверных и допускающих возможность иной аргументации. И хотя автор не делит свои этимологические разыскания на эти категории, имплицитно это различие существует в работе, когда об одних случаях говорится «бесспорно», о других — «видимо» и т. д. Видна определенная осторожность как в этимологических разысканиях, так и в общих выводах и построениях. И эта осторожность вполне оправдана. Необходимо подчеркнуть, что именно этимологические наблюдения А. С. Львова представляют наибольший интерес. И если его книгу оценивать, исходя прежде всего из задач, которые в ней решались, то следует признать, что задачи эти в основном выполнены.

Однако представляется, что материал «Повести» не только давал возможность, но просто требовал более широкого и глубокого изучения лексического состава памятника. К этому обязывало и название книги, и степень изученности языка памятника, и обогащение наших сведений по исторической и диалектной лексикологии русского и других славянских языков.

Этимологические разыскания сами по себе еще не составляют и не могут составлять описание языка и его особенностей. Этимологии представляют лишь материал для такого анализа. Совершенно необходимо соединение этимологического анализа и исследования процес-

[4] Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, стр. 639.

[5] В. М. Истрин, Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.), Пгр., 1922, стр. 78.

[6] Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 10—11.

са функционирования слова в историческом плане. К сожалению, этот аспект, как правило, отсутствует в книге. Книга предстает по существу собранием этимологических этюдов, а не исследованием определенной языковой системы. Этимологический анализ слабо увязан со всей лексико-семантической системой языка.

Такой подход неизбежно привел автора к определенным ошибочным или недостаточно обоснованным утверждениям и выводам.

Так, основной причиной употребления книжной (церковно- и старославянской) лексики в «Повести» А. С. Львов по существу считает желание «летописца излагать мысль так же, как и в церковных книгах» (стр. 317). Считается несомненным, «что летописец в повествовании старался восточнославянской речи придать книжный характер или вид. Большинство из повествований Пов. вр. л. с этой точки зрения имеет в основе восточнославянскую речь, внешне облеченную в книжные формы, и, кроме того, вместо некоторых отдельных слов и оборотов восточнославянской речи летописец употребляет книжные, старославянские элементы» (стр. 346). Это «окнижнение» — явление вторичное, «в первичной редакции Пов. вр. л. было гораздо больше изложений мысли восточнославянской речью..., а в дальнейшем все больше и больше старались излагать мысли по-книжному, устраняя по возможности обычные восточнославянские слова, заменяя их книжными или переделывая искусственно на книжный лад» (стр. 103). Эти утверждения вызывают ряд вопросов: когда началась тенденция к «окнижнению» восточнославянской речи, чем это вызвано, что этим достигалось? В книге А. С. Львова читатель не найдет ответа на эти вопросы.

Между тем, многими исследователями уже подчеркивалось, что церковнославянские лексические элементы не бездумно, не в угоду моде, вводились в текст летописи; они часто стилистически и семантически оправданы. Наблюдения над стилистическим употреблением старославянизмов в «Повести» представили бы значительный интерес. Нельзя сказать, что эти наблюдения полностью отсутствуют в исследовании А. С. Львова (см., например, главы о военной и общественно-политической лексике), но они носят случайный несистематический характер и являются скорее отступлением от сугубо этимологических наблюдений, чем правилом. Но и в этих случаях хотелось бы видеть более глубокими семантико-стилистические характеристики. Язык исследуемого памятника представлял для этого большие возможности.

При изучении лексики «Повести» встает вопрос о напластованиях, внесенных поздними переписчиками, которые необходимо отделить от первоначального текста. Применение сравнительно-лингвистического анализа разночтений списков летописи, которым А. С. Львов широко пользуется, помогает этому. Однако автор не всегда учитывает, что лексические варианты, имеющиеся в различных списках «Повести», представляют собой не простые исправления или искажения (замены) более раннего текста, а языковые факты, в которых отразилась многовековая история русского литературного языка. За каждой заменой, каждым разночтением стоят определенные причины, вызвавшие их.

Несмотря на сложность и многогранность содержания, «Повесть» представляется тем не менее единым литературным произведением. Отсюда следует, что к языку памятника надо относиться как к определенной речевой системе, элементы которой находятся в органической связи друг с другом. В свое время в результате тщательного анализа богатейшего лексического материала «Повести» Ф. П. Филин пришел к выводу о том, что лексика «Повести» не является собранием «разнородных слов, попавших в... памятник из различных его источников, принадлежавших к различным речевым „жанрам“», а представляет собой живую систему «с богатыми и своеобразными закономерностями и с известными противоречиями и колебаниями, характерными для русского литературного языка древнекиевской эпохи. Эта система складывалась в процессе литературного речетворчества прежде всего как органическое слияние византийско-инославянского языкового наследства (древнецерковнославянской речевой струи) с восточнославянской языковой основой, причем ведущую, определяющую роль играла восточнославянская речь» [7].

Конечно, система была довольно сложной и своеобразной, но в этом отражались сложность и своеобразие общих условий развития литературного языка. Лексические, морфологические и синтаксические «колебания» и «отклонения» этой системы отражали картину состояния древнерусского языка в целом.

В работах, подобных рецензируемой, совершенно необходимо сочетание двух планов исследования — языкового и культурно-исторического, ибо нередко анализ структуры слова должен быть предварен анализом «структуры мира»: причины движения в лексике и семантике в значительной степени лежат во внеязыковой действительности. В книге А. С. Львова это не учитывается в должной мере, что иногда приводит к ошибочным заключениям.

Например, утверждается, что причины вытеснения термина *дружина* термином

[7] Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка..., стр. 4.

полкъ лежат в полисемии слова *дружина* («...полисемия явилась причиной того, что позже слово *дроужина* стало заменяться на другие, особенно на *полкъ*», стр. 283). Это неточное утверждение. Прежде всего заметим, что слово *полкъ* в древнерусском языке также было полисемичным. Что касается «Повести», то в этом памятнике (как и вообще в древнерусском языке) наблюдается неустойчивость терминологического обозначения совокупности воинов (войска). *Рать*, *полкъ*, *вои*, *дружина*, *сила* и другие слова нередко выступали как синонимы в этом значении. Данные «Повести» не дают возможности говорить о вытеснении *дружины* каким-либо другим наименованием. Это вытеснение произошло позже и по другой причине. Только с конца XIII в. отмечается резкое уменьшение употребления термина *дружина*, происходит сужение его значения. В качестве обозначения постоянного княжеского войска *дружина* уже не употребляется. Это было вызвано тем, что в социально-политической жизни древней Руси произошли изменения, приведшие к коренной ломке отношений между князем и его окружением. На смену дружине пришел двор, состоявший из служебных князей и бояр, из мелких служилых людей — детей боярских и слуг под дворским. Дружина (теперь двор) теряет свои первоначальные признаки организующего начала вооруженной силы государства (княжества). Эту функцию начинает выполнять *полкъ*. Следовательно, в основе всех этих изменений (замен) лежат изменения условий общественно-политической жизни [8].

Частота и многократность употребления слова в памятнике не может служить основанием для суждения об исконно восточнославянском, праславянском или церковнославянском характере слова. Поэтому несколько странно звучит, например, такое утверждение А. С. Львова: «Хотя в Пов. вр. л. слово *копье* встречается редко, не более 10 раз, тем не менее это слово у нас — праславянское наследие» (стр. 293). В других местах обзор принимает настолько беглый и поверхностный характер, что автору не удается сообщить что-либо существенно новое и интересное относительно рассматриваемых слов. Ср.: «Таким образом, Ножь, передающий греч. μαχαιρα, носится въ НожНь Нищя... Это, по всей видимости,— кинжал» (стр. 295). «По всей видимости, *лукъ* и *стрѣла* были массовым оружьем, которым вооружается каждый воин. Помимо этого, воин, надо полагать, имел еще *щитъ*. Слово это также является общеславянским» (стр. 294).

Можно отметить нечеткое распределение лексики по тематическим разрядам и группам. Так, трудно понять, почему названия музыкальных инструментов: *боубьнъ*, *гоусли*, *сопѣль*, *труба* — попали в главу «Лексика, связанная с человеком, его характером и отношением к другим»; а слова *смьрдъ*, *поваръ*, *лошадь* нашли место среди наименований орудий производства, глагол *обоути*, существительное *лапотникъ* отнесены к названиям обуви и т. п.

Обращает на себя внимание наличие нечетких, неясных формулировок типа: «Таким образом, дружина делилась на какие-то части, которые также именовались дружиной, но с определением» (стр. 233). Наконец, нельзя не указать на большое число досадных опечаток, которые нередко затрудняют понимание текста.

Нет необходимости говорить об актуальности и важности работ по исторической лексикологии русского и славянских языков. Каждое серьезное исследование в этой области встречается с большим интересом. Вызовет интерес специалистов и рецензируемая книга. Она не поставила точку в изучении лексики «Повести временных лет». Но она продолжила исследование языка этого памятника, внесла целый ряд интересных наблюдений и замечаний. Как справедливо замечает автор, предстоит дальнейшее изучение лексики памятников древнерусской письменности, так же как всестороннее изучение грамматического строя древнерусского языка в плане установления взаимоотношения в нем старославянских и восточнославянских элементов.

Ф. П. Сороколетов

[8] См. об этом подробно: Ф. П. Сороколетов, История военной лексики в русском языке XI—XVII вв., Л., 1970, стр. 70—74.

Р. В. Булатова. **Старосербская глагольная акцентуация** (Сборник 1509 г. как памятник истории сербского штокавского ударения). — М., «Наука», 1975. 281 стр.

В рецензируемой книге Р. В. Булатовой «Старосербская глагольная акцентуация» описывается просодическая система рукописи начала XVI в.[1] на материале глагольных форм (личных форм в презенсе и аористе, причастий на *-lъ*, инфинитива). Монография состоит из двух глав, введения и заключения. Во введении прослеживается история сербской акцентологии от Дж. Даничича до работ современных ученых, определяется метод исследования, представляющий собою морфонологический принцип противопоставления трех акцентных парадигм, разработанный Л. Л. Васильевым и Хр. Стангом.

Исследованию памятника посвящены две главы. В первой дается палеографическое, текстологическое и лингвистическое описание Сборника 1509 г., анализируется его содержание (стр. 15—67). Палеографическое описание рукописи показывает, что оба его писца, монахи Мардарий и Пахомий, были представителями одной орфографической школы: в тексте при наличии некоторых особенностей рашской школы XIII—XIV вв. преобладают черты ресавской Евфимиевской орфографии. В главе приводятся все виды начертаний букв, встреченных в памятнике, отмечаются общие и индивидуальные особенности обоих писцов: употребление ѣ, ь, ъ и т. д. Тщательно описана система надстрочных знаков Сборника, которые оказались едины у обоих писцов. Тождественное употребление просодических знаков у Мардария и Пахомия, а также общая для обоих писцов орфографическая традиция дают возможность автору в дальнейшем, анализируя материал, не дифференцировать его по почеркам. Кроме того, Р. В. Булатова анализирует и отмечает также все наиболее яркие фонетические и морфологические черты рукописи, последовательно сравнивая их с данными современных сербских говоров.

Во второй, основной, главе (стр. 68—220) описывается акцентуация Сборника по группам, разделенным в зависимости от тематического гласного инфинитива. Внутри обширной группы глаголов на *-iti* отдельно исследуется ударение деноминативов, сопоставляемое с акцентными характеристиками производящих имен.

Каждая глагольная группа описывается по трем исконным праславянским парадигмам и предваряется списком этих глаголов с акцентовкой, свойственной современному сербохорватскому литературному языку, а также соответствиями из других славянских языков и диалектов. В конце главы (стр. 244—259) приводятся (единым списком по алфавиту) глаголы, по тем или иным причинам не исследованные в монографии, со всеми встретившимися словоформами. Книга завершается библиографическим списком (стр. 260—263), включающим в себя 97 названий, т. е. все основополагающие работы по славянской акцентологии в целом, а также касающиеся системы сербского ударения и глагольной акцентуации в частности.

Важность и значительность исследования Р. В. Булатовой несомненна. Работы, посвященные описанию системы словесного ударения одного памятника или группы однородных памятников — редкость в достаточно обширной литературе по славянской акцентологии. Целью исследований, как правило, является реконструкция праславянской акцентной парадигматики. Восстановить же особенности словесного ударения средневековых славянских говоров возможно только при привлечении данных рукописных источников того времени. На сегодняшнем этапе развития науки необходимы работы, тщательно описывающие акцентные системы отдельных славянских рукописных памятников и говоров. Именно данные, извлеченные из рукописей, сопоставленные с исходной праславянской акцентной парадигматикой и системой словесного ударения современного говора, а также литературного языка, дают возможность восстановить акцентную систему конкретного говора в определенный период его развития.

Автором была сделана полная выборка всех акцентованных глагольных словоформ из текста памятника и в результате получен словоуказатель глаголов рукописи, представленный в монографии (стр. 269—278). Статистический анализ всех без исключения акцентных форм дал возможность наблюдать глагольную иктическую вариантность. Несомненна важность такого анализа для общих, обобщающих выводов по системе словесного ударения Сборника, так как акцентное колебание может отражать нетождественность просодических систем писца и памятника-источника, но при этом, как отмечает Р. В. Булатова, следует еще учитывать влияние «ряда факторов: церковной традиции, стремления писцов к некоторой архаизации и, бесспорно, акцентовки протографов» (стр. 221).

Словесное ударение Сборника представляет собою определенную систему ак-

[1] Рукопись найдена А. Ф. Гильфердингом в 1857 г. в монастыре Пива; сейчас она хранится в Ленинградской публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, собрание А. Ф. Гильфердинга, № 56 —«Сборник слов 1509 г.».

центных отношений, единую, имеющую следующие особенности: «...глаголы исконной *a* а.п., будучи сильным звеном акцентной системы, никогда не изменяют в Сборнике накоренного ударения и не имеют дублетных форм». Глаголы же исконных *b* и *c* а.п., являясь слабым звеном просодической системы (поскольку именно в них происходило перераспределение акцентных моделей), имеют некоторое число вариантных форм» (там же). На многочисленных примерах, извлеченных из рукописи, Р. В. Булатова показывает, что просодическая система памятника отражает переходный этап в развитии словесного ударения штокавских говоров вследствие незавершенности процесса перехода некоторых групп лексики из одного акцентного типа в другой, а также и, главное, процесса штокавской ретракции, которой «была охвачена вся акцентная система памятника, хотя ни в одном из лексико-морфологических слоев она не была проведена до конца» (стр. 224). Именно комплексное рассмотрение материала, сопоставление его с исходной праславянской акцентной структурой и диалектными данными сербского языка дали возможность исследователю установить и вычленить в общей, казалось бы, бессистемности словесного ударения Сборника просодические особенности, отражающие определенные этапы развития диалектного штокавского ударения, а, кроме того, те архаические иктические черты, которые имеют явно книжную церковную традицию.

Все выводы Р. В. Булатовой строго аргументированы, ясно изложены. Усвоению материала помогают четко составленные таблицы, отражающие наиболее яркие просодические процессы, зафиксированные в Сборнике. Хочется еще раз подчеркнуть тщательность, с которой выполнена работа; ее выводы, как и метод исследования, не вызывают сомнения. Однако при чтении монографии возникают некоторые размышления, на которых нам бы хотелось остановиться.

Прежде всего о материале исследования. Описание и интерпретация данных одной только рукописи вряд ли являются достаточными для тех обобщающих выводов (во всяком случае в области акцентологии), к которым стремится любой автор: восстановить систему акцентных отношений известного говора в определенный момент его развития. Выше приводилась цитата, в которой Р. В. Булатова указывает на те многочисленные влияния, которые испытывает просодическая система памятника. Поэтому, чтобы увидеть эти влияния и позднейшие наслоения, как-то оценить их, необходимо исследование целой группы рукописей данного ареала (по возможности различного жанра и различных орфографических традиций). Только таким образом могут быть выявлены закономерности словесного ударения, свойственные данному говору. И если выводы автора не вызывают сомнения, то это лишь подтверждает хорошо известное положение: осмысление материала Сборника происходило на базе уже известных исследователю аналогичных данных целого ряда рукописных источников. Кроме того, изучение одной, морфологически единой лексической группы закономерно и представляет определенный интерес, но реконструкция просодической системы говора, установление закономерностей его развития, по-видимому, требует более обширного материала, в лучшем случае — описания особенностей словесного ударения всех морфологических категорий.

Первую главу автор посвящает лингвистическому, палеографическому и текстологическому описанию памятника, необходимому для более четкой локализации рукописи. Посмотрим, насколько это удается. Так, в монографии отмечаются некоторые морфологические особенности Сборника и соотносятся с тождественными формами современных сербских говоров. В результате получается, что одна морфологическая особенность — обобщение мягких окончаний у прилагательных и местоимений (стр. 50) — соответствует косовско-ресавским говорам, другая — колебания в роде у основ на *-i* (стр. 50—52) — призренско-тимочским и т. д. (ср. и все прочие фонетические и морфологические черты, описанные автором). Далее следует совершенно справедливый вывод, который объясняется рядом экстра- и интерлингвистических причин, что «провести конкретную локализацию памятника по данным языка затруднительно» (стр. 53). По-видимому, такая задача, как «конкретная локализация памятника», вряд ли могла быть поставлена, учитывая особенности кириллических средневековых рукописей. Каждый памятник, как правило, представляет собою контаминацию целого ряда языковых пластов: системы протографа, церковной традиции, элементов разговорной речевой стихии говора писца и т. д., поэтому четкое отнесение того или иного памятника к отдельному говору редко бывает однозначным. Однако не следует забывать, что в то же время рукопись всегда несет в себе определяющие, доминантные черты определенной группы говоров, например, ср. севернорусские и южнорусские рукописи.

Описывая графическую систему просодических знаков Сборника, Р. В. Булатова приводит примеры, в которых «графисом могло обозначаться второе, вариантное ударение: *...водою*» (стр. 56). С этим утверждением вряд ли можно согласиться. Еще А. А. Шахматов в «Отзыве...» о книге Л. Л. Васильева писал: «Решительно возражаю Л. Л. Ва-

сильеву и нахожу что'' в Псалтыри, как и во многих рукописях XVI—XVII вв., имеет значение простого надстрочного значка, а не ударения» [2]. Кроме того, сам автор несколькими строчками выше пишет, что для прилагательных и причастий знак графиса на конце слова обозначал не собственное ударение, а необходимость выделения полной словоформы при чтении (*доброѣ*). Не аналогичны ли эти примеры?

Некоторое возражение вызывает определение исконной акцентной парадигматики ряда слов. Так, нам кажется, что из названных исконно баритонированными следовало бы исключить слова: *заря* (данные славянских языков указывают на подвижность), *место* (в последних исследованиях ряда авторов отмечается архаическая принадлежность слова к а.п. *b*), *смерть* и *царь* (и в том и в другом случае можно говорить или об исконной окситонезе, или подвижности, но архаическая баритонеза исключается), *страх* (сам автор на 77 стр. указывает на исконную подвижность имени, и, вероятно, не стоило производный глагол помещать в группу исконно баритонированных, так как в основу классификации положен принцип соотнесения слов именно с их исходной праславянской акцентной парадигматикой), *хитр* (а.п. *b* для русского языка окситонеза характерна еще во времена Востокова) [3].

В заключение еще раз хотелось бы отметить важность исследований такого рода для развития славянской акцентологии. Именно данные рукописей являются основным источником для реконструкции систем словесного ударения славянских языков и говоров в период средневековья. Только при помощи исследования рукописных памятников можно установить и восстановить все этапы развития славянского словесного ударения до современных нам акцентных систем диалектов и нормированных литературных языков, реконструировать все звенья в цепи развития иктической славянской парадигматики.

Е. А. Морозова

[2] Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков, Л., 1929, стр. IX.

[3] Мы не приводим соответствия из славянских языков, так как они даны в тексте монографии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1977

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

27—29 октября 1975 г. в Кракове состоялось пятое заседание Международной комиссии по славянским литературным языкам, организованное Институтом польского языка ПАН. В заседании принимали участие члены комиссии и специалисты из СССР, ЧССР, СФРЮ, ГДР, ПНР и Австрии. Из Польши в заседании комиссии участвовали, кроме того, сотрудники высшей школы и академических учреждений Варшавы, Кракова, Вроцлава, Познани, Лодзи и Люблина. Из-за отсутствия докладчиков не состоялись доклады акад. Б. Гавранка, чл.-корр. АН СССР акад. Ф. П. Филина и некот. др.

Участники заседания почтили память члена комиссии чл.-корр. АН НРБ Л. Андрейчина. Открывая заседание, председатель комиссии А. Едличка (Прага) сказал об активном участии Л. Андрейчина в работе комиссии, о важном значении его работ по литературному болгарскому языку в его историческом развитии и современном состоянии. В последующей части своего выступления А. Едличка осветил текущую деятельность комиссии, которая отражена в изданных сборниках работ комиссии («Говорните форми и словенските литературни јазици», Skopje, 1973; «Slovanské spisovné jazyky v době obrození», Praha, 1974; «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах», М., 1976).

Тематика краковского заседания органически связана с тематикой московского заседания 1974 г., посвященного проблемам нормы славянских литературных языков. В центре внимания участников заседания 1975 г. были вопросы вариантности нормы в славянских литературных языках. В докладах были поставлены вопросы как общего, теоретического характера (касающиеся содержательной стороны понятий и терминов), так и конкретного характера — о типах вариантов в отдельных славянских литературных языках, что является важной основой исследований сопоставительного характера, которые применительно к славянским литературным языкам представляют собою одну из задач деятельности комиссии.

Свой вводный доклад А. Едличка посвятил определению широкой проблематики вариантности, ее отдельных аспектов, разработка которых позволила бы подойти к решению проблемы в целом, и выделению ведущих языковых явлений. Под вариантностью понимается сосуществование вариативных средств в пределах нормы. В определении понятия варианта наметилось два подхода: проблематика вариантов и их классификация была разработана применительно к фонемному уровню, а затем и для других уровней языкового строя (об этом свидетельствуют словари лингвистических терминов). В ином значении термин «вариант» (или «вариация», «разновидность») используется в социолингвистике, где говорят о вариантах языка (resp. речи), определяющихся воздействием внеязыковых факторов (в соответствии с этим варианты делятся на диахронические, диатопические, диастратические и диагенные). Вариантность (понимаемая как существование вариативных средств в норме) является основным свойством каждой языковой нормы, причем характер и степень вариативности нормы различаются в отдельных разновидностях народного языка. Характер и степень вариативности нормы являются специфическими в отдельных языках, различаясь в этом отношении, а также — применительно к отдельным периодам развития литературных языков. Характер вариативности литературного языка зависит также от данной языковой ситуации (в частности, от соотношения устной и письменной форм языка, стилевой дифференциации, степени оформленности языковых характеристик стилей и т. п.). В целях синхронной характеристики литературного языка важно изучить динамику языка в синхронном плане, проявляющуюся во взаимодействии между традиционными формами и инновациями.

Э. Паулини (Братислава) в докладе «Об одном типе вариантности в славянских литературных языках» исхо-

дит из понятия вариантности, разработанного А. Едличкой в книге «Литературные языки в современной коммуникации». Наличие в языке вариантных средств может быть следствием внутриязыкового развития, их истоком могут быть отдельные наречия или восхождение их к отдельным этапам в развитии языка, а также иноязычное влияние (языковые контакты). Принадлежность явлений к разным функционально-стилевым сферам Э. Паулини не склонен считать проявлением вариантности, и по этой причине они, по его мнению, не поддаются сопоставительному изучению. Напротив, явления, принадлежащие одной сфере, представляют собою основу для такого рода исследований: в них находят отражение сходные общественные потребности, сходная общественная ситуация и воздействие сходных условий общения. Это различие было проиллюстрировано сравнением некоторых специфических научных и публицистических средств (преимущественно на материале дистрибуции непервичных предлогов и предложных оборотов) в публицистических текстах русского, чешского, польского и болгарского языков с учетом действия различий в структуре отдельных литературных языков.

А. И. Горшков (Москва) в докладе «Вопрос о вариантности норм в связи с пониманием языка как системы систем» проанализировал содержание понятий нормы и варианта на трех уровнях — языкового явления, текста и стилевой дифференциации литературного языка и обратил внимание на их взаимообусловленность. При использовании языковых средств на уровне текста и стилевой дифференциации литературного языка и оценке нормативности и закономерного характера такого использования особо следует выделить явления, в которых вариантное средство, являющееся нелитературным на уровне отдельного языкового явления, может соответствовать норме на уровне текста и стиля. В докладе была показана актуальность проблематики соотношения языковых и стилевых норм, особенно при учете изменчивости положения отдельных стилей относительно задачи выделения «ведущего» стиля в развитии литературного языка.

В дискуссии обсуждались прежде всего вопросы, связанные с уточнением понятий и терминов, употребляемых в связи с проблематикой вариантности, определения варианта и классификации вариантов. Д. Брозович (Задар), выступая по поводу доклада А. Едлички, обратил внимание на понятийную ограниченность термина «вариант», перенесенного в теорию литературного языка из фонологии, и предложил использовать термин «дублет». Л. Мошиньский (Гданьск), напротив, полагает, что объем термина «вариант» шире. Л. Качмарек (Люблин) оценил варианты с точки зрения различения кодифицированной и некодифицированной нормы. В. Смех (Лодзь) обсуждал варианты в отношении структурных и оценочных аспектов нормы. М. Гоновска (Краков) обратила внимание на зависимость понятий вариантности нормы и языка, и речи.

При обсуждении доклада А. И. Горшкова Т. Скубаланка (Люблин) остановилась на характере отношений языковых и стилевых норм с точки зрения их сходств и различий. Г. Хюттль-Ворт (Вена) осветила соответствие стилистического использования вариантных средств языковой нормы принципам licencia poetica. Вл. Барнет (Прага) обратил внимание на актуальность поднимаемых вопросов связей языковой и стилевой нормы и на существование разных субнорм в рамках общей нормы, а также на перспективность исследования закономерностей в их связях. В дополнение к докладу Э. Паулини А. Фурдал (Вроцлав) показал вариативные отношения исконных и интернациональных параллельных языковых средств в научно-техническом стиле.

Г. Хюттль-Ворт в докладе «О вариантах современного русского литературного языка» рассмотрела, как представлен вопрос о вариантности в книге «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973), и, подробно анализируя произносительные и морфологические варианты, поставила вопрос об адекватности критериев их оценки относительно тенденций развития современной русской литературной нормы. На примере становления чешской и русской традиций толкования нормы докладчица показала возможности уточнения понимания явления вариантности. Факт использования лексических различий в вариативных рядах позволил ввести требование учета стилистических характеристик при исследовании вариантности.

На принципах сопоставительного анализа был основан доклад Д. Брозовича «О языковых дублетах и сходных явлениях и о типовых нормах». Докладчик предлагает устанавливать характер вариативности на основе различения так называемых узуальной и кодифицированной норм. Он подчеркивает необходимость различения на основании общих показателей более широкого понятия дублета и более узкого — варианта. Была предложена классификация дублетов и выделены шесть групп (свободные, синонимические, асимметричные, неравноценные, дифференцированные по функционально-стилевому признаку, ареально и вариантно поляризованные); на ряде примеров были показаны процессы перехода от одной группы к другой как в пределах литературной нормы, так и за ее пределами. При этом разные типы изофункциональных средств в пределах

литературной нормы оказываются ограниченными действием общих принципов вариантности.

Вычленению вариантности как предмета изучения теории литературного языка был посвящен доклад Вл. Барнета «Понимание вариантности в теории литературного языка». Докладчик исходил из того факта, что вариантность свойственна языку в целом. Ее специфика в литературном языке проявляется в зависимости от того, имеем ли мы дело с системой, нормой, кодификацией или узусом. В такой дифференцированности подхода к изучению вариантности состоит различие между теорией литературного языка и описательной лингвистикой. В отличие от социолингвистики, которая также занимается изучением языковых вариантов, теория литературного языка изучает и варианты, мотивированные социально-коммуникативными факторами, и варианты собственно структурные, языковые. Из того факта, что на фоне формальной дифференциации языкового целого литературный язык выступает как формация sui generis, следует сосуществование в его норме гетерогенных средств. Положение вариантов приобретают разные типы изофункциональных средств. На основе таким образом понимаемого предмета вариантности в теории литературного языка докладчик предлагает классификацию вариантов, обусловленных структурно-языковыми и социально-коммуникативными факторами.

В центре развернувшейся дискуссии оказались вопросы исторических и региональных вариантов и выделение вариантности как предмета изучения теории литературного языка. М. Шимчак (Варшава) указал на обоснованность различения среди исторических вариантов архаических, устарелых и выходящих из употребления. А. И. Горшков привел это разграничение в соответствие с определением границ «современности» литературного языка. Ст. Урбанчик (Краков) показал относительность оценки исторических вариантов представителями разных поколений. Касаясь вопроса о региональных вариантах, затронутых в докладах Д. Брозовича и Г. Хюттль-Ворт, Ст. Урбанчик обратил внимание на то, что сложный состав региональных вариантов в польском литературном языке прошлого века был связан с меняющимся культурным значением Варшавского и Краковского центров, с одной стороны, и различными способами кодификации нормы у различных деятелей языковой культуры, с другой. А. Едличка говорил о том, что входящие в литературную норму региональные варианты получают стилистическую окраску. Л. Мошиньский считает, что различие диалектизмов и региональных вариантов нормы относительно. Присоединяясь к мнению Вл. Барнета, А. Едличка и Д. Брозович высказались в пользу необходимости разработки собственного понятия вариантности применительно к теории литературного языка. Т. Скубаланка обратила внимание на необходимость различения функционально сходных средств на уровне отдельного стиля и на межстилевом уровне. Она коснулась также вопроса отношения разных групп говорящих к вариативным рядам.

Х. Фаска (Будышин) в докладе «Вариантность нормы и ее типология» дал теоретически обоснованный анализ морфологических вариантов в верхнелужицком литературном языке и предложил свою теорию вариантности. Он исследовал зависимость понятия вариантности от разного понимания нормы, трактуемой либо как речевой идеал, либо как принятая коллективом говорящих реализация системы. Существенным моментом в подходе Х. Фаски к решению этой проблемы является понимание различий в объеме понятия вариантности применительно к языковой системе и норме, в иной связи прозвучавшее в докладе Вл. Барнета. Система располагает вариантами факультативными и вариантами, находящимися в отношении дополнительной дистрибуции. В норме представлены только факультативные варианты. Временная обусловленность системы литературного языка порождает внутренние варианты (инновации, устарелые и нейтральные формы), а локальная обусловленность — внешние варианты (региональные, социальные, а также явившиеся следствием контактов). Основой развития нормы следует считать отбор и отбрасывание вариантов.

Б. Конески (Скопле) в докладе «О некоторых вариантных формах в македонском литературном языке» показал проблематику вариативности и возможности ее решения при кодификации современного македонского литературного языка на примере морфологических явлений. Он сравнил три новые попытки кодификации («Правила правописания» 1945, 1950 и 1969 гг.). В них обнаружилась тенденция к устранению вариантов, отражающих исходную диалектную дифференциацию: в то же время в соответствии с развитием нормы здесь последовательно уделяется большое внимание тенденции к дисгармонии гласных, свойственной народному языку (в им. падеже мн. числа муж. рода отдается предпочтение варианту *-еви*, *-ови* же сохраняется у имен с корневым *-е-*, ср. *brojevi*, *ežovi*, но *nožovi* и *noževi*). Тенденцию к дисгармонии гласных можно найти и в чешской морфологии (как показал в дискуссии А. Едличка на примере чешского склонения: в им. падеже мн. числа муж. рода одушевленных существительных проникает *diplomaté*, *favorité*, однако не реализуется — *advokáté*, *studenté*). Напротив,

тенденция к гармонии гласных действует в языке художественной литературы: в македонской поэзии это привело к использованию регионального варианта *dobor* (в контексте *dobor zbor* вместо литературного кодифицированного *dobar*).

А. Младенович (Нови Сад) в докладе «Некоторые разыскания о вариантности нормы в современном сербскохорватском литературном языке» исследовал живые вариантные явления в склонении существительных современного сербскохорватского литературного языка (зват. падеж ед. числа, твор. падеж ед. числа муж. рода, род. падеж мн. числа муж. и жен. рода). Докладчик исследовал факторы, которые влияли на развитие этих явлений, и, учитывая историческую обусловленность этих факторов, показал наличие морфологических вариантов в современном сербскохорватском литературном языке. Опираясь на комбинации различных факторов, воздействующих на развитие вариантов, он подробно охарактеризовал различия в развитии двучленных и многочленных вариантных рядов. В числе этих факторов докладчик назвал слоговую и морфематическую структуру слова, обычность или исключительность формантов, частотность лексем и т. д.

Выступая в дискуссии, Д. Брозович дополнил положение Х. Фаски о конфессиональной обусловленности выделения вариантов примерами из старославянского, белорусского, украинского и словенского языков. Л. Мошиньский проиллюстрировал положение А. Младеновича польским материалом.

Ст. Урбанчик в докладе «Иерархия литературно узаконенных норм в современном польском языке» исследовал в исторической перспективе источники оппозиционных вариативных пар (архаизм — неологизм, общеязыковое явление — регионализм, исконное явление — заимствование, литературное явление — нелитературное явление). Он рассматривает признаковость одного из вариативных средств в связи с факторами, определяющими норму данной языковой общности и эпохи. На этой основе он получает оценочные критерии вариантности — такие, как соответствие графическому облику слова, социально престижный узус, узус, свойственный правящим кругам или влиятельным слоям общества, логические и формальные критерии. Докладчик изучает их неодинаковую значимость на разных этапах развития польского литературного языка.

Д. Буттлер (Варшава) в докладе «Польские синтаксические варианты и валентность высказывания» обратила внимание на вариативные явления в области синтаксиса. В современных литературных языках здесь прослеживаются значительные изменения, связанные с развитием этих явлений, а также процессы интерферирования. Докладчица сочла необходимым ввести разграничение понятий (и соответствующих им терминов) «синтаксический вариант» (для которого существует двоякая традиция употребления — с точки зрения общетеоретической структурной и нормативной) и «валентность», а также некоторых синонимических терминов. Термин «вариант» правомерен в тех случаях, когда речь идет не о редком явлении, а касается целых семантических групп слов и определенных словообразовательных типов. Д. Буттлер показала на примерах, что взаимозаменяемость вариантов может носить двоякий характер — она может быть неограниченной (а иногда односторонне ограниченной), в иных же случаях употребление одного варианта исключает употребление другого. Выбор варианта может диктоваться либо формальными, либо семантическими факторами.

Два доклада были посвящены вопросам болгарского литературного языка. К. Гудшмидт (Берлин) в докладе «Аспекты вариантности нормы в болгарском литературном языке» разграничивает системные релевантные варианты, связанные с различительной способностью системы, и варианты несистемные. На примере оппозиций ударения в системных вариантах форм аориста и настоящего времени (ср. *ка́жа* — *ка́зах* и *ка́жа* — *каза́х*) докладчик исследовал процессы стабилизации диалектной основы новоболгарского литературного языка и пришел к выводу о необходимости разграничения понятий (и терминов) «дублеты» (параллельные равноценные средства) и «варианты» (средства, различающиеся в семантическом и функциональном отношении).

Г. Дель-Агата (Пиза) в докладе «Несколько критических замечаний о языковом вопросе в Болгарии» подробно рассмотрел черты типологического сходства в решении языковых вопросов в Болгарии и Греции первой половины XIX в. Применительно к особенностям отдельных периодов докладчик восстановил, используя понятия «dignitas» и «норма», содержание терминов «простой» язык, старый и новый родной язык, славяно-болгарский, славянский.

В дискуссии А. Едличка подчеркнул значение исследования социально обусловленных языковых изменений. М. Шимчак обратил внимание на значение формального критерия при выборе варианта. К. Писаркова (Краков) указала на относительность критерия происхождения. З. Тополиньска (Варшава) на примерах кашубского и македонского языков показала общую тенденцию к обновлению формальных средств в связи с проявлением принципа языковой избыточности. Д. Брозович одобрил предложенное К. Гудшмидтом разграничение ва-

рианта и дублета, связанное с генетическими и синхронными аспектами варианта. Он показал связь затронутого в докладе Г. Дель-Агата вопроса с более широкой проблематикой двуязычия. Выступающие отметили значение предложенной в докладе Д. Буттлер точки зрения о необходимости сопоставительного изучения вариантности.

Обсуждение проблематики вариантности литературной нормы в славянских языках имело большое значение прежде всего в следующих двух отношениях: 1) оно сделало возможным плодотворное сопоставление теоретических позиций, отчасти несходных между собой, и продвинуло решение проблематики вариантности в первую очередь в той ее части, которая касается вопроса специфики вариантов с точки зрения теории литературного языка; как следовало из обсуждения, варианты имеют различный характер на разных уровнях языкового строя; 2) конкретные наблюдения над явлениями вариантности в славянских литературных языках способствовали применению метода сравнительно-сопоставительного изучения фактов, что ведет к более глубокому постижению исследуемых явлений.

В организационной части заседания комиссии были обсуждены планы дальнейшей работы комиссии, прежде всего касающиеся ее конкретной задачи — разработки сопоставительной характеристики современных славянских литературных языков.

Вл. Барнет, А. Едличка (Прага)
Перевела с чешского *О. А. Лаптева*

*

9—11 сентября 1976 г. в г. Туле, в пед. ин-те им. Л. Н. Толстого, состоялись XIV Толстовские чтения. Ученые, работающие в педагогических институтах и университетах страны, обсуждали темы: «Л. Толстой и русская литература», «Толстой — художник», «Л. Толстой и стилистика русского языка», «Использование педагогического наследия Л. Толстого».

XIV Толстовские чтения прошли на высоком идейно-теоретическом уровне. Секция лингвистики, работавшая по проблеме «Л. Толстой и стилистика русского языка», была самой представительной. В составе лингвистической секции работало три подсекции: «Общие вопросы стилистики. Лексика», «Фразеология», «Грамматика».

В подсекции «Общие вопросы стилистики» было прочитано 18 докладов, авторы которых представили интересные наблюдения над языком и стилем произведений Л. Толстого; изображение раздвоения личности (И. Я. Чернухина, Воронеж), особенности языка женского портрета в романах великого писателя (Е. А. Дворникова, Новосибирск), структура эпитетов в прозе Л. Толстого (В. В. Краснянский, Орехово-Зуево), эволюция сравнения в языке Л. Н. Толстого (Л. Г. Показеева, Чебоксары), специфика использования коллоквиализмов в немецком переводе романа «Воскресение» (Р. С. Сакиева, Армавир), лексико-синтаксическая структура речевых характеристик в рассказах Л. Н. Толстого (К. Г. Семенкин, Владимир), особенности использования лексических синонимов в письмах Л. Толстого (О. М. Николаева, Тула), глагольная синонимика в рассказах Л. Толстого для детей (А. Е. Кравец, Липецк), стилистическая роль антонимов (В. В. Истомина, Майкоп), формы выражения вежливого несогласия (О. В. Озаровский, Могилев), стилистические особенности рассказа «Акула» и его перевода на белорусский язык (М. П. Демидова и Г. Н. Моложай, Брест), состав и функции французских элементов в романах Л. Н. Толстого (А. А. Андриевская и Е. А. Щербак-Маймескул, Киев), приметы стиля Л. Толстого в прозе Дж. Голсуорси (В. Г. Вилюман, Ленинград).

В подсекции «Фразеология» было прослушано 14 докладов. В докладе В. Л. Архангельского (Тула) «О задачах изучения фразеологии языка Л. Толстого» было подчеркнуто, что методологически важно последовательно различать исследования фразеологии в плане языка Л. Толстого и фразеологические исследования в плане стиля Л. Толстого. Большой интерес и культурно-историческую значимость представляет изучение фамильной фразеологии Л. Толстого и его семьи. Важной задачей, по мнению автора, является изучение семантико-фразеологических полей в языке отдельных художественных произведений Л. Толстого. Важнейшей и трудно выполнимой задачей является установление полного корпуса ФЕ в языке полного собрания сочинений Л. Толстого. Необходимо разработать принципы составления фразеологических словарей языка писателя и языка отдельных художественных произведений. Следует начать также изучение фразеологии огромного эпистолярного наследия Толстого и его дневников. В заключение докладчик остановился на проблемах перевода художественных произведений Толстого на другие языки мира.

Корпус предикативных фразеологических сочетаний в повести «Детство» охарактеризовала Е. Г. Панасенко (Ростов-на-Дону), на стилистической функции фразеологических сочетаний в «Севастопольских рассказах» остановилась С. В. Столбунова (Тула).

В докладе А. М. Мелерович (Кострома) было освещено экспрессивно-смысловое обогащение фразеологических единиц в контексте романа «Война

и мир». А. К. Вихровой-Смерчко (Дрогобыч) в докладе «Фраземы с высокой стилистической тональностью как средство раскрытия идейного содержания романа „Война и мир"» были определены критерии принадлежности фразем к высокому стилю, приведены виды трансформаций таких фразем и показана стилистическая обусловленность фразеологического варьирования содержанием романа, его идеей. Л. Я. Костючук (Псков) проанализировала употребление тавтологических фразем и переменных словосочетаний в драматургических произведениях Л. Толстого.

В сообщениях А. И. Степановой (Тула) было дано описание устойчивых и свободных перифраз в романах «Анна Каренина» и «Воскресение». Т. М. Кочневой (Тула) раскрыта структура и история крылатого выражения *плоды просвещения*, С.И. Кравцовой (Тула) проанализированы способы передачи фразеологических единиц пьесы «Живой труп» на украинский язык. Большой интерес и оживленные прения вызвало сообщение А. П. Руднева (Коломна) «О понятии „камерная фразеология" на материале фразеологии семьи Л. Толстого».

В докладе Т. В. Ренской (Тула) выяснялась стилистическая роль фразеологического эллипсиса в произведениях Л. Толстого. Основные типы контекстуальных и ситуативных устойчивых фраз в пьесах Толстого были определены Л. Н. Лыковой (Тула).

Разнообразной была тематика выступлений *в подсекции* «Грамматика», где прослушано 17 докладов. Это — структура прилагательных поля «цвета» и их использование в рассказе «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (Г. И. Недбаева, Армавир); адъективированные причастия в романе «Война и мир» (Н. Б. Парикова, Тула); прошедшее время глагола, его формы, значение и употребление в рассказе «После бала» (Л.В. Смирнова, Тула); сопоставительный анализ структуры и частотности употребления многокомпонентных субстантивных словосочетаний в романе Л. Толстого «Война и мир» и в романе Ч. Диккенса «Мартин Челзвит» (Г. А. Бухмастова, Тула); особенности синтаксиса авторской речи Л. Толстого (Л. М. Шелгунова, Волгоград); особенности структуры и семантики местоименно-соотносительных предложений в романе «Война и мир» (Л. Л. Безобразова, Полтава); семантико-стилистические функции сложных синтаксических конструкций в романе «Воскресение» (Н. А. Вакуленко, Полтава); проблема многозначности сложноподчиненных предложений на материале языка романа «Анна Каренина» (З. Н. Великодворская, Тула); союзно-бессоюзные сложносочиненные предложения в романе «Анна Каренина» (Л. Д. Мухина, Ростов-на-Дону), логико-семантические характеристики полипредикативных структур из романа «Война и мир» (М. Ф. Чикурова, Тула).

Ряд докладов был посвящен изложению наблюдений над *лингвистикой текста.* З. В. Валюсинская (Ростов-на-Дону) рассмотрела отрицательные предложения в структуре диалогов романа «Анна Каренина»; Л. С. Ширина (Ростов-на-Дону) исследовала принципы организации текста с диалогом в романах «Война и мир» и «Анна Каренина»; М. К. Милых (Ростов-на Дону) подробно охарактеризовала структуру монологов в прозе Л. Толстого; В. Л. Ринберг (Киев) — модели внутреннего монолога в романах Л. Толстого и его разветвление в советской прозе; Н. П. Руднева (Коломна) анализировала структуру абзаца в языке Л. Толстого. Один из докладов (В. В. Михайленко, Пятигорск) был посвящен выяснению корреляции языковой функции и ситуации высказывания на материале побудительных предложений, взятых из языка Л. Толстого.

На объединенном заседании лингвистических *подсекций было прослушано* шесть докладов. К. П. Орлов (Тула) в докладе «Понятие нормы и проблема нормированности языка Л. Толстого», опираясь на признаки и свойства норм литературного письменного и обиходно-разговорного языков, сделал попытку определить понятие «норм» языка художественных произведений» как совокупность требований, которые регламентируют регулярное использование писателями приемлемых языковых единиц в целях эффективного и адекватного изображения жизненных ситуаций, создания характеров героев и воспроизведения их социальной среды. Исходя из специфического соотношения языка конкретного художественного произведения с общей абстрактной языковой нормой, *докладчик осветил* проблему нормированности языка Л. Толстого и наметил аспекты изучения языка и стиля некоторых его художественных произведений: 1) сопоставление языка отдельных произведений Л. Толстого с нормами языка художественных произведений писателей второй половины XIX — начала XX в.; 2) определение степени влияния языка Л. Толстого на статус художественной речи других писателей; 3) разработка периодизации языка Л. Толстого.

Г. А. Селиванов (Иваново) в докладе «Стилистика малых форм последнего этапа творчества Л. Толстого», анализируя язык таких художественно-публицистических произведений, как «Корней Васильев», «Разговор с прохожим», «Ягоды», «Благодарная почва», «Нет в мире виноватых», показал синтез всего многообразия общенародных язы-

ковых форм с формами диалектными, индивидуальными, жанрово ограниченными, характерный для последнего этапа творчества великого писателя.

Г. И. Петровичева (Шуя) в докладе «Л. Толстой о языке» раскрыла наиболее существенные вопросы темы: отношение писателя к языку художественной литературы, его внимание к народной речи, понимание соотношения художественного и нехудожественного слова, оценку языка крупнейших писателей XIX—XX вв. О применении статистических методов изучения языка художественного произведения и о структуре частотного словаря к роману «Война и мир» доложили Г. С. Галкина и В. М. Цапникова (Тула).

М. А. Карпенко (Киев) в докладе «Современная поэтическая лексикография и вопросы словарного описания художественной речи Л. Толстого» подробно осветила структуру трех возможных типов словарей: а) полных словарей-индексов (словоуказателей), частотных словарей и словарей-конкорданций; б) объяснительных словарей к отдельным произведениям или к их циклам; в) идеологического словаря. Отметив, что словарное описание художественной речи Л. Толстого занимает важное место в кругу общих проблем поэтической лексикографии, докладчик высказался за координацию работы кафедр в области составления словарей языка писателя.

В заключительном докладе В. Л. Архангельский изложил программу Юбилейных Толстовских чтений 1978 г.

На этом же заседании было принято решение о расширении и координации работы кафедр по изучению языка и стиля Л. Толстого. Было высказано пожелание разработать план-программу Толстовских чтений на 10—15 лет и разослать ее кафедрам русского языка университетов и педагогических институтов. Решено также провести XV Юбилейные Толстовские чтения 1978 г. в форме научной сессии по проблеме «Роль Л. Толстого в развитии русского литературного языка и языка художественной литературы» и рекомендовать кафедрам русского языка широко использовать предъюбилейные годы для изучения языка и стиля произведений Л. Толстого как в научно-исследовательской работе преподавателей, так и в работе студентов (семинарские доклады, курсовые работы, дипломные работы, научные кружки).

К. П. Орлов, В. Л. Архангельский (Тула)

*

С 21 по 23 мая 1976 г. в МГПИИЯ (Минск) проходила научно-практическая конференция «Проблемы перевода научно-технической литературы и документации», организованная Белорусским научно-исследовательским институтом научно-технической информации и технико-экономических исследований Госплана БССР, Минским гос.пед.ин-том иностранных языков, Торгово-промышленной палатой БССР, Минской городской организацией общества «Знание», Общественным институтом научно-технического перевода.

Конференцию открыл проректор по научной работе МГПИИЯ Ю. А. Васильев. В работе конференции приняло участие 157 человек, в том числе, кроме 64 минских ученых и переводчиков, представители из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы, Воронежа, Горького, Челябинска, Уфы, Калинина, Иванова, Тулы, Вильнюса, Калуги, Владимира, Чебоксар, Житомира, Рыбинска, Могилева, Саранска, Оренбурга, Витебска, Ужгорода, Лиепаи. На пленарных и секционных заседаниях было прослушано и обсуждено 28 докладов и сообщений.

В докладе Р. Г. Пиотровского (Ленинград) «Научно-техническая революция и специализация языка науки и техники» отмечалось стремительное накопление информации в период научно-технической революции, усиление контактов с искусственными языками, быстрое выдвижение естественных языков в разряд международных, особенно русского и английского.

Доклад П. И. Копанева (Минск) «Одноязычная и межъязыковая коммуникация, их связь и взаимодействие» был посвящен особенностям естественного языка, могущего выступать средством обеих рассматриваемых коммуникаций и (в отличие от искусственных семиотических систем) обладающего способностью отображать все существующее в объективной действительности и служить средством общения, т. е. основным отличительным свойством — коммуникативностью.

Затем П. И. Копанев зачитал доклад доктора Фр. Беера (ГДР, г. Иена) «Заочное обучение инженеров и экономистов русскому языку в ГДР».

В докладе В. Д. Ившина (Калуга) «Актуальное членение предложения и перевод научно-технической литературы» говорилось о словесном, предметном, логическом и критическом понимании научно-технического текста в процессе перевода и об актуальном членении предложения одновременно на двух языках.

По общим и частным вопросам теории и практики научно-технического перевода с докладами на пленарном заседании выступили также Э. Ю. Даугате (Лиепая) «О внутренней форме языка и ее роли в переводоведении», О. А. Пальгов (Саранск) «Место словосочетания в процессе перевода», Н. Э. Окулич (Минск)

«Автоматическое выделение структурного костяка предложения (перевод ЭВМ)», С. П. Овчинников (Оренбург) «О параллелизме структуры персонажно-авторской речи в языках европейской литературной традиции», В. И. Мартиневский, Г. И. Куликов, Л. Н. Шиманский (Минск) «Перевод терминологических словосочетаний и их лексикографическая разработка», Н. П. Новицкий (Минск) «Передача собственных имен при переводе».

Вопросам о некоторых аспектах межъязыковой коммуникации, проблеме синонимии в переводе и типологии переводов научно-технической литературы были посвящены доклады Л. Б. Гарифулина (Челябинск), В.М. Самсонова (Челябинск) и С. Ф. Дунаева (Чебоксары). Соотношения между смысловыми и языковыми характеристиками в системах терминов, синонимия в научной литературе и опыты по отраслевой терминологолексикографической работе рассматривались соответственно в докладах Г. П. Мельникова (Москва), К. Ю. Амбрасаса (Вильнюс) и С. З. Иванова (Воронеж).

О подготовке переводчиков научно-технической литературы в Дрезденском техническом университете и о месте и роли перевода при обучении иностранным языкам в техническом вузе говорилось в докладах В. А. Гондарева (Рыбинск) и В. А. Сундеевой (Калуга). Вопросам оформления переводных научно-технических словарей и о некоторых типичных упущениях в их содержании был посвящен всего один доклад, с которым выступили Е. С. Анюшкина и Г. К. Анюшкин (Воронеж).

На заседании секции английского и испанского языков были прослушаны доклады Е. И. Волковой, Т. Н. Степкиной (Воронеж), Л. Т. Микулиной (Ленинград), С. Н. Бродта (Минск), К. Е. Ерошкиной (Тула), Г. Е. Пинзула (Одесса), Э. В. Тугаенко (Одесса), Н. М. Косолаповой, М. Н. Пархисенко, С. А. Фридлянд (Уфа) и Л. В. Баклаги (Одесса).

На заседании секции немецкого языка с докладами выступили: Т. А. Морозова (Иваново), В. В. Рябенко (Житомир), Э. И. Быбина (Челябинск), М. Д. Снегирева (Калинин), Г. В. Зенчик, С. А. Носков (Могилев), Э. Б. Забавникова (Москва), Н. И. Зимомря, С. С. Бабинец (Ужгород) и Л. И. Каменева (Воронеж).

На заключительном пленарном заседании с сообщениями выступили: А. Е. Чернухин (Москва) об особенностях составления англо-русского политехнического словаря и Л. А. Фридман (Владимир) о единых орфографических правилах и нормативных требованиях при составлении и выпуске словарей.

С заключительным словом выступил председатель Оргкомитета П. И. Копанев

Тематика прослушанных докладов отразила основные результаты научной работы на местах за прошедшее время, отметив определенный этап в развитии переводоведения. На конференции была рассмотрена проблематика научно-технического перевода в свете новейших достижений социолингвистики, общей лингвистики и лингвостилистики, а также терминологии, двуязычной лексикографии, частично типологии, материалов перевода научно-технической литературы и документации и типологии переводов в научно-технической межъязыковой коммуникации.

Работа конференции способствовала введению в научно-технический обиход большого количества нового материала и информации по различным вопросам, способствовала углублению сотрудничества исследователей и координации их научной и практической деятельности. Участники конференции признали целесообразным проводить подобные конференции периодически, один раз в два года.

В. Д. Ившин (Калуга)

*

С 26 по 29 мая 1976 г. в Белорусском гос.ун-те им. В. И. Ленина совместно с советскими и болгарскими языковедами был проведен симпозиум по проблемам белорусско-болгарских типологических и генетических языковых связей. На симпозиум было представлено в виде реферативных обзоров восемь докладов болгарских ученых, десять докладов преподавателей кафедры общего и славянского языкознания БГУ, три доклада языковедов АН БССР и два доклада лингвистов Института славяноведения и балканистики АН СССР.

На заседании были прослушаны доклады, посвященные экстралингвистическим и теоретическим вопросам, лежащим в основании белорусско-болгарских языковых связей. В докладе И. Лекова (София) обращалось внимание на общее типологическое сходство болгарского и белорусского языков и подчеркивалась необходимость комплексных сопоставлений языковых фактов обоих языков. Н. И. Толстой и С. М. Толстая (Москва) в своем докладе обосновали положение о том, что языковую общность болгарского и белорусского языков необходимо исследовать на фоне общих культурных и материальных ценностей и подкрепили эту концепцию рядом фольклорных и этнографических данных. На пользу изучения белорусско-болгарских языковых связей с привлечением лингвистических фактов других языков указал в своем докладе В. В. Мартынов (Минск). В докладе Р. Павловой (София) обобщены проблемы, которые возникают перед изучающими рус-

ский язык как в Болгарии, так и в Белоруссии.

Значительный интерес для участников симпозиума представили доклады, в которых приводятся соображения по вопросу становления в болгарском и белорусском языках новых грамматических явлений. В докладе Б. Ю. Норман а (Минск) предложена иерархическая классификация значимых единиц языка и раскрыта сложная взаимосвязь между содержанием синтаксических и лексических явлений; равнозначные лексемы разных языков характеризуются различной синтаксической валентностью, что вызывает естественные трудности при переводе. С. Иванчев (София) указал на продуктивность болгарских глаголов с префиксальным морфом *само-* и на возрастающую роль этого префикса для грамматической системы белорусского и русского языков. И. Куцаров (София) в своем докладе подчеркнул грамматичность так называемых пересказывательных форм в болгарском и белорусском языках, а совместный доклад Л. Лашковой (София) и Л. Куевой-Шверчек (София) был посвящен анализу категории определенности в болгарском языке и способам ее выражения в белорусском языке. А. Е. Михневич (Минск) привел многочисленные лингвистические факты из белорусского и болгарского языков в пользу наличия в них категории партитивности. Любопытные наблюдения сделаны в докладе Г. К. Венедиктова (Москва) об употреблении приставки *за-* в системе славянского глагольного вида.

Значительное количество докладов на симпозиуме было посвящено сопоставительному анализу конкретных языковых явлений белорусского и болгарского языков в синхронном плане. В докладе Я. Бычварова (София) проанализированы особенности порядка слов в предложениях белорусского и болгарского языков. Сопоставительная характеристика суффиксов с эмоциональной оценкой в рассматриваемых языках представлена в докладе М. Караангеловой (София), а в совместном докладе Н. А. Павленко и Н. Н. Павленко (Минск) рассмотрены вопросы словообразования существительных Nomina agentis в болгарском языке и их соответствия в белорусском языке. Сравнительному изучению фразеологизмов болгарского и белорусского языков был посвящен доклад К. М. Гюлумянц (Минск). Лексические параллели в сопоставляемых языках были рассмотрены в докладах А. М. Калюты (Минск) и Б. А. Плотникова (Минск). Во втором докладе Б. Ю. Норман а проанализированы указательные местоимения в белорусском и болгарском языках, а в докладе В. А. Карпова (Минск) статистическому исследованию подверглись предлоги сопоставляемых языков.

Несколько докладов симпозиума относятся к диахроническому анализу лингвистических явлений белорусского и болгарского языков. Теоретические аспекты выявления древних связей между сопоставляемыми языками рассмотрены и проиллюстрированы конкретными примерами в докладе Г. А. Цыхуна (Минск). А. Е. Супрун (Минск) посвятил свой доклад тщательному этимологическому анализу слов с корнем *жур-*; развитие значений у слов с этим корнем прослеживается на материале практически всех славянских языков. В докладе Н. Б. Мечковской (Минск) была рассмотрена история восточнославянских и южнославянских обозначений словаря в связи с особенностями функционирования книжной лексики. В докладе И. Буюклиева (София) проанализировано развитие форм относительного подчинения в болгарском и белорусском языках, а в докладе М. А. Мутал имовой (Минск) исследуются особенности употребления дательного самостоятельного в древнеболгарском языке и старобелорусских переводах.

Прослушанные доклады вызвали оживленную дискуссию. Материалы совместного симпозиума советских и болгарских языковедов будут опубликованы. Намечена подготовка совместного исследования «Очерки по сопоставительной характеристике белорусского и болгарского языков».

Б. А. Плотников (Минск)

18 декабря 1975 г. в Институте языкознания АН СССР состоялось заседание Ученого совета, посвященное чествованию доктора филологических наук, профессора Василия Ивановича Абаева в связи с семидесятипятилетием со дня рождения и пятидесятилетием научно-педагогической деятельности.

После вступительного слова зам. директора Ин-та языкознания Ю. С. Елисеева, давшего высокую оценку вкладу юбиляра в советскую и мировую лингвистику, был оглашен доклад докторов филологических наук В. С. Расторгуевой и М. И. Исаева «Выдающийся советский иранист-осетиновед». Авторы дали общую характеристику научной деятельности В. И. Абаева и несколько подробнее остановились на достижениях ученого в различных областях иранистики и осетиноведения.

Перу крупнейшего советского иранист а В. И. Абаева принадлежит свыше 250 опубликованных трудов. Они охватывают чрезвычайно широкий круг научных проблем, начиная от разнообразных вопросов осетинского языка и фольк-

клора до общеиранистических и общелингвистических проблем.

Основная масса научных работ ученого носит иранистический характер и в большинстве своем базируется на материале осетинского языка. Что касается собственно осетиноведения, то в нем В. И. Абаев занимает ведущее место вот уже несколько десятилетий, а его научный авторитет считается абсолютно непререкаемым. Его имя по праву стоит в одном ряду с именами таких корифеев осетиноведения, как академики А. Шегрен и В. Ф. Миллер.

В своих многочисленных трудах В. И. Абаев продолжает линию акад. В. Ф. Миллера по всестороннему изучению осетин. Однако наибольшее внимание уделяет ученый различным аспектам изучения осетинского языка. Им сделаны основополагающие выводы во всех областях осетинского языкознания. Но основные заслуги В. И. Абаева заключаются в исследованиях истории языка осетин, венцом которых явился «Историко-этимологический словарь осетинского языка». Над этим капитальным трудом автор работает вот уже около полустолетия, посвятив ему весь свой яркий талант. «Словарь» не только выдающееся явление по своей научной значимости, но и в известном смысле уникальное лексикографическое произведение, не имеющее прецедента в практике словарной работы.

К историко-лингвистическим исследованиям примыкает в качестве непосредственного их продолжения одна из наиболее поздних работ ученого «Скифо-европейские изоглоссы» (М. , 1965), значение которой так же, как и «Словаря», выходит далеко за рамки иранистики и даже индоевропейского языкознания.

Из других капитальных трудов В. И. Абаева следует назвать «Осетинский язык и фольклор» (т. 1, М.— Л. , 1949), «Русско-осетинский словарь» (1-е изд — М., 1950; 2-е изд.— М., 1970), «Грамматический очерк осетинского языка» (Орджоникидзе, 1959).

Научные заслуги В. И. Абаева высоко оценены Партией и Правительством — он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. В. И. Абаев — Заслуженный деятель науки Северо-Осетинской АССР. Высокую оценку получила научная деятельность ученого и за рубежом. Об этом свидетельствует факт избрания его действительным членом Азиатского Королевского общества в Англии и членом-корреспондентом Финноугорского общества в Хельсинки.

Общетеоретической проблематике в трудах В. И. Абаева посвятил свое яркое выступление Э. А. Макаев. Он дал весьма высокую оценку теоретическим работам ученого, его вкладу в разработку таких проблем как «история языка и история народа», «принципы этимологических исследований» и др.

Докладчик специально остановился на характеристике личности юбиляра. В этой связи прежде всего была отмечена исключительная принципиальность ученого, его несокрушимая воля в отстаивании своих концепций, прочно базирующихся на марксистско-ленинской методологии. Будучи неподверженным каким-либо конъюнктурным колебаниям, В. И. Абаев высоко держит знамя советского ученого, призывает полнее использовать языковой материал в деле воспитания идей мира, дружбы между народами. Он самый ярый противник теорий, ведущих к дегуманизации науки о языке. Далее были подчеркнуты такие личные качества В. И. Абаева, как исключительное трудолюбие и скромность, отсутствие какой-либо тяги к карьере — чинам и званиям.

Г. А. Климов в докладе «В. И. Абаев — кавказовед» подчеркнул, что хотя кавказоведческие работы юбиляра закономерно вырастают как продолжение интересов Абаева-иранист а, они имеют самостоятельное значение. Выделяются по крайней мере четыре направления кавказоведческих работ ученого: проблема кавказского субстрата в языке алан-осетин, вопросы кавказской ареальной лингвистики (в частности, союзных отношений языков Кавказа), этимология кавказских языков, кавказский фольклор. Благодаря этим исследованиям, мы много узнали о неоднородности субстрата осетинского языка, о его структурном и материальном облике. С именем В. И. Абаева связана научная постановка вопроса о возможной ареальной обусловленности целой совокупности общекавказских изоглосс. Очень плодотворна неустанная деятельность ученого в области этимологической разработки кавказских языков. Так, в сферах Ossetica-Dagestanica и Ossetica-Adygica ему принадлежат выделения основного фонда аланизмов в абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языках. Многое сделано им в области картвельской этимологии, особенно по выявлению ряда иноязычных напластований в картвельских языках. Наконец, в сфере кавказской фольклористики существенные результаты принесло исследование В. И. Абаевым сложного комплекса вопросов нартовского эпоса народов Северного Кавказа, а также народных истоков поэмы Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре».

Ю. Д. Дешериев отметил значение трудов В. И. Абаева для советской социолингвистики. Было указано на определенный вклад ученого в разработку теоретических и практических вопросов развития литературных языков народов СССР.

О большом значении теоретических работ В. И. Абаева говорила И. М. Кейн,

ст. научн. сотр. Ин-та кибернетики АН СССР. Она особенно подчеркнула важность идей, высказанных в ряде общетеоретических работ («Язык как идеология и язык как техника», «Еще раз о языке как идеологии и как технике», «Понятие идеосемантики») для разработки некоторых проблем бионики.

О роли трудов В. И. Абаева в развитии науки и культуры в Осетии говорили зам. директора Северо-Осетинского Научно-исследовательского ин-та Х. А. Токазов и ст. научн. сотр. Юго-Осетинского НИИ З. Д. Цховребова. Ст. научн. сотр. Института языка и литературы АН ТаджССР Д. Карамшоев говорил о значении научных работ В. И. Абаева для таджикского языкознания.

После оглашения многочисленных телеграмм с ответным словом выступил юбиляр. Он, в частности, остановился на роли советских ученых в деле воспитания человека коммунистического общества, с его великими гуманными принципами. В. И. Абаев подчеркнул необходимость более настойчивой борьбы за научно-этические и духовные принципы, чтобы внести свою лепту в осуществление лозунга «Человек человеку друг, товарищ и брат!». На пути к этому предстоит изжить много духовных недугов, таких, как карьеризм и суета, которые пагубно влияют, в частности, на нормальное развитие науки,— подчеркнул он.

М. И. Исаев (Москва)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ —«Български език»
ВЯ —«Вопросы языкознания»
ВИ —«Вопросы истории»
ВСЯ —«Вопросы славянского языкознания»
ВФ —«Вопросы философии»
ВДИ —«Вестник древней истории»
ИАН ОЛЯ —«Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАН ОТН —«Известия АН СССР. Отделение технических наук»
«Р. яз. в шк.»—«Русский язык в школе»
«Ин. яз. в шк.»—«Иностранные языки в школе»
РФВ —«Русский филологический вестник»
ЖМНП —«Журнал Министерства народного просвещения»
ЗВО РАО —«Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС —«Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР»
СбНУ —«Сборник за народни умотворения»
ФН —«Доклады высшей школы. Филологические науки»
ADAW —«Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh —«Archiv für slavische Philologie»
AKGW —«Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
AL —«Acta linguistica»
AO —«Archiv orientalní»
APAW —«Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse
BPTJ —«Biuletyn Polskiego towarzystwa językosnawczego»
BSLP —«Bullétin de la Société de linguistique de Paris»
BSOS —«Bulletin of the School of Oriental studies»
BCLC —«Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague»
BzNf —«Beiträge zur Namenforschung»
CFS —«Cahiers F. de Saussure»
IF —«Indogermanische Forschungen»
IIJ —«Indo-Iranian juornal»
IJAL —«International journal of American linguistics»
JA —«Journ. asiatique»
JASA —«Journ. of the Acoustical society of America»
JEGPh —«Journ. of English and Germanic philology»
ЈФ —«Јужнословенски филолог»
JP —«Język polski»
JRAS —«Journ. of the Royal Asiatic society»
JRSS —«Journ. of the Royal statistical society»
JSFOu —«Journ. de la Société finno-ougrienne»
KZ —«Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen»

MSLP —«Mémoires de la Société de linguistique de Paris»
MSFOu —«Mémoires de la Société finno-ougrienne»
MSOS —«Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
NTS —«Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»
PBB —«Beiträge zer Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen и Halle)
PMLA —«Publications of the modern language assotiation of America»
RÉG —«Revue des études grecques»
RÉSL —«Revue des études slaves»
RF —«Romanische Forschungen»
RKJL —«Rozprawy Komisji jézykowej Lodźk. t-wa naukowego»
RKJW —«Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»
RLR —«Revue de linguistique romane»
RO —«Rocznik orientalistyczny»
SaS —«Slovo a slovesnost»
SMS —«Sborník matice slovenskej pre jazykozpyt, narodopis a literárnu históriu»
SDAW —«Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SPAW —«Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»
Stud. or.—«Studia orientalia»
SWAW —«Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
TCLC —«Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
TCLP —«Travaux du Cercle linguistique de Prague»
UAJb —«Ural-Altaische Jahrbücher»
UJB —«Ungarische Jahrbücher»
ZfceltPh —«Zeitschrift für celtische Philologie»
ZfPh —«Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS —«Zeitschrift für Slavistik»
ZfslPh —«Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh —«Zeitschrift für romanische Philologie»
ZfdPh —«Zeitschrift für deutsche Philologie»
ZDMG —«Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»

CONTENTS

Articles: V. Z. Panfilov (Moscow). Gnoseological aspects of the problem of the language sign; V. M. Solncev (Moscow). Language sign and its properties; **Discussions**: V. V. Belyi (Vinnitsa). Philosophical principles of the American descriptive linguistics; O. I. Moskalskaja (Moscow). Problems of syntactic semantics; J. Gorecki (Bratislava). Basic assumptions of the theory of literary language; **Materials and notes**: K. S. Gorbačevič (Leningrad). Norm and variation on the syntactic level; J. Durin (Saint-Cloud). Palatalisation, non-palatalisation and iotacism; A. L. Pumpianskij (Moscow). Functional style of scientific and technical literature; Arn. Čikobava (Tbilisi). Concerning one principle of class conjugation in the Old Georgian verb; K. V. Lomtatidze (Tbilisi). From the history of definite forms of nouns in the Aškharian dialect of Georgian; G. V. Rogava (Tbilisi). Pseudo-transitive verbs in the Adygh language; A. P. Yudakin (Moscow). The genitive of the agent in the *ta*-participial constructions of classical Sanscrit; B. I. Skupskij (Makhačkala). On the Greek originals of the earliest Slavonic translations; M. F. Murianov (Leningrad) On the semantics of the Old Slavonic vocabulary; Ten years of the journal «Russkaja reč»; **Reviews**; **Scientific life.**

SOMNAIRE

Articles: V. Z. Panfilov (Moscou). Aspects gnoséologiques du problème du signe linguistique; V. M. Solncev (Moscou). Le signe linguistique et ses propriétés; **Discussions**: V. V. Belyj (Vinnitsa). Fondements philosophiques de la linguistique descriptive américaine: O. I. Moskalskaja (Moscou). Problèmes d'étude sémantique de la syntaxe; J. Gorecky (Bratislave). Sur les bases de la théorie de la langue littéraire; **Matériaux et notices**: K.S. Gorbačevič (Léningrad). Norme et variation au niveau syntaxique; J. Durin (Saint Cloud). Palatalisation, non-palatalisation et iotisation; A. L. Pumpianskij (Moscou). Style fonctionnel des ouvrages scientifiques et techniques; Arn. Čikobava (Tbilisi). Un principe de la conjugaison selon les classes verbales en vieux-géorgien; K. V. Lomtatidze (Tbilisi). De l'histoire des formes définies des noms dans le dialecte achkharien du géorgien; G. V. Rogava (Tbilisi). Les verbes pseudo-transitifs dans les langues adyghiennes; A. P. Judakin (Moscou). Le génitif d'agent dans les constructions participes en *ta*- du sanscrit classique; B. I. Skupskij (Makhačkala) A propos des originaux grecs des plus anciennes traductions slaves; M. F. Murianov (Léningrad). Études sémantiqus du vocabulaire du vieux-slave; La revue «Russkaja reč» a dix ans; **Comptes-rendus**; **Vie scientifique.**

Внимание!

Сообщаем новый адрес редакции: 103045 Москва. К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1, комн. 64

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29/XII-1976 г. Т.03252 Подписано к печати 4/III-1977 г. Тираж 7270 экз.
Зак. 1564 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 15.4 Бум. л. 5¹/₂ Уч.-изд. л. 16,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10